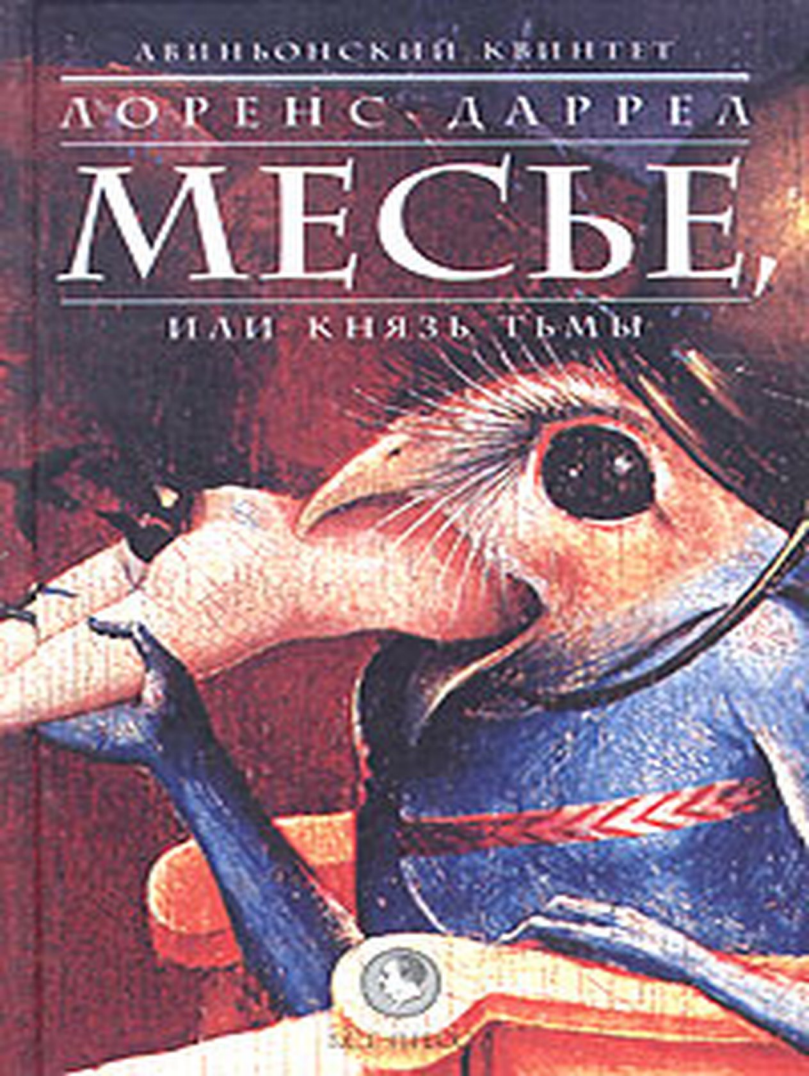
АВИНЬОНСКИЙ КВИНТЕТ

ЛОРЕНС ДАРРЕЛ

МЕСЬЕ,

ИЛИ КНЯЗЬ ТЬМЫ



Месье, или Князь Тьмы

Лоренс Даррел

Аннотация
Лоренс Даррел. МЕСЬЕ, или Князь Тьмы
Глава первая. «Outremer»
Глава вторая. Макабару
Глава третья. Сатклиф, венецианские записи
Глава четвертая. Жизнь с Тоби
Глава пятая. Обед в ресторане «Квартала»
ENVOI

Аннотация

«Месье, или Князь Тьмы» (1974) — первая книга цикла «Авиньонский квинтет» признанного классика английской литературы XX-го столетия Лоренса Даррела, чье творчество в последние годы нашло своих многочисленных почитателей в России. Используя в своем ярком, живописном повествовании отдельные приемы и мотивы знаменитого «Александрийского квартета», автор, на это раз, переносит действие на юг Франции, в египетскую пустыню, в Венецию. Таинственное событие — неожиданная гибель одного из героев и все то, что ей предшествовало, истолковывается по-разному другими персонажами романа: врачом, историком, писателем.

Так же как и прославленный «Александрийский квартет» это, по определению автора, «исследование любви в современном мире».

Путешествуя со своими героями в пространстве и времени, Даррел создал поэтичные, увлекательные произведения.

Сложные, переплетающиеся сюжеты завораживают читателя, заставляя его с волнением следить за развитием действия.

Лоренс Даррел
МЕСЬЕ, или Князь Тьмы

Глава первая «Outremer»[1]

С незапамятных времен мы ездили из Парижа на юг одним и тем же поездом — длинным медлительным поездом, вытягивавшимся вереницей голубоватых огней в сумеречной дали, словно гигантский светляк. В Прованс он обычно прибывал затемно, когда полосы лунного света делали все вокруг похожим на тигриную шкуру. Мне этого ни за что не забыть, да и ему тоже! Мне, то есть Брюсу, каким я был, и ему — Брюсу, каким я стал, изо дня в день записывая по несколько слов — совсем коротко. Поезд имел обыкновение вдруг останавливаться и надолго замирать, то ли неожиданно засыпая посреди пути, то ли на долгие часы погружаясь в раздумья. Это было похоже на омуты и водовороты памяти — когда твои думы испуганными головастиками начинали виться, например, вокруг слова «самоубийство». Наш поезд никогда не приходил вовремя, и никогда не придет.

---

[1] Примечания: 1

Outremer *(фр.)* — букв, «за морем», название палестинских владений ордена тамплиеров; своего рода девиз ордена.

Так размышлял одинокий пассажир, сидевший в хвостовом вагоне поезда, в освещенном купе третьего класса и не сводивший глаз со своего двойника в тусклом зеркале. В начале весны всегда одно и то же, говорил он себе — и в далекие школярские годы старой PLM[2] было так же. Когда, сопровождаемый гулким эхом, поезд отъезжал от Дижона, людей в нем почти не оставалось. Пассажир попытался вспомнить, сколько времени он не был в том городе, но из-за накатившей дремоты ему казалось, что на самом деле он никогда оттуда и не уезжал. Во всяком случае, какая-то часть его существа не покидала тенистые улочки и тихие неряшливые площади.

На сей раз возвращение было необычным, потому что бегство из северной зимы в нарождающуюся весну случилось по зову печальной телеграммы. Ужасно — в *такое* время года ехать по *таким* делам! На севере беспрерывные снежные бури почти парализовали железнодорожное движение, а здесь весна уже начала прогревать землю. Едва пересекаешь пояс тутовых рощ и углубляешься в зону рощ оливковых, как душой завладевает покой, ибо даже по-зимнему серый

---

[2] Примечания: 2

PLM — сокращение названия железнодорожной магистрали Париж — Лион — Средиземное море.

рассвет не в силах скрыть обилие золотых мандаринов, словно за окном — Греция и сады Эпикура. Пассажир не сводил невидящих глаз с мелькавших за окном пейзажей.

Этим пассажиром был я сам, Брюс, и ехал я не по своей воле. Из Праги меня вызвала лаконичная, как водится, телеграмма. В ней сообщалось о самоубийстве моего давнего и самого близкого друга Пьера де Ногаре; даже больше, чем друга, потому что сестра его, Сильвия, это моя жена, правда, подпись стояла не ее, а семейного нотариуса. Телеграмму доставили в Британское посольство, где я последние несколько лет служил врачом. «Брюс Дрексел, доктор медицины, к вашим услугам» — сейчас в этом появилась некая иллюзорность, вроде эха давней реальности, не потревоженной мстительным временем! От собственного пристального взгляда мужчине в зеркале было не по себе. Поезд же с грохотом мчался вперед.

Неплохо было бы привести в порядок мысли и чувства, как полагается литературному персонажу, но у пассажира ничего не получалось. Кстати, у Роба Сатклиффа в знаменитом романе про всех нас точно такое же начало. Непостижимым образом я словно копировал его главного

героя, призванного к ложу умирающего (разница только в этой детали) друга, который собирается открыть ему нечто важное. Есть там и Сильвия, как всегда, в центре происходящего. Трогательно описано ее безумие. Конечно же, мы в романе несколько окарикатурены; но события переданы довольно точно, да и Верфельский старый шато тот же, где мы все это пережили в промежутке между двумя путешествиями. Теперь не только Сатклифф отождествляет себя с главным персонажем, но и Брюс, ну а о персонаже писатель однажды сказал: «В наше время реальность безнадежно вышла из моды, и нам, пишущим, приходится рассчитывать на искусство, чтобы ее оживить и осовременить».

Но тогда насколько реальные люди отличны от вымышленных персонажей? Умирая, человек становится частью прошлого; зато это приводит его друзей в чувство, во всяком случае, должно бы. Когда я читал роман, мне было интересно, как переплетаются реальность и фантазия. Теперь уже и Сатклифф стал прошлым, а его бумаги моя сестра Пиа привезла в верфельский архив, где несчастье совместной жизни, ожесточившее их, стало доступно биографам. Дело не в том, что Пиа оказалась скверной женой, ведь они до безрас-

судства любили друг друга; речь, по сути, идет о печальной истории перерождения отношений, которое опустошило Сатклиффа и лишило его запаса жизненной прочности. Такие, как Роб, слишком привязчивы и уязвимы, а потому их легко сломать. Попадись эти строки на глаза моей сестре, она бы заткнула уши и закричала:

— Нет!

Но это правда.

А ведь через несколько месяцев нам троим предстояло опять встретиться в городе, где родился Пьер, чтобы возобновить необыкновенную дружбу, которая полжизни связывала нас и слегка ослабла лишь из-за последнего назначения Пьера в Дели. В этом году мы оба собирались выйти в отставку и вернуться в Верфель, чтобы за массивными стенами разрушающегося шато прожить до конца наш сюжет с Сильвией. В каком-то смысле замуровать себя здесь, полностью отрешиться от мира, развить и обогатить сбереженный нами тройственный союз, который выдержал много испытаний и (для меня, во всяком случае) был самым ценным опытом в жизни. По напряжению и отдаче мне и в самом деле нечего сопоставить с нашим любовным треугольником, родившимся под несчастливой звездой, потому что однажды

Сильвия потеряла рассудок и едва не утянула в эту пучину брата. Пьер пребывал в пограничном состоянии. Не окажись рядом меня, думаю, он тоже соскользнул бы в безумие, спасаясь в нем от мыслей о ее помешательстве. А теперь все изменилось, неожиданно и круто. Со смертью Пьера не стало будущего и у человека, которым я сделался. Из-за ухода моего друга вся действительность словно перевернулась; но при этом ощущение, что меня ограбили, вызвало к жизни не свойственную мне прежде равнодушную и бесстрашную ироничность. В зеркале отражался мрачно ухмыляющийся мужчина. А в это самое время Сильвия, накинув китайскую шаль, гуляла в далеких зеленых садах Монфаве и, шевеля губами, вела беззвучную беседу с умершим братом. Представив это, Брюс вскочил и в ярости от обиды и боли принялся мерить шагами купе, будто зверь, угодивший в капкан.

В том новом для меня ощущении нереальности происходящего свою роль, несомненно, сыграла усталость. В одночасье никто не уходит, и мертвый Пьер только-только начал предъявлять права на память своих друзей. Застыло лишь его тело, а память о нем была живой и теплой. Очнувшись от дремы, я каждый раз заново пе-

реживал его смерть, заново испытывал острую боль. Несколько мгновений не было ничего, пустота — потом, будто лезвие ножа, выскакивало воспоминание, и я осознавал, что его нет и не будет, ибо он ушел в ту таинственную условность, называемую смертью, о которой мы ничего не знаем, а потому не можем ни сжиться с нею, ни укротить ее.

Любопытно, думал ли он, умирая, о посвящении, через которое мы когда-то вместе прошли в Египте — под руководством Аккада терпеливо проникая в доктрины гностиков[3] из пустыни? Мне-то известно, как сильно они повлияли на Пьера. Ведь в трактовке смерти гностики вполне тверды и определенны, и после посвящения уже никак нельзя было придавать смерти особое значение, ведь смерть человека всего лишь итог смерти Бога! Не могу забыть, в какой ужас приводила меня эта мысль! Аккад, ласково улыбнувшись, тогда сказал нам на прощание:

— Не думайте о том, что вы тут узнали. Но постарайтесь поскорее с этим сжиться — *чем*

[3] Примечания: 3

Гностики — члены ряда сект, являющиеся последователями гностицизма — дуалистического учения поздней античности, в котором соединены некоторые идеи христианства, древнегреческой философии и восточных религий.

быстрее сживетесь, тем быстрее перестанете об этом думать.

Очевидно он говорил о смерти с точки зрения истинного гностика, которая с тех пор заменила в нашем сознании обыденное представление о смерти, о такой, которая для Аккада и его секты была лишь следствием телесной слабости и недостатка утонченности.

— Смерть — прихоть, если позволяешь себе умереть прежде, чем находишь способ умереть с толком, — говорил он.

Я медленно повторял про себя эту фразу Аккада и, вглядываясь в убегавшую ночь, пытался представить, где он сейчас. Может быть, умер? Мне почудилось, будто от Пьера меня отделяет всего лишь один удар сердца.

Все же нам повезло и со службой, и с путешествиями; мы наслаждались счастьем почти беспрерывного общения друг с другом, и нашей дружбе, вскоре переросшей в любовь, никогда не угрожала опасность зачахнуть. Совсем мальчишкой я познакомился с братом и сестрой, которые вели в своем шато жизнь отшельников, далекую от мелочных забот, странную жизнь, наполненную познанием самих себя и окружающей их красоты; и с тех пор мы редко разлучались. Пьер

стал дипломатом, я — врачом при дипломатической миссии, но, несмотря на все превратности судьбы, даже в худшие времена мы получали назначения в соседние страны. Несколько раз нам улыбалась удача, и нас посылали в один город: его — в посольство Франции, меня — Британии. Таким образом мы вместе узнавали Каир и Рим, вместе осваивали Пекин, Берн и Мадрид. В разлуках Сильвия заменяла мне его, ему — меня, соединяла нас, живя попеременно то у меня, то у Пьера. Однако летний отпуск мы всегда проводили втроем в Верфеле. В общем, перемена мест и партнера не мешали нам сохранять наш стиль жизни (и любви).

Впоследствии, все обдумав, я женился на Сильвии, потому что она так захотела. И это еще прочнее связало нас троих. Однако я не был ничего не видящим лунатиком и отлично представлял психологические сложности нашего нового статуса. К тому же мне было известно, что в любой момент разум может окончательно изменить Сильвии; и тогда она навсегда переселится в зеленую тишь Монфаве, под своды большой психиатрической лечебницы, вознесшейся над бурлящими речками и солнечными беседками Воклюза, которые распространяют нечто вроде

кинетического покоя Эпидавра.[4] Но мне ни разу не пришлось о чем-то пожалеть. Наша тройственная любовь чаровала меня всю жизнь, и с нею я сойду в могилу. Я знал, что встретил моих *единственных вдохновителей,* и собственной жизнью воплощал в действительность сюжет и контрапункт «Сонетов» Шекспира. Я нашел господина-госпожу моей страсти. О чем еще мне было мечтать?

Всю зиму я провел в стране замерзающих озер, покорных железной хватке льда, где по ночам кричат летящие на юг дикие гуси. Поэтому, гуляя там в зимних сумерках, то и дело наступаешь на кучки перьев — снег в лесу похож на неубранный стол. Того, кто трапезничал, уже нет. Иногда, бывает, лисица брезгует птичьей головой, но чаще остаются лишь несъедобные перья. В древнем мире, по-видимому, такое тоже случалось, ведь на пересечении дорог, в зеленой роще или на берегу моря путник мог наткнуться на остатки жертвоприношений. Люди отдавали богам животных, как позже стали приносить им первые плоды своих садов. Мне вдруг почуди-

[4] Примечания: 4

Эпидавр — древнегреческий город, в котором располагался медицинский центр (при храме бога врачевания Асклепия). По преданиям, тамошних пациентов лечили сном.

лось, что самоубийство (если это самоубийство) Пьера каким-то образом соотнесено с подобным жертвоприношением. И все же я не мог до конца поверить. Но если не он сам, кто поднял на него руку? В нашем прошлом не было ничего такого, что объяснило бы столь трагичную развязку. Тем более что Пьер понял и, судя по его собственным словам, принял гностические идеи Аккада. Нет, постойте…

Мне вспомнились несколько фраз Аккада, которые звучали примерно так: «Люди наших убеждений постепенно учатся отвергать порядок, установленный так называемым Богом. Они отвергают пустой мир, однако, не как аскеты или мученики, а как выздоравливающие после попытки самоубийства. Но до этого надо дозреть». Неожиданно в мозгу спящего пассажира возникла нелепая мысль. Самоубийство Пьера — часть ритуального убийства… Вот уж чепуха! И я, словно наяву, увидел вторившего Аккаду и наивного, как Дон-Кихот, Пьера. Вечно ему хотелось все довести до крайности.

А Сильвия? О чем же она умолчала? Как обычно в последние два года, мысль о том, что Сильвия в Монфаве, болью отозвалась в висках.

Наконец-то я дома, и сейчас шаркающим шагом

устало выйду на пустой перрон — торжественный момент всех приездов и ожиданий, но на сей раз я один. Маленький запущенный вокзал, как всегда, вызвал у меня острый прилив любви и страха, потому что обычно меня встречала Сильвия, рука об руку с медицинской сестрой, сосредоточенно поглядывая вокруг. По-моему, я каждый раз нетерпеливо ее высматривал. Поезд, вздохнув, останавливается, и слышится хриплый голос, с характерным местным выговором, делающий объявления. Я застываю у освещенных окон.

Здесь ничего не меняется, и вокзал все такой же невзрачный, такой же убогий и провинциальный. Глядя на него, невозможно представить знаменитый жестокий город, которому он принадлежит.

Снаружи дует мистраль. В медленно оттаивающих садах торчат посреди кружков полинявшей травы знакомые хиленькие пальмы. Клумбы еще покрыты инеем. Ну и, конечно же, вытянувшиеся в ряд *fiacres* с резиновыми шинами ждут, не сойдет ли кто-нибудь с раннего поезда. И возницы и лошади уже просто умирают от скуки и отвращения. Еще немного, и фиакры потащатся в спящий город порожняком, потому что следующий поезд

— только после одиннадцати. Мне удалось разбудить кучера и сговориться о плате, после чего он повез меня в старый «Королевский отель». Но когда мы немного уклонились от курса и зачем-то несколько раз свернули в сторону крепостной стены, мне вдруг страстно захотелось посмотреть на реку. И я приказал ехать к божеству нашей юности, с ее жизнью так много было связано. Расчувствовавшись, мы ехали вдоль древних крепостных стен в полной темноте. Над нашими головами смыкались кроны деревьев. Неожиданно послышались чьи-то крики, сливавшиеся с шумом ветра. Видимо, это коты справляли свадьбу. Я вышел из фиакра и зашагал рядом с ним, чувствуя, как ветер хватает меня за плечи.

В серых сумерках река была чернильно-черной, вздувшейся и притихшей под обломками льда, которые со звоном сталкивались возле берега.

Небо чуть-чуть посветлело на востоке, однако ночь еще не уступила свои права. Легко было представить, что ты — где-то в центральной Азии, где точно такое же, словно одетое в кольчугу, облачное небо с блекнущим мерцанием лунного света. Кучер что-то недовольно проворчал, но я, не обращая на него внимания, осторожно ступил на знаменитый разрушенный мост, одной рукой

держась за перила, а другой — за шляпу, так как здесь ветер уже разгулялся вовсю. Часовню заливал болезненно-призрачный свет, но молящихся еще не было. Разрушенная прославленная реликвия веры людской указывала своими каменными изувеченными пальцами на запад. Мне вспомнился Пьер. Толкуя слова Аккада, он сказал что-то вроде: «На самом деле умирает коллективный образ прошлого — все временные ипостаси, появлявшиеся по отдельности, теперь соединились в одной временной точке чьего-то совершенного восприятия или кристально-чистого понимания, способного остановить мгновение». Какими же пустыми показались мне в продуваемой ветром ночи те глубокомысленные рассуждения. И все-таки тут они были как нельзя кстати. Ведь лет сто эта обшарпанная деревня считалась Римом,[5] центром христианского мира.

В конце концов, это — Авиньон.

В отеле я обнаружил сбивающие с толку послания, но у меня не было возможности сразу же откликнуться на них. Продремав до рассвета, я решительно ринулся на поиски кофе, ощущая

---

[5] Примечания: 5

Имеется в виду так нызваемое «Авиньонское пленение» (1309–1366; 1370–1377), когда резиденция римских пап находилась не в Риме, а в Авиньоне.

болезненный прилив любви к старому городу, пока, словно освободившись от телесной оболочки, шел по его улицам, сопровождаемый звуком своих твердых шагов. Авиньон! Все те же грязные фонари, все те же крадущиеся коты; перевернутые урны, блестящая рыбья чешуя, оливковое масло, осколки разбитого стекла, мертвый скорпион. Пока мы странствовали по свету, город ждал нас, сидя на привязи там, где сливаются две зеленые реки. Прошлое забальзамировало его, сделав недоступным для настоящего. Много лет мы уезжали и возвращались, забывали о нем и вспоминали его. А он со своими мрачными монументами, тяжелыми надтреснутыми колоколами, гниющими площадями всегда ждал нас тут.

В сущности, нам этого и хотелось: чтобы город оставался прежним, чтобы он утешил нас после очередной разлуки. А как же иначе? Ведь он был свидетелем всего самого важного в нашей жизни. Он видел крушение Роба Сатклиффа, болезнь Сильвии и теперь вот самоубийство Пьера. Из лета в лето его обжигало солнцем, пока притиснутые друг к другу черепичные крыши не обретали вид свежей хлебной корочки. Он не отпускал нас от себя, хотя весь прогнил, весь был испорчен вет-

шающей славой и почти растворился в осенней речной сырости. И не было в этом городе уголка, который бы мы не любили.

О Робе Сатклиффе я почти не вспоминал до этого самого момента: я сижу за столиком в замызганной кафешке и жду, когда часы пробьют восемь. Едва моя сестра Пиа… едва ее извращенность стала очевидной, и Роб понял, что им больше никогда не жить вместе, с этого и началась деградация. На первых порах оно не особенно бросалось в глаза, это превращение завсегдатая клубов, любителя приключений и знаменитого писателя в… в кого? Превращение обожавшего чистое белье денди в шута в нелепой шляпе. У публики постепенно угас интерес к его старым книгам, а новых не получалось. Роб снял две комнатенки в дешевом квартале у «творящей ангелов». Так городские остряки называли старух, которые за небольшую плату брали на воспитание нежеланных или незаконнорожденных детей, как бы давая негласное обязательство жестоким обращением и скудной кормежкой превратить их за пару месяцев в «ангелов», то есть уморить. В последние годы Роб общался только с этой старухой, напивался с нею каждый вечер в ее мерзком доме, кишевшем голодными детьми.

Внешне он тоже очень изменился, отрастил черную бороду, надел плащ и широкополую шляпу, придававшую ему весьма колоритный вид. В какой-то момент он перестал мыться и вскоре зарос грязью, как самый настоящий отшельник. Особенно ему нравился его плащ, весь в пятнах жира и мочи. К тому же Роб завел привычку мочиться в постели и предавался этому детскому пороку, втайне злорадствуя, тыкая себя, если так можно выразиться, носом в собственное безобразие. Свой плащ он тоже не упускал случая окропить мочой и с наслаждением вдыхал едкую застарелую вонь. Какое-то время он еще виделся с Тоби, но потом и ему запретил приходить. Подобное демонстративное впадание в детство казалось тем более поразительным, что было осознанным. Как никак Сатклифф начинал свою карьеру как психолог и только потом подался в писатели. Не исключено, что таким образом он мстил моей сестрице, но тем хуже, если это так. Бывало, напившись (он не брезговал и наркотиками), Роб брал напрокат лошадь и, забывшись сном, с опущенной головой медленно ехал по городским улицам. Поводья свободно висели у лошади на шее, не мешая идти, куда ей заблагорассудится. Когда ему приходилось справлять большую

нужду, он пачкал не только бумагу, но и пальцы. Непостижимо! Об этих прямо-таки невероятных переменах мне рассказал друг Роба Тоби — тихим печальным голосом, каким обычно сообщал о важных или трагических событиях. Когда тело Роба вытащили из реки (он свалился туда вместе с лошадью), Тоби заставил старуху выложить ему все до мельчайших подробностей…

Как же это было странно — сидеть ни свет ни заря в кафешке, раздумывая то о Робе, то о Пьере, который принял смерть в «Принц-отеле», то есть всего через две улицы отсюда. Почему он не вернулся в шато? Почему остался в городе? Ждал меня? Что-то еще? Возможно, так ему было проще повидаться с сестрой? Теперь уже это тайна, покрытая мраком. Еще немного, и можно будет позвонить, как-то определиться. Никто еще не знает о моем приезде. Да и Тоби, если получил мою телеграмму, наверно, уже здесь.

Начала сказываться усталость после долгого путешествия — я едва не заснул прямо за столиком. Однако заставил себя встать, вернуться в отель, предвкушая горячий душ, который даст мне силы пережить этот день — памятный день моего возвращения в Авиньон и к Сильвии.

Прошел почти год, прежде чем я стал пытаться

излагать на бумаге смысл и определять значение всех этих событий. Это хоть как-то скрашивает жизнь в старом шато — странную замкнутую жизнь, к которой в конце концов, я приладился. Эти записи — все ж таки какое-то занятие, я пытаюсь срастить сломанные кости прошлого. Наверное, мне следовало начать гораздо раньше, но даже мысль о комнате, где хранится архив, все эти книги, документы и картины, угнетала меня. Ведь каждый раз, читая дневники, рукописи и письма, я вновь прикасался к жизни моих друзей. А теперь надо спешить, потому что за мной тоже следует тень смерти, правда, куда более прозаической, по причине телесной немощи, но какое-то время я еще продержусь — с помощью уколов. Приходится все использовать, потому что мне не хочется оставлять Сильвию одну раньше отпущенного мне срока.

Я знал, что в связи с кончиной Пьера мне предстоит выполнить кое-какие формальности, и тем же утром позвонил нашему общему другу, доктору Журдену, заботам которого мы всегда вверяли Сильвию. Для невролога он был необычно веселым человеком, и даже слово «меланхолия» воспринималось в его устах, как нечто завидное и приятное.

— Наконец-то! — проговорил он с заметным облегчением. — Мы вас ждали. Ремиссия проходила отлично, знаете ли, и Сильвия много времени проводила с Пьером, пока не грянул этот кошмар. Да, я потрясен не меньше вашего… Зачем? Они только и говорили, что о вашем возвращении и о новой жизни, которую вы все вместе начнете в Верфеле. Естественно, она не выдержала, но это еще не стопроцентный рецидив. Скорее, сумеречное состояние, путаница в сознании, однако картина не совсем безнадежная. А теперь и вы тут, значит, сможете мне помочь. Сейчас она на довольно сильных седативных. А почему бы вам не приехать вечером в Монфаве? Пообедаем тут. Попробуем ее взбодрить.

Я сказал, что приеду. Похоже, Тоби пока не объявился. Неужели не получил телеграмму?

Днем, чтобы убить время, я решил прогуляться по старому городу, расположенному за крепостными стенами, я направился по заросшей травой дороге наверх, мимо уродливых папских дворцов, к великолепным висячим садам Роше-де-Дом. Оттуда открывается вид на три стороны, и можно наблюдать, как петляет Рона, пробивая себе дорогу в крошащемся известняке и размывая рыхлые подножия холмов. Неяркое солнце освещало

снежные полосы, уходящие в направлении Альп. Островок внизу, казалось, закоченел, словно дикая утка, запутавшаяся в сверкающей инеем осоке. В отдалении, выпрямившись, как мученик, привязанный к ледяному столбу, стояла гора Сен-Виктор. Ветер никак не желал стихать, но благодаря солнцу, хотя и слабенькому, от земли тянуло то еле уловимым ароматом апельсинов, то чабреца.

Мы часто гуляли здесь вдвоем с Сильвией, заглядываясь на прекрасные виды. И теперь, повторяя наш маршрут, я вспоминал то одно, то другое из тогдашних разговоров. Трагедия придала тем нашим словам новое звучание, ведь теперь они стали частью прошлого, частью того времени, когда с нами еще был Пьер. Я даже как будто увидел нас с нею — словно в романе Роба, — усилием памяти возвращенных на этот самый, тронутый весной холм. Увидел оттененные темными ресницами глаза Сильвии, «совсем как у дрозда», часто говаривал ее брат, и ее иссиня-черные, блестящие, как копирка, волосы. Воспоминания обрели необычный эмоциональный накал, интенсивность которого отнюдь не слагалась — нет, нет! — из множества ностальгии. Прошлое стало весомым, крепким

и сочным, подобно осеннему плоду. Оно было настолько живым и полноценным, что никто даже не посмел бы о чем-то сожалеть. Ощущение же обреченности, одиночества и прочих гнусностей принадлежало исключительно настоящему. Здесь, наверху, весна по-щенячьи скреблась в дверь.

Словно в забытьи, не замечая холода, я бродил по саду, вызывая в памяти контуры и извивы давних разговоров и размышляя о том, что уготовило мне будущее в опустевшем мире.

В тот момент Сильвия представлялась мне большим вопросительным знаком. Я не знал, сможет ли она стать прежней Сильвией, почти прежней, и начать со мной что-то вроде новой жизни? Удивительно, как пылко я верил, что присутствие Пьера поможет ей вернуться к здравомыслию, к реальной действительности. Причин для оптимизма у меня было не больше, чем теперь, но все же я надеялся на лучшее. А теперь моя вера поколебалась — я боялся практически неуловимых моментов психического заболевания. Эти его трудно определяемые границы, неожиданные перемены в настроении, нестабильность… Сильвия сама однажды сказала: «Следует остерегаться безумцев. Им нельзя

доверять, и они об этом знают, но ничего не могут с собой поделать. И вы, врачи, тоже не в состоянии им помочь».

А если случится худшее? Ну что ж, она и сама предпочла бы поселиться в Монфаве, в тех комнатах, которые уже давно стали ее личными апартаментами, ибо доверяла только своему старинному другу и наперснику Журдену. Я вздохнул, подумав, что, по-видимому, никогда уж нам не странствовать по свету печальным трио — муж, жена и сиделка, а тем более другим трио — брат, сестра и любовник. Как же мы были близки до всех этих несчастий! Не думать о прошлом было невозможно. Пьер, Сильвия, я, Тоби, Роб, Пиа, Сабина с колодой карт, предсказывающих судьбу… где она теперь? Наверное, карты уже поведали ей о смерти Пьера? Я бы не удивился. Под ногами зашуршал гравий. Внизу неясно виднелись нечестиво-уродливые папские дворцы, с тупым величием нависавшие над городом, который, несмотря на звучное имя, все еще был скорее большой деревней. Прерывающаяся недолгими ремиссиями, возвращениями к адекватному состоянию и даже к завидной интуиции, квази-смерть безумия была на самом деле еще более жестокой, чем смерть настоящая. Мне же,

по-видимому, она грозила постепенным эмоциональным истощением — и в этом контексте слово «кастрация» звучало не слишком большим преувеличением. Пока я пребывал в состоянии некой заторможенности, у меня внутри все немело и застывало. Естественно (врачи всегда настороже), я уже мог проследить симптомы некой глубинной подавленности в своих мечтах, не говоря уж о фантазиях, в которых, к собственному ужасу, пытался ее отравить. Трудно поверить, но что было — то было. В тягостной тишине я стоял возле кровати и держал руку у нее на пульсе, пока не стихало дыхание, и мраморная бледность лица не убеждала меня в окончательном оцепенении. Чуть погодя к моим ноздрям поднимался сладкий аромат, воображаемый аромат смерти, который я давно знал: подозреваю, то был запах морфия. Эта греза кончалась тем, что приходил Пьер и клал мне на плечо руку, чтобы успокоить и освободить от злых духов.

В этот вечер времени у меня оказалось в избытке. Дневной свет уже уступал место лунному, когда я отправился через весь город на вокзал и нанял *fiacre.* Мне хотелось, как бывало прежде перед встречей с Сильвией, неторопливо проехаться над незатихающими речками по

зеленым полям и каштановым аллеям. Я сгорал от нетерпения, мечтая взглянуть на церквушку, которая так часто становилась местом наших свиданий. Как она там, на маленькой тихой площади, в окружении высоких тенистых платанов? Неужели и желтый почтовый ящик все еще висит на потрескавшейся стенке бистро? Маленькая хрупкая деталь внешнего мира, всплывшая в путаном отраженном мире ее безумия, ее жизни за стенами огромной лечебницы.

Обычно я издалека замечал робко поджидавшую меня под деревьями Сильвию: склонив голову, она прислушивалась к цокоту лошадиных копыт. От трепетного волнения оживала смуглая ее красота, блестели глаза, розовели щеки. А где-нибудь поблизости обязательно пряталась высокая, в серой униформе, по-военному строгая сиделка с седыми волосами, стянутыми узлом на затылке. Из своего укрытия она прилежно наблюдала за тем, как Сильвия на цыпочках бежит мне навстречу, широко раскидывая руки и беззвучно шевеля губами, словно заждавшийся ребенок. До странности напоминавшая горбатого верблюда, маленькая пустая церковь пахла воском, кошками, пылью. Мы входили, обнявшись, успев растопить ледок отчуждения первым тре-

петным поцелуем. Нас постоянно и даже как будто помимо воли тянуло в придел, помеченный римской цифрой пять, где мы садились напротив большой картины, которую очень любили и которая действовала на нас успокаивающе. Сильвия умоляла говорить шепотом, но не из благоговения перед святым местом, а из опасения, как бы соглядатаи на полотне не подслушали нас — хотя я думаю, что этим подчеркнуто безобидным нарисованным существам и в голову не приходило мешать ласкам влюбленных, уединившихся в тихой церкви.

Я медленно катил по длинным зеленым аллеям между деревьями с первыми весенними почками, когда осознал очевидную противоречивость своих мыслей, которые, подобно маленькому *fiacre*, заносило то в одну, то в другую сторону. Что-то странное творилось у меня в голове, настоящая анархия, источником которой были неизжитые детские страхи и травмы; но кое-что я все-таки начал понимать. Неужели смерть Пьера, породившая страх и нежность, могла бы приблизить меня к Сильвии? Но ведь я никогда не ревновал к Пьеру, пока он был жив, или только думал, что не ревную? Я был поражен ходом своих мыслей. Теперь Сильвия целиком

и полностью принадлежит мне! Если к ней вернется рассудок, мы могли бы завести детей. Еще не поздно… Вот тут-то мой мозг и забуксовал. Однажды это уже могло свершиться, но я повел себя бесчестно, отвратительно. Несколько лет назад, весной, меня застигло врасплох известие о беременности Сильвии, и, не зная в точности, кто отец ребенка, я попытался решить проблему женитьбой, однако вся неразбериха закончилась искусственно спровоцированным выкидышем. Ни к чему трусливо делать вид, будто решающую роль сыграло ее душевное состояние, скорее, под вопросом было наше с Пьером душевное состояние. Быть гомосексуалистом не очень-то приятно, не лучше, чем быть негром или евреем. Маска мужа стала еще одной маской, надетой мною ради власти над братом Сильвии, которую мне давали его чувства. Как бы то ни было, любовь — реальность, возможно, единственная реальность в нашем многое утратившем мире. Но где взять ту единственную любовь, которая живит и обогащает, которая обходится без разрешений, сомнений и без чувства вины?

Теперь не принято слишком много о ком-то расспрашивать, и со стороны наша троица выглядела, наверное, довольно умилительно

— особенно если вспомнить саркастические высказывания Роба на наш счет. Мы были старомодны и принадлежали веку благочестия, видно, поэтому Авиньон оказался идеальным местом для нашего безрассудного приключения, которое не оставило бы следов, разве что множество ненужных бумажек в старом шато, но и их когда-нибудь продадут за ненадобностью.

В тени деревьев, по-солдатски выпрямившись и сложив на груди руки, нас поджидала сиделка-немка в серой униформе, не сводившая глаз с двери, из которой мы должны были рано или поздно появиться. Один раз Сильвия написала на стене пустой бальной залы в Верфеле: *«Quelqu'un en gris reste vainqueur»*.[6] В ту минуту она наверняка думала о долговязой и суровой стражнице ее рассудка.

Слава богу, церковь никуда не делась, да и площадь почти не переменилась. Мой взгляд сразу же отыскал знакомое место под деревьями, где раньше было многолюдно, а теперь лишь несколько пожилых мужчин катали *boules*.[7] Остановив *fiacre,* я на минутку вошел в церковь,

---

[6] Примечания: 6
Кто-то в сером остается победителем *(фр.).*

[7] Примечания: 7
Шары *(фр.).*

ведомый не столько конкретной целью, сколько сонной тишиной, и посидел немного на нашей скамейке, не сводя глаз с картины на стене, свидетельницы наших свиданий и бесед. Потом мои мысли вернулись к Сильвии, и мне захотелось, если получится, телепатически передать ей чуточку здешнего печального покоя. Я закрыл глаза и некоторое время считал вдохи и выдохи, мысленно воссоздавая ее облик — то ли как мишень, то ли как икону. Мне явилась порывисто, но уверенно двигавшаяся фигура, узкокостная, гибкая, в несколько старомодном, по обыкновению, платье и почти без украшений. Вызвать ее образ, «фантом», в сером сумраке маленькой церкви оказалось совсем нетрудно. И тогда я попытался спроецировать на нее понимающую, думающую и заботливую часть себя, которая была выше моего «я» и хитрых уловок разума. Да-да, я видел ее, и мне припомнилось еще одно рассуждение Аккада, которое я тихо повторил: «Определенная текстура есть даже у смерти, и большие философы еще при жизни входили в тот мир, который она собой воплощает, чтобы соединиться с ним, пока продолжали биться их сердца. Они колонизировали мир смерти». Когда Аккад произносил нечто подобное, словно цитировал

какого-то забытого поэта-гностика, Сильвия, не помня себя от восхищения, протягивала к нему руки и говорила: «О, милый Аккад, сделай так, чтобы я поверила, пожалуйста, сделай так, чтобы я поверила».

В отличие от брата, она, как и я сам, отличалась неспособностью к вере, что и помешало нам слишком углубиться в непроходимые дебри гностического мира; ну а Пьер чувствовал себя в нем, как рыба в воде, и лишь старался не стать чересчур назойливым фанатиком.

Время шло к вечеру, и солнечные лучи в последнем усилии зажигали огнем платаны. Я, прервав воспоминания, вернулся к экипажу.

— В «Монфаве-ле-Роз», — приказал я.

Кучер странно посмотрел на меня, не зная, выражать мне сочувствие или не выражать; но, возможно, его просто разбирало любопытство. Образ розы придает безумию некую особую окраску. Вот и авиньонское просторечное *«tomber dans les roses»*, шутливая переделка выражения *«tomber dans les pommes»*[8] означает сойти с ума и попасть в то серое заведение. В прохладных вечерних сумерках мы ехали навстречу Силь-

---

[8] Примечания: 8
Упасть в обморок *(фр.)*.

вии. И я пытался представить, как она, в каком состоянии.

На посторонний взгляд это были всего лишь две обветшавшие от старости комнаты с высокими потолками в вечной паутине, тем не менее, вид имевшие довольно величественный, поскольку их не подвергали никаким переделкам. Переселяясь в Монфаве, Сильвия всегда занимала их, и комнаты всегда ждали ее, так что теперь уже казалось, будто они ей принадлежат. Ей позволили перевезти сюда из шато элегантную мебель, ковры, картины и даже большой гобелен из бывшей бальной залы. Поэтому, входя к ней, я неизменно испытывал приятное изумление, словно попадал в райский приют, полный покоя и красоты, до этого миновав довольно неказистые основные корпуса и далее череду длинных белых коридоров со стерильно чистыми стеклянными дверями, на которых краской были написаны фамилии врачей. К тому же, в комнатах Сильвии огромные окна-двери выходили прямо в сад, и она практически все лето жила на свежем воздухе. Это была жизнь привилегированного узника, и только когда наступала ремиссия, Сильвия возвращалась в обычную жизнь. Однако комнаты оставались за ней, и даже в ее отсутствие их

обязательно прибирали и проветривали.

Сильвия работала под огромным, когда-то ярким, но со временем потускневшим гобеленом: охотники, трубя в рога, преследовали олениху. Загнав ее и оставив свой трофей грумам, они галопом мчатся мимо расположенных по диагонали туманных озер и романтических островков к холодным итальянским небесам, там, на горизонте, словно вышедшим из-под кисти Пуссена или Клода.[9] Олениха же, вся в слезах, тяжело дышит и истекает кровью. Отсутствие перемен меня успокоило. Все тот же прелестный старинный письменный стол португальских мастеров, ящики которого украшены ручками из слоновой кости; раритетный бюст Гонгоры;[10] увеличенный и вставленный в рамку автограф Андре Жида над пианино.

Грустно улыбаясь, рядом стоял Журден с ключом в руке, давая мне время освоиться. Взгляд мой наткнулся на связку рукописей и кучу записных книжек на ковре — словно они выпали из разорвавшегося пакета.

— Трофеи из комнаты Пьера, — пояснил Жур-

---

[9] Примечания: 9
Клод, Лоррен (1600–1665) — французский живописец и график.

[10] Примечания: 10
Гонгора-и-Арготе, Луис де (1561–1627) — испанский поэт.

ден, проследив за моим взглядом. — Полицейские разрешили это взять в надежде, что она обнаружит что-нибудь важное. Но пока ничего. Похоже, она видела Пьера последней, понимаете? Пойдемте. Поговорим потом.

Сильвия ушла и теперь лежала на широкой кровати с тяжелым, красновато-синим балдахином, не пускавшим внутрь свет, прямо на покрывале. Глаза ее были закрыты, но она не спала. Об этом говорили движения ее любознательных пальцев — которые, похоже, медленно проигрывали гамму ля минор, неловко, с остановками, словно первый раз. Мы вошли почти бесшумно, но я сразу, благодаря многолетним за ней наблюдениям, понял, что Сильвия знает о нашем приходе, учуяла нас, как это бывает у зверей. Впрочем, ничего таинственного в нашем появлении не было, ведь она ждала меня. Почти машинально я опустился на одно колено и коснулся пальцем белого запястья, потом шепотом позвал ее. Она улыбнулась, и, повернувшись, долгим поцелуем нежно поцеловала меня в губы, однако глаз не открыла.

— Брюс, наконец-то, Брюс.

Но прозвучало это так, словно я привиделся ей во сне. Потом, переменив тон, она негромко, но

отчетливо произнесла:

— Здесь все пропахло жженой резиной. Надо сказать Журдену.

Журден незаметно потянул носом, а она стремительно продолжала:

— Мне кажется, на самом деле, меня раздражало, как он ест. Тоби всегда так ел. Бедняжка Тоби.

Я взял ее за руку и, забывшись, спросил:

— Тоби уже приехал?

Не отвечая, она приложила палец к губам.

— Ш-ш-ш. Никто не должен нас слышать. Скоро он приедет. Он обещал. — Сцепив пальцы, она с озабоченным видом уселась на кровати, все еще не открывая глаз. — Дневники Пьера. Их так много, что мне не разобраться. Слава богу, Брюс, ты приехал. — У нее дрогнули губы. — Вот только запахи резины и серы… даже не знаю, какой хуже. Теперь я в твоей власти, Брюс. Кроме тебя, никого не осталось, кто мог бы меня сгубить. Ты сам убьешь меня, Брюс, или доведешь до самоубийства? Я должна знать правду.

— Ну что ты…

— Я должна знать правду.

Наконец-то она разомкнула веки и с улыбкой поглядела на нас — немного плаксиво, но в общем, взгляд был спокойным, и мне стало

чуть-чуть легче. Удивительно, как ей удавалось выползать из своей болезни, стоило мне объявиться после долгого отсутствия. Так из морских глубин выплывает ныряльщик. Еще минута — и она опять лежала лицом к стене, теперь уже рассуждая вполне здраво:

— Вина за путаницу отчасти на мне, но вообще-то мы все виноваты. Ужасно стать полем битвы трех «я».

Я прекрасно понимал, о чем речь, но однако же молчал, не снимая пальцев с жилки у нее на запястье, с этого драгоценного хронометра пульса.

Сильвия вздыхала, однако довольно скоро ко мне — в который раз — вернулась уверенность, что непостижимым для меня самого усилием воли я потихоньку возвращаю ее в реальную жизнь. Весь фокус был в контроле (не всегда срабатывавшем), механизм которого мне хотелось понять, чтобы использовать это действо как сеанс терапии. Я пытался внушить себе, что рядом со мной она не сразу, но понемногу забывает о своем безумии. Всему, что она говорила, даже полной чепухе, я старался придать реальный смысл и тем самым побуждал ее к осмысленной речи. Приходилось делать вид, будто все, сказанное ею, имеет смысл, но, собственно, так оно и

было, вот только добраться до сути этого смысла мне не всегда удавалось, словно суть тонула в осмысленности, как залитая водой лодка.

Нет ничего более противоестественного, чем любить человека, впавшего в безумие, пусть даже временное. Ответственность, напряжение, страх — это тяжелая ноша, уже хотя бы потому, что в периоды помрачения и истерии непомерно велика угроза самоубийства или убийства. Человек, любящий безумного, вынужден постоянно следить и за своим разумом, ведь рано или поздно каждый из нас понимает, как ненадежен его мозг. Постоянно наблюдая безумие, волей-неволей приближаешься к нему. Оказывается, лишиться рассудка легче легкого, и здравомыслие начинает представляться чем-то временным и ненадежным. Пока я проворачивал в голове эти тяжкие рассуждения, она говорила:

— Вроде бы все закончено. Но все ли? Жили-были три негритенка… потом их стало два. Я боюсь тебя. Что нам делать, Брюс?

Вопрос был задан совершенно осмысленно, и я решил этим воспользоваться.

— Ты была с ним? Как это случилось? Он действительно сам?

Она тихонько вздохнула и закрыла глаза, вновь

уходя в забытье, в это изумительное убежище от назойливой реальности, а я почувствовал себя дураком — оттого что не дождавшись подходящего момента, спросил о самом важном. У Журдена хватило такта отвернуться. Едва мы услыхали легкое посапывание, как он, пожав плечами и стараясь не шуметь, потянул меня из спальни, напоминавшей подводную лодку, в сторону кабинета.

Но я довольно долго не уходил, почти осязая окружавшую меня тишину, наблюдая за Сильвией и прислушиваясь к ее все более глубокому дыханию, пока она пребывала в искусственном, навеянном лекарствами, небытии. Журден тоже терпеливо ждал; милый человек с немного косящим взглядом, который придавал ему грустно-осуждающий вид, отчего его улыбка обычно была тронута печалью. Даже летом он носил темные плотные костюмы, хотя наверняка задыхался в них, белые рубашки с жесткими воротничками и широкие галстуки, больше похожие на шарфы. Шепнув, что вернется за мной к обеду, он на цыпочках вышел из комнаты. Посидев еще немного с Сильвией, я последовал его примеру. Очутившись в соседней комнате, я вынужден был собрать разбросанные по ковру

письма и записные книжки. Так Пьер всегда обращался со своими бумагами: все в полном беспорядке — всё еще в процессе работы, вплоть до последнего афоризма! Можно было подумать, что это спятивший барахольщик рылся в кучах старых концертных программок, городских карт, брошюрок, записных книжек и писем. Я кое-как все это рассортировал и аккуратно сложил, однако мне пришлось нелегко. Среди писем, в конвертах и без конвертов, оказалось много моих и Сильвии, которые она посылала мне, а я потом переправлял их ему — вот так я относился к нашему союзу, с моей точки зрения, обязывавшему нас делить друг с другом все, даже самые личные переживания.

Я нашел несколько писем Пьера к Сильвии, все — на его любимой бумаге с печатью легендарного «Outremer». (Я заметил у нее на пальце его печатку с этим ребусом. Пьер не без иронии называл себя «последним тамплиером», ведь девиз «Outremer» символизировал не только прошлое его семьи, ибо Пьер происходил из рода де Ногаре,[11] но и его тамплиерскую гордость

[11] Примечания: 11

Имеется в виду Гильом де Ногаре (ок. 1265–1313), канцлер и хранитель печати Филиппа Красивого, сыграл важную роль в подготовке разгрома ордена тамплиеров в 1307 г.

заморскими деяниями ордена. Именно поэтому наше романтическое путешествие на Восток было таким захватывающим — в известном смысле даже историческим. Ему казалось, будто он возвращается к корням великого предательства и раскола в христианстве. Пьер поклонялся Богу тамплиеров. Он верил в узурпатора трона, Князя Тьмы.)

Сидя в зеленом кресле, я размышлял о Пьере, перебирал бумаги и мечтал. «Перед лицом подобного зла прилично ощущать лишь творческое отчаяние», — сказал однажды Пьер, и, когда я ответил улыбкой на столь высокопарное утверждение, рассердился. Я листал страницы дневника, на которых были перечислены все, кто приходил к нему в последние дни перед смертью. Неужели он сам дал сестре печатку? Когда я потряс «A Rebours»,[12] роман Гюисманса, на ковер выпало еще несколько писем. В одном, адресованном мне, Пьер рассказывал о рецидиве. «Когда это приходит, Брюс, ей всюду слышится мой голос, в роще, в трубе отопления, в комарином писке; я будто бы кричу: «Где ты, Сильвия?» А потом вдруг раздается кошмарный вопль: «Я убил

[12] Примечания: 12
«Наоборот» *(фр.)*.

мою сестру!» Она в ужасе. А мне что делать?»

Рецидивы не совпадали ни с фазами луны, ни с собственными биологическими ритмами Сильвии. Их не удавалось ни предсказать, ни предупредить. Если мы навещали ее вдвоем, она узнавала только одного Пьера. Мне попалось на глаза длинное бессвязное письмо, которое она написала мне, но адресовала брату. «Милый, тебя нет слишком долго. Скоро мой день рождения, и я слышу запах каждого следующего дня, который неохотно сменяет предыдущий. Знаю, ты не приедешь, и все же делаю вид, будто это не так. Вот и сегодня я весь день ждала тебя, облачившись в великолепную, без единого шовчика, эйфорию. Волны запаха миндаля действуют мне на нервы, и я плакала и плакала, пока не заснула и не вернулась в реальную жизнь. Теперь, когда плод созрел, я знаю, что люблю тебя. Брюс, дорогой, тот след пятничного мужчины, что был на песке, теперь появился у меня в комнате. Даже Журден видит его, поэтому я ничего не придумываю. Помнишь, Пьер — Дитя Пятницы?[13] Мой милый, говорят, ты возвратился из Индии, а мне ни слова. Почему? Наверняка, у тебя есть причины, и все

[13] Примечания: 13

Намек на английскую поговорку: «рожденный в пятницу щедр и пылок».

объяснится, когда ты приедешь. Прости, если я слишком назойлива.

Мне не терпится послушать твои рассказы об Индии… Какая она? Спокойная? Голодающая, облившаяся Богом и усеянная испражнениями? Я, кажется, знаю. В каждом остановленном дыхании детоубийство, в каждой улыбке таинственное право на внутреннее одиночество. Давным-давно. Когда я была там, то знала: у моего хрупкого небытия время полнолуния. Яснее всего мне помнится аромат магнолии. Это аромат глубокой печали, такой желанный. Однако, запертая в первоклассной гостиной собственного мозга, я начинаю роптать. Вчера мне разрешили притвориться, и я пошла в ту церквушку поздороваться с людьми, нарисованными на стенке. А сегодня ночью мне показалось, будто Пьер ходит в соседней комнате, но, когда я прибегала, его там не было. Этот дом, эта пародия на дом, полна необычной печали. Журден тоже это чувствует. Он все еще здесь, все еще говорит, что пора на пенсию; и привередлив, как прокаженный. После его ухода остается запах сигарет. И йода.»

Каждую фразу я мысленно проверял на звук, одновременно пытаясь представить, как она, неловкая и нескладная, сидит в пятом приделе

церквушки в Монфаве под тремя написанными маслом волхвами. За ее спиной на стене мемориальная доска с датой смерти забытого священника. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу ее.

ICI REPOSE

PLACIDE BRUNO VALAYER

Eveque de Verdun

Mort en Avignon

en 1850[14]

Погрузившись в воспоминания, я забыл о той, которая спала в соседней комнате, и даже не сразу узнал Журдена, когда он постучал по стеклу, привлекая мое внимание. Наверное, я задремал, сказалась усталость после долгой дороги. Тем не менее, я тотчас вскочил и побрел за доктором через все здание в холостяцкую квартиру, где в полной мере проявлялась неслабеющая страсть Журдена к живописи. Там я заметил новые приобретения.

Желая, так сказать, подчеркнуть свой общественный статус, он надел любимую английскую

---

[14] Примечания: 14

Здесь покоится Пласид Брюно Валайе, епископ Верденский, умерший в Авиньоне в 1850 году *(фр.)*.

куртку из фланели — видимо, время учебы в Эдинбургском университете было лучшим в его жизни. Вина были подобраны тщательно и любовно. Еда — легкая и изысканная. Довольно долго мы, не произнося ни слова, что позволительно только старым приятелям, потягивали коньяк и улыбались друг другу.

— Мне не терпелось спросить, что вам известно о происшедшем, — с вымученным смешком произнёс наконец Журден, — но, вижу, вы хотите задать мне тот же вопрос.

Доктор был прав; я как раз намеревался спросить его, что за дьявол вселился в Пьера. Журден знал о наших с Пьером планах насчет отставки и всего прочего, и я мог говорить с ним откровенно. Я всегда подозревал, что Журден влюблен в Сильвию. И верно поэтому, как человек на редкость щепетильный, едва возникала необходимость в курсе легкой психотерапии, он направлял ее к другому врачу. Опасался, что после этих сеансов Сильвия начнет его побаиваться. Или не хотел испытывать неизбежную ревность?

— Тогда позвольте мне рассказать, как обстоят дела на сегодняшний день, — проговорил он, едва мы приступили к еде, и тяжело вздохнул. — Почти год назад, когда Пьер вышел в отставку

и поселился в отеле, чтобы в ожидании вашего приезда быть поближе к Сильвии, все как будто складывалось в соответствии с вашим планом, о котором он дважды и с энтузиазмом мне рассказывал. Сильвия отреагировала на грядущие перемены несколькими прекрасными ремиссиями — словно и не болела никогда. Радости Пьера не было границ, и они проводили вместе целые дни, гуляли по городу, разбирали у него в отеле письма, играли в карты — вам ведь известна его страсть к картам. Всю последнюю неделю… ну… перед своим немыслимым поступком… он лежал в постели с легкой простудой, ничего серьезного. Прочтите его дневник, и увидите, как много людей у него перебывало, но, судя по всему, последней была Сильвия. Около семи вечера за ней приезжала сиделка и привозила ее сюда. Разумеется, в том, что последней Пьера видела его сестра, нет ничего странного. Странно другое. Когда за ней приехали, она была очень подавлена и почти ничего не соображала. Напрашивается вывод: то ли Пьер уже сделал последний шаг, то ли сообщил, что собирается его сделать. Во всяком случае, Сильвия — знала. Согласитесь, то, что она ни разу не пришла в себя, весьма подозрительно. И сиделка запомнила интересную подробность

— будто она (Сильвия) была очень напугана и винила себя в смерти Пьера, так как в тот вечер сама приготовила для него снотворное. И, возможно, ошиблась в дозировке. Пустой пузырек стоял на тумбочке возле кровати, где его, естественно, нашли бравые полицейские, потребовавшие вскрытия трупа. Сам он отравился или его случайно отравила Сильвия? Вот в чем вопрос.

— «Случайно» звучит лучше. Теперь мне спокойнее.

— Да уж. Никогда не подумал бы, что он собирается сводить счеты с жизнью. К сожалению, мне не удалось предотвратить вскрытие, однако я побывал у *prefet*,[15] и он уверил меня, что если не появятся новые факты, подтверждающие насильственную смерть, происшедшее будет квалифицировано как несчастный случай. Это поможет избежать затруднений с похоронами. Я навестил также чудаковатого дядюшку Пьера, аббата из Фулька, и он окажет нам моральную поддержку, если полицейские станут слишком докучать. Вам известно, что аббат получил разрешение на похороны в верфельском фамильном склепе? Надеюсь, к завтрашнему вечеру все будет

---

[15] Примечания: 15
Префект *(фр.)*.

улажено. Ну вот, больше рассказывать нечего. — Журден положил руки на стол и впал в глубокую задумчивость. — Возможно, это Сильвия, — проговорил он. — Если так, то мы должны настаивать на непреднамеренном убийстве. Несчастный случай. Да, так и оно и было, скорее всего.

Меня, как ни странно, успокоил его рассказ, ведь до сего момента смерть Пьера казалась мне совершенно необъяснимой. А теперь все встало на свои места, и когда полицейские получат конкретные результаты вскрытия, все опять пойдет своим чередом. Можно будет заняться похоронами. Тем не менее, пока Журден говорил, я, словно воочию видел длинный небрежный разрез от груди до *mons pubis*.[16]

— А Тоби? — вдруг жестко спросил Журден. — Какого дьявола он не приехал?

На этот вопрос у меня не было ответа.

— Мы телеграфировали ему в Оксфорд. Наверно, не успел еще или, как обычно, путешествует по Германии… Не знаю.

Журден кивнул и тут же, чертыхнувшись, вскочил.

— Совсем забыл. Я ведь взял у полицейских

---

[16] Примечания: 16
Лобок *(лат.)*.

фотографии. На них комната Пьера, какой ее застали инспектор и *medicin-legiste*.[17] Конечно, шум отчасти оттого, что он умер в «Принц-отеле» — какого дьявола Пьер не поселился, например, в «Бристоле»? Из экономии? Ведь это *maison de passe*.[18] У него были тайные пороки, о которых мы не знали? Так или иначе, если в «Принце» что-то случается, полиция тут как тут. Потому и все эти вопросы, фотографии и прочее. К тому же, он оказался любителем *quat*… гашиша… чем доставил большое удовольствие фараонам. А больше, в сущности, ничего интересного.

Сообщая это, Журден открыл тяжелый черный портфель, лежавший поначалу рядом с софой, и достал из него конверт с еще влажными фотографиями. Блестящие снимки липли к рукам. До чего же прекрасны были эти натюрморты, изображавшие неубранный номер Пьера. Журден выложил их на зеленый карточный стол, подвинул два кресла и принес большую лупу, чтобы я мог получше разглядеть обстановку да и самого постояльца, лежавшего на кровати в той самой позе, в какой его нашли полицейские. У меня

---

[17] Примечания: 17
Судебно-медицинский эксперт *(фр.)*.

[18] Примечания: 18
Дом свиданий *(фр.)*.

перехватило дыхание, когда я начал перебирать снимки. Журден продолжал тихо рассказывать, стремясь выложить как можно больше подробностей необъяснимой трагедии:

— На пустом пузырьке осталось несколько отпечатков пальцев. Среди них есть и отпечатки Сильвии. Это важно. Вам ведь известно, что Пьер принимал большие дозы люминала в качестве успокоительного и снотворного. Его-то и найдут у него в желудке.

Пьер лежал на боку, подтянув колени — почти в точности повторяя позу младенца в утробе матери; одеяло было откинуто, по-видимому, он собирался встать. Смотрел он прямо в объектив фотоаппарата, в сторону двери, и с радостным удивлением улыбался вошедшему, явно довольный его появлением. На фотографии, сделанной при помощи вспышки, четко было изображено красивое породистое лицо и яркие синие глаза, сиявшие, словно сапфиры. Он был в старой белой ночной сорочке с монограммой на груди. Мне как будто показали кадр из фильма, по которому невозможно было понять, что на самом деле собирался сделать Пьер; не исключено, что он вовсе не вставал, а как раз наоборот, с удовольствием ложился в постель и улыбался кому-то

на прощание.

Одну руку (хорошо было видно крепкое запястье фехтовальщика) он протянул к ночной тумбочке, собираясь не то выключить свет, не то взять книгу, а может быть, сигарету. Я схватился за лупу, чтобы получше разглядеть мелкие детали. Ближе к кровати лежал роман. Рядом с ним — часы, поодаль стояла серебряная пепельница, и из нее торчал эбонитовый мундштук. В другой пепельнице, побольше, куча сигаретных и сигарных окурков. Я сразу узнал сигары, которые курил Пьер. Вообще же в номере царил хаос. Повсюду чайные чашки, банки с джемом, цветы, пакетики с благовонными палочками, иллюстрированные журналы и горы книг и писем.

— Похоже, там совсем не убирали, — заметил я.

Журден пожал плечами.

— «Принц», — сказал он, словно это все объясняло.

По правде говоря, зная неаккуратность Пьера, я не видел в беспорядке ничего особенного. Шкафы у него никогда не закрывались. И хотя он всегда был немного денди, его гардероб не отличался разнообразием, но зато свидетельствовал о пристрастии Пьера к вещам, сшитым на заказ в

Лондоне. Двух средних размеров сундуков вполне хватило бы для всех его пожитков, другое дело книги. Пьер жить не мог без книг, без множества книг. Потому ему и понадобились самодельные, сбитые из ящиков, основательно прогнувшиеся полки. На стене висела его любимая, написанная маслом картина с изображением нашей троицы. В желтом гамаке под платанами, вся в солнечных бликах, Сильвия с охапкой цветов на коленях. По одну сторону от нее Пьер с дамской соломенной шляпой в руках, словно только что поднял ее с земли, по другую, прислонившись к дереву, стою я с сигаретой в зубах. Небо чистое-чистое, каким оно бывает только когда дует мистраль. На нем ни облачка, и оно кажется твердым, будто из эмали. Пока я перебирал снимки, на меня накатила слабость, и комок застрял в горле. Но в глаза мне не бросилось ничего необычного. Единственным недостающим украшением могла бы быть знаменитая карта смерти, которую Пьер составлял в последнее время и которая подтверждала его намерение писать о своем близящемся конце. Но об этом после. У меня устала рука. Да и мысли надо привести в порядок. Что-то не дает мне покоя. Что?

После обеда Журден поехал со мной в отель.

Увидев сквозь стеклянную дверь, что вела в патио, двух мужчин, он хмыкнул. По неодолимой скуке, которую они выражали всем своим видом, обреченно куря сигареты, я почти угадал, кто это такие — еще до того, как доктор назвал их имена.

— Старик Беше, нотариус, и полицейский инспектор Толон. Наверно, хотят, чтобы вы взглянули на номер в отеле.

Я стал прощаться.

— Держите со мной связь, — сказал Журден, тряся мою руку.

Я обещал.

Потом открыл стеклянную клетку и, войдя в патио с пыльными пятнистыми пальмами, представился обоим мужчинам — по крайней мере, одному из них, ибо несколько лет назад Пьер познакомил меня с Беше. Мы обменялись соболезнованиями, со стороны Беше вполне искренними, потому что он действительно любил семью Пьера. Как всегда Беше пыхтел и сопел, и когда ему не хватало слов, размахивал руками.

Это немыслимо, это несчастный случай, повторил он несколько раз, тогда как тщедушный полицейский, который в гражданском костюме выглядел крайне непрезентабельно, решил оста-

вить свои сомнения при себе.

— Подождем, — спокойно проговорил он. — Завтра получим результаты вскрытия и вернем тело в морг, в *chapelle ardente*,[19] где с месье де Ногаре смогут попрощаться родственники.

У меня душа убежала в пятки при одной мысли о подобном свидании, хотя это и недостойно медика — мне ли не знать? Беше же принялся подробно рассказывать о процедуре похорон, описанной в завещании. Его весьма смущали некоторые детали, ибо Пьер настаивал на похоронах без отпевания и после захода солнца, то есть при свете факелов, но в семейном *caveau*[20] — рядом с предками.

— Ужасно неприлично, — сказал Беше. — Что подумает аббат? Еще решит, не дай бог, будто Пьер был атеистом.

Толон тяжело вздохнул, и я понял, что он испытывает самые что ни на есть антиклерикальные чувства.

— Очень неприятно, — сетовал старый нотариус, роняя пепел на мятый костюм и крапчатый галстук-бабочку.

---

[19] Примечания: 19
Помещение, где устанавливают гроб *(фр.)*.

[20] Примечания: 20
Склеп *(фр.)*.

— Атеистом-то еще ничего, — задумчиво произнес я. — Пьер ведь состоял в египетской секте гностиков, а они уж точно отступники… Видимо, в этом и кроется причина столь необычных распоряжений насчет похорон.

Теряя терпение, Толон спросил, не могу ли я взглянуть на номер, в котором умер мой друг. Он-де пока опечатан полицией, и вдруг какая-нибудь мелочь подскажет мне, что там стряслось на самом деле. Идти мне не хотелось, но и отказ был невозможен. Несмотря на очевидное нежелание сопровождать нас, Беше (суеверный, как все средиземноморцы, когда дело касалось смерти друзей) позволил учтивости взять верх над остальными чувствами и согласился совершить небольшую прогулку через площадь до «Принц-отеля». Мне же хотелось скорее покончить с тем, чего все равно нельзя было избежать.

Наступила ночь. Светила луна. Золотой фонарь с надписью «Принц-отель» покачивал легкий ветерок. От старости здание разрушалось, в нем стоял запах пыли и засоренной канализации. Мы поднялись на второй этаж. Толон сломал сургучную печать на одной из дверей, и мы оказались в просторной, но душной комнате. Не зажигая света, инспектор пересек ее и открыл балконную

дверь, после чего вернулся и щелкнул выключателем. Засиженный птицами балкон выходил в разросшийся и уже давно не плодоносивший сад. Наверняка Пьер просиживал тут морозные зимние вечера, глядя, как понемногу гаснет день над Авиньоном, и город, словно парусник, разворачивающийся боком к ветру, вплывает в тревожные сумерки. Если смотреть отсюда на плотную мозаику из коричневых черепичных крыш, то кажется, будто Авиньон сползает вниз в широкую зеленую реку, несущую свои воды в сторону Арля и Алискана,[21] его разрушенного некрополя. Как я теперь, Пьер мысленно плыл по реке к морю, а потом вновь поворачивал на север…

В здешних красивейших местах нет уголка, который не был бы исследован нашей троицей во время пеших или верховых прогулок, а еще были поездки на разбитой телеге, запряженной пони и нагруженной всем необходимым для обустройства походного лагеря. Летними ночами, когда мы сидели вокруг сложенного из маслиновых веток костра на каком-нибудь поле вблизи Ремулена или Арамона, луна, похожая

---

[21] Примечания: 21
Алискан — античный некрополь неподалеку от Арля.

на апельсин-королек, висела над рекой, ожидая нашего возвращения. Маленький, чванливый и сварливый Авиньон въелся мне в душу. Меня передернуло от боли, и я вернулся в комнату, где двое моих спутников всем своим видом выражали дружеское участие, втайне надеясь, что я оценю его и сообщу что-нибудь стоящее. Однако мне ничего такого не приходило в голову.

— Тело унесли, но в комнате ни к чему не прикасались, — кроме стаканов и пузырька со снотворным, с которых сняли отпечатки пальцев.

На ближней стене висела так называемая «карта смерти», составленная моим другом. Заметив, что Беше с нескрываемым волнением изучает ее, я подошел, чтобы по мере сил объяснить, что к чему.

— Здесь имена умерших друзей. По-моему, Пьер придавал большое значение их смерти, по крайней мере, он часто повторял, будто каждая из них научила его чему-то новому, чего он еще не знал о феномене смерти. Кстати, он собирался обобщить свои знания в философском эссе. Это связано с сектой гностиков, в которой он состоял.

Мое объяснение прозвучало не очень убедительно и даже довольно глупо, но это было хоть

что-то в сложившейся тупиковой ситуации. Беше фыркнул и надел пенсне.

— Да, да, да, — с досадой пробормотал он, ибо не выносил разговоров о смерти.

Всю свою жизнь, состоявшую из множества рутинных занятий, он распланировал таким образом, чтобы избегать мыслей о собственном постепенном приближении к концу. Толон же, родившийся намного позже нотариуса, был из другого теста. Большая желтая карта не лишила его покоя.

— Я переписал имена, — сообщил он, и мне стало ясно, что грозное досье будет им осмыслено и переосмыслено.

— Стало быть, все они умерли? — с отвращением спросил Беше.

— Да.

— А почему карта такая странная? Похожа на змею.

— Змея и есть. Эта маленькая секта считает, что смерть похожа на Змею, в честь которой названо созвездие. Она символизирует процесс и даже само время.

Беше чуть не застонал от всех этих сложностей. Поглядев на его испуганное лицо, я понял, что продолжать не стоит. К тому же слова мои едва

ли были ему понятны.

— Во всяком случае, так мне говорил Пьер, — торопливо произнес я, пока нотариус, вздыхая, тер свой длинный нос *защитника крайних взглядов*.

— Наверно, вам хотелось бы побыть тут одному? — спросил Толон, заметив мою растерянность. — Трудно сосредоточиться при посторонних, без нас и без наших разговоров вам будет легче что-нибудь найти. Ну так как?

Я не торопился с ответом, хотя понимал, что славный малый предлагает мне в одиночестве помолиться за душу умершего друга, но в конце концов согласился отпустить и его, и нотариуса, если, конечно, они не возражают. По правде говоря, мне не терпелось захлопнуть дверь и заняться книгами и блокнотами Пьера. Вдруг среди них попадется что-то такое, что лучше было бы уберечь от жадного любопытства полицейских? Не медля ни секунды, Толон вручил мне ключи и воск, чтобы я сам потом запечатал дверь.

— Заприте, — сказал он, — а за ключами я зайду к вам завтра в «Королевский».

Мне оставалось лишь поблагодарить его. Однако Беше, мечтавший поскорее уйти, все же задержался и сказал:

— Мы должны еще кое-что уточнить. В заве-

щании Пьер пишет о своей боязни быть погребенным заживо и просит вскрыть ему вены. Вы можете это сделать?

Я ответил, что после аутопсии нужда в подобных мерах отпадет, и он тут же со мной согласился, явно обрадовавшись.

Беше и Толон отбыли. Постепенно, пока они спускались по лестнице, стихли их голоса и шаги, и тяжелая давящая городская тишина заполнила похожую на склеп комнату с разбросанными повсюду вещами. Время от времени в шорох экипажей и машин за окном врывался колокольный перезвон, и это все. Вот, значит, где прошли последние часы Пьера! Я сел в изножье кровати и положил руку на простыню. Она показалась мне теплой. В комнате пахло благовонными палочками и нечистотами. Раскрыв постель, я не удивился, обнаружив алые носки, которые Пьер всегда носил вместе с яркими египетскими шлепанцами *бабушами*. Дюжина пар носков под дюжину пар шлепанцев — запасся на всю жизнь, восторгался он.

— Найдешь свой цвет, держись за него.

Большая часть книг — с экслибрисами, из домашней библиотеки — была мне известна. Блокноты оказались чистыми, и я понял, что все

мало-мальски важное находится у Сильвии. Или в полиции. Несколько деловых писем остались в тумбочке. Счета. Рекламные проспекты с набережной Орсе.[22]

В ванной по обыкновению царил чудовищный беспорядок: на валявшемся возле *bidet*,[23] скомканном полотенце краснели следы губной помады, очень темного малинового оттенка, о чем-то напомнившего мне — но о чем?

Вернувшись в комнату, я пересчитал сигарные окурки в большой пепельнице. Судя по их количеству, здесь не убирали по меньшей мере неделю. Очевидно, стакан из ванной комнаты тоже довольно давно не мыли. От него шел едва уловимый запах чего-то алкогольного — то ли жидкости для полоскания рта, то ли зубной пасты, то ли джина, то ли люминала. Не знаю. Внезапно меня осенило, и я взял из пепельницы сигаретные окурки, которые были тоньше остальных. На золоченой бумаге отпечаталась та же темно-красная помада. У Пьера сигареты этого сорта не водились, а его сестра не курила вовсе. Пришлось напрячь память, потому что я навер-

---

[22] Примечания: 22
То есть из Министерства иностранных дел Франции.

[23] Примечания: 23
Биде *(фр.)*.

няка знал женщину, предпочитавшую сигареты с эффектным золотым ободком — она наполняла их сухим гашишем, предварительно проткнув по всей длине булавкой, а потом замазав дырки слюной. Это же Сабина! Сердце у меня подскочило от радости при мысли, что, возможно, это она навещала Пьера и, не исключено, еще не уехала из Авиньона. И малиновая губная помада — ее любимая, и как говорила Сильвия, эта помада троюродная сестра артериальной крови. Мысленно я пометил себе, что надо позвонить старому Банко, если он, конечно, сейчас в шато. А вдруг он уже умер? Да нет, банкиры не умирают. Почему-то мне показалось, что Сабины скорее всего уже нет в Авиньоне; обычно она не задерживалась на одном месте дольше нескольких дней. Этой загадочной и вольной, как ветер, женщине ничего не стоило отправиться с цыганами в Венгрию или присоединиться к каравану, неторопливо одолевающему дорогу специй в пустыне. Много лет наши пути не пересекались. Возможно, нас ждет встреча в Авиньоне — из-за ухода Пьера.

Я стоял перед картой смерти, стараясь скопировать позу Пьера, который обычно закладывал руки за спину и задумчиво склонял набок голову. Мне хотелось уловить его мысли. На карте не

было дат — фиксировался лишь факт смерти человека, который, умирая, становился на ней очередной точкой. Но когда я охватил взглядом всю схему на стене, то как будто приблизился к пониманию того, с какими мыслями Пьер прибавлял еще одно имя к уже имеющимся. У каждого человека, считал он, должен быть свой календарь смерти, выполненный по этому принципу. Кстати, военный мемориал никогда не бывает столь наглядным, потому что показывает слишком общую картину. Ощущаешь масштабность, вот и все. А тут я ясно видел, как одна смерть за другой горьким грузом ложились на сердце Пьеру, и как они, словно песчинки в песочных часах, постепенно накапливались в его душе и памяти, пока он не почувствовал, что получил достаточно знаний для собственной смерти. Стоит человеку понять, что он не вечен, и начинается новый, взрослый период в его жизни — Пьер неустанно повторял это утверждение Аккада. Да, таков истинный смысл карты, перед которой он в задумчивости расхаживал многие месяцы и годы. Каждое имя — целое созвездие воспоминаний, из которых он рассчитывал извлечь некую философскую сущность, которая должна была, так сказать, просветить его насчет собственной

смерти и дать возможность проникновенно и правдиво написать о ней. Грандиозный замысел — и глубоко запавший ему в душу.

Год за годом Пьер присылал мне небольшие фрагменты автобиографического предисловия, которое собирался назвать «Биография водной стихии», потому что его астрологическим знаком были Рыбы — моим тоже. Один из фрагментов, написанный быстрым летящим почерком, я постоянно носил с собой в бумажнике. «Если бы мне потребовалось нарисовать точный, не искаженный зеркалами портрет Пьера де Ногаре, то я начал бы с утверждения, что его любимое слово — *«сомнительный»:* все им написанное и придуманное притягивается к этому слову или отталкивается от него, словно оно — Полярная звезда. Не будучи по духу и пристрастиям сенсуалистом, он был ревностным эпикурейцем. И лучшие, и худшие его качества сформировались главным образом под влиянием сестры — ибо он безуспешно старался не любить ее. Не было ничего важнее в жизни Пьера, и в то же время, как ему самому всегда казалось, это очень ограничивало его — пока он не поселился в Египте и не стал учеником мыслителя-гностика Аккада. Кроме сестры он любил еще только одного человека, который

отвечал ему тем же, с искренней, спокойной преданностью — и который так же беззаветно любил его сестру. Каждый из нас в сущности не воспринимал себя отдельно от остальных, остро и полно ощущая любовные эмоции и щедро одаривая ими друг друга. Достигнуть этого равновесия было бы невозможно без труднейшей борьбы с личными представлениями о том, что дозволено, что разумно и необходимо. Триумвират победил, однако оказался отрезанным от мира, и многие годы они вели якобы открытую жизнь, которая почти не имела смысла за пределами их отношений. Счастливая троица любовников. По крайней мере, он имел смелость так говорить».

В гостиничном номере больше не было ничего примечательного для изысканий детектива, но я тянул время, наслаждаясь видом знакомых, милых сердцу вещей друга. Я знал, что больше сюда не вернусь, да и печать с дверей в конце концов снимут, а вещи переедут в какой-нибудь сарай или чулан Верфеля и довольно скоро утратят свою индивидуальность. Смерть Пьера придала им трагическую значительность, какой они сами по себе не имели. На обложке книги Свифта я увидел надпись, сделанную рукой Роба Сатклиффа. «Короткая история N, который, чтобы избежать

связи с сестрой, как дурак заставил себя влюбиться в берлинскую актрису, весьма романтичную особу, под видом шофера следующую за ним по всей Европе в машине своего мужа. В Загребе она стреляет в него, но револьвер дает осечку, и N сбивает ее с ног зонтиком. Сам он приехал в Загреб изучать Кабаллу под руководством иудейского мудреца, про которого узнал от цюрихского психиатра. Когда актриса пытается заплатить ему и вытаскивает толстую, как сэндвич, пачку банкнот, этот жест как будто не оставляет его равнодушным, и он везет ее в свой отель, однако на рассвете бежит на север в украденной машине».

Сюжет и стиль изложения типичны для Роба. В шато половина книг попорчена подобными короткими записями — сюжетами будущих рассказов и романов. Это очень раздражало Тоби, тем более что Сатклифф этих сюжетов не использовал. Его вдруг осеняло, как это, наверное, происходило с авторами лимериков, но интерес к возникшей было идее быстро остывал и не возвращался. Я поискал на карте смерти его имя. Вот оно. Роберт Сатклифф. Любопытно, сколько пройдет времени, прежде чем какой-нибудь ученый муж попросит разрешения покопаться в верфельских документах? Слава Сатклиффа растет.

В свой отель я вернулся поздно, однако бар еще работал, и, прежде чем подняться в номер, я с удовольствием выпил неразбавленного виски. Выключив свет, я долго лежал в темноте, размышляя обо всем увиденном и услышанном за день. Постепенно оцепенение стало проходить, и я все яснее осознавал, что никогда больше не увижу моего друга.

С утра пораньше мне позвонил Беше и с еле скрываемым торжеством выложил новости. Подул попутный ветер. Полиция вернула бумаги и дала разрешение на похороны. Более того, все подозрения сняты, благодаря вмешательству *prefet*, и, кажется, из-за отсутствия явных улик власти готовы принять версию о несчастном случае. Завещание в порядке. Правда, есть странности в распоряжениях насчет похорон, например, никто не должен сопровождать гроб. Беше озабоченно перечислил другие условия и с радостью поддержал мое предложение их нарушить. Нет, я не мог и не хотел допустить, чтобы Пьера опустили в могилу в отсутствие друга, который сопровождал его в этой жизни и был готов проводить до порога в другую. В данном случае долг и желание шли рука об руку, что я и попытался с горячностью внушить Беше, который, поразмыслив, поддался

на мои уговоры. Кстати, он уже успел поссориться с аббатом, пришедшим в ярость из-за невозможности отслужить панихиду.

— Будет панихида или не будет, старик все равно явится, — сказал Беше. — Разве ему запретишь? Я заеду за вами. Попробую договориться на сегодняшний вечер, вы не против? Чем быстрее мы с этим покончим, тем лучше для всех. Около пяти постараюсь вам позвонить. Скорей бы все это осталось позади.

Я согласился с ним, радуясь, что дело Пьера не застряло в цепких пальцах французской бюрократии.

— Кстати, — продолжал Беше, — там есть еще одно распоряжение: никаких цветов. Не будем нарушать, ладно?

Я знал, почему Пьер не хотел цветов: они ведь символы живой души, в которую гностики не верят. Подошла бы только морская лаванда, которая относится скорее к ископаемым, чем к живым растениям. Разумеется, я не стал расстраивать Беше ненужными объяснениями.

— Сильвии не будет? — спросил он.

— Нет, конечно же.

— Оно и к лучшему.

— Да.

Беше положил трубку, и я настроился на ожидание завершающего этапа. Наверное, Пьера уже перенесли в морг, и я должен был пересилить себя и навестить его там, но у меня ничего не получалось. Я стыдился своей трусости — все-таки врач, практикующий хирург. Но я не мог. Не мог.

При мысли, что тело скоро предадут земле, мне стало легче, и все утро я провел, кочуя из одного книжного магазина в другой и предаваясь воспоминаниям. В городе совсем не осталось знакомых людей, по крайней мере, мне никто не встретился. К ланчу я вернулся в отель, гадая, почему нет вестей от Тоби, который по всем подсчетам уже должен был бы приехать из Оксфорда. На тот случай, если лечь придется поздно, я решил принять разумные меры, то есть закрыть ставни и вздремнуть, ибо переутомление последних двух дней вновь навалилось на меня всей своей тяжестью.

Мне приснилось, что я в старом шато, в Верфеле, каким он был в далеком прошлом, когда сыграл роль странного катализатора еще более странной любви; что я попал в минувшую, но такую невероятно живую жизнь. Верфель укрыл нас своими старыми стенами, и счастье стало нашим главным девизом. Теперешние обстоятельства ничего от него не оставили, невидимая

рука перевернула шахматную доску. А вот сон был поистине благодатным. В нем все оставалось по-прежнему. Я листал страницы, словно отодвигал ветки, желая разглядеть за ними огни старого дома. Почему мы все принимали, как само собой разумеющееся?

Верфель стоит на западном склоне Альпия, и из верхних садов виден не только туманный Авиньон внизу, но и крыши Арля и Тараскона. Петляющие дороги с удивительным упорством стремятся в Верфель, протискиваясь между роскошными плантациями олив, которые шелестят серебристо-серой листвой в ответ на ласковые прикосновения мистраля. Ручейки возле старого дома столь полноводны по весне, а земля столь жирна, что в старину тут стали сажать дубы, платаны и орехи для защиты от солнца и ветра. Днем и ночью в парке распевают соловьи под аккомпанемент водных струй, тихонько наигрывают на струнных те самые цикады, что оглушительно верещат в августе. Два льва сторожат ворота, и один из них уже давно потерял лапу, а другой — кусок церемониального меча, на который когда-то гордо опирался. Что же до самих тяжелых железных ворот, то их и вовсе нет, они исчезли как дань войне 1418 года. Гравиевая подъездная аллея вся

заросла травой, с нее съезжают на поросшую мхом дорожку, и в дождь на ней заносит машину. На этом неожиданном ковре, поглощающем все звуки, долго крутишься, пока в конце концов не предстает взору большой дом, развернутый так, чтобы не упустить ни единого солнечного луча и заслониться мощными выступами от драчливых северных ветров.

Над каменными стенами с узкими, высокими, глубоко посаженными окнами возвышается мощная квадратная башня двенадцатого века, она уравновешивает все строение и придает ему вид крепости, хотя на самом деле это мирное обиталище, давно превратившееся в ферму со всем, что ей полагается — громоздкими амбарами и конюшнями, винодельнями и прессами для оливкового масла. Здесь гомонит домашний скот и домашняя птица, и воздушные призмы, полные пылинок, висят в солнечных лучах, выхваченные из тени. Так будет всегда. Внутри массивного каменного сооружения с прокаленными солнцем окнами просторный двор, куда можно пройти по сводчатому коридору — удобному во время обороны; здесь живое сердце всей постройки — колодец с резным крестом над ним и скамейками вокруг. В каждом из четырех углов двора вверх

тянется старинная, крытая кровлей *tourelle*,[24] с которой в прежние времена осажденные стреляли по врагам.

Главные ворота — тяжелые, железные, с проржавевшими зубьями, которые смыкаются, когда ворота закрывают, — наверное, смыкались, потому что из ныне живущих никто не видел эти ворота закрытыми. Они всегда распахнуты настежь, и двор имеет вполне мирный вид. Им завладели куры и утки, которые, гуляя, не упускают случая посплетничать; а в углу о чем-то размышляет вольно пасущийся почтенный козел. Из конюшен доносится топот и ржание лошадей, мычат коровы, кричат перепела в плетеных клетках. Целая армия голубей нахально врывается в эту разноголосицу, словно хлопая мокрым бельем на ветру. Живут они на невысокой, переделанной под голубятню, колокольне, на которой установлены римские песочные часы.

Всё здесь притягивается ко двору с колодцем или отталкивается от него — правда, властвует над ним не римская нимфа, как во многих подобных местах, а всего-навсего старая слепая лошадь, которую будят рано утром и потом на весь день

---

[24] Примечания: 24
Башенка *(фр.)*.

оставляют без присмотра. Она привычно, с натугой, одолевает положенные круги, и вода медленно заполняет цепь каменных поилок.

На самом деле колодцев несколько — один из них в большом сарае — поят и скот, и людей благодаря проворному электрическому мотору. А та вода, которая неспешно скапливается в старинном каменном резервуаре, идет на поливку огорода, где выращивают зелень для кухни. Миновав его, попадаешь в большой и когда-то ухоженный сад, простирающийся далеко на юг и на запад и отлично защищенный от капризов прованской погоды. Сейчас уже невозможно представить, как он выглядел в лучшие дни. На моей памяти к нему ни разу не прикасалась человеческая рука, и, всеми покинутый, он исполнен романтической печали. Роб обычно говорил: «Хуже некуда для моих стихов; тут они рассыпаются». Однако мы не разделяли его досады, когда приходили сюда на рассвете или лунной ночью. Нисколько. В саду, изобиловавшем террасами с каменными балюстрадами и резными каменными скамейками, всегда можно было наткнуться на что-нибудь необыкновенное. То тут, то там возникали, по одной или по две, мраморные нимфы, несколько старомодные и попорченные

временем, однако безоговорочно прекрасные, благодаря зарослям плюща и вьющихся роз. Мы с жадностью обшаривали укромные уголки в поисках первых фиалок и других нежных весенних цветов — а неподалеку рядами стояли ульи.

Когда-то все это приносило доход и много радости, и даже во времена родителей Пьера считалось очень большим богатством. Однако после их смерти двое детей, не приученные хозяйствовать, не сумели сохранить свое благосостояние. Не их вина — учась в Париже и Лондоне, они относились к Верфелю только как к благословенному приюту на время летних каникул. Разорение надвигалось медленно, но неотвратимо. Огромная армия наемных работников понемногу уменьшалась, люди искали более выгодные условия. Потом началась война, потом филлоксера, эта виноградная чума, напала на виноградники, потом грянула страшная засуха. Большую часть земли продали, что-то заложили, в неурожайный год принесли в жертву лес, но он почти не дал дохода. Череда недальновидных распоряжений подточила большое хозяйство.

Несмотря ни на что, имение все еще было немаленьким и, возможно, стало даже красивее, благодаря запущенности, хотя, наверное, кре-

стьянин никогда бы так не сказал. Места здесь необыкновенные — Альпий подходит к самой Роне, где долина делается шире и соединяется с долиной Дюранса.

Наверху беспорядочно растет миндаль-самосев — в феврале деревья ненадолго покрываются цветами, словно бело-розовой дымкой, превращая горные склоны в восточные акварели. Ниже властвуют более упорядоченные оливковые плантации, круглый год сверкающие серебром, ибо эти серафические деревья постоянно обновляют листву. Равнины засажены виноградом или овощами (для прожорливого Парижа) и засеяны пшеницей. Есть и фруктовые, все еще плодоносные сады, отступившие в сторону, чтобы не загораживать скучный однообразный Камарг с зеленой, как лайм,[25] полоской морской отмели. В моей памяти Верфель всегда будет связан с Рождеством 19- года, которое изменило всю мою жизнь. Прежде со мной ничего особенного не случалось — по крайней мере, так мне теперь кажется. С обитателями шато я познакомился за год-два до этого, но прошло время, прежде чем к моему изумлению да и досаде (мы ведь пред-

[25] Примечания: 25
Разновидность лимона.

почитаем сидеть в своей норе, и чтобы никто не тревожил), меня посетила самая настоящая любовь, повлекшая долгие дебаты о ее доброй и дурной сторонах. Кто-то, наверное, улыбнется, представив, как мы с болезненной серьезностью следили за приближавшейся к нам чудо-великаншей с дубинкой в руках. Сатклиффу было нас жаль, во всяком случае, так он пишет в своей книге. Ведь мы напоминали захваченных врасплох детей. Неужели нам никогда не приходили в голову (спрашивает он) мысли о страсти, способной выбросить нас в открытое море? Не знаю. Помню только бледное серьезное лицо Пьера, когда он сказал мне: «Что ж, наверно, это любовь». Роб обязательно расхохотался бы, услышав, каким тоном это было произнесено, словно роковой диагноз: «Что ж, наверное это рак».

(Я вижу, как меняю времена глаголов в своих торопливых записях — мои воспоминания то становятся ярче, то тускнеют, будто во сне.)

В те дни Пьер довольно серьезно относился к своим сеньоральным обязанностям и считал необходимым быть дома в день Святой Варвары, то есть четвертого декабря — ибо в старину празднование Рождества начиналось в Провансе с посадки пшеницы или чечевицы в ящики, ко-

торые потом ставили на широкие подоконники. Глядя на всходы, крестьяне получали точное представление о погоде на все четыре предстоящих времени года. Думаю, Пьер вынашивал тогда честолюбивые замыслы относительно возрождения своего хозяйства, но если и так, то вскоре они потихоньку зачахли, и в доме резко уменьшилось количество слуг. Их осталось не больше дюжины — одни были слишком стары для тяжелой работы, другие слишком юны и годились лишь на то, чтобы в конце ноября собирать оливки. Мы дружили все горячее — из-за нашего одиночества и бедности — и стали словно одной маленькой семьей.

Были в том году и другие важные моменты — мучавшие нас. Пьер никак не решался объявить о своем ожидавшемся к лету отъезде из шато. Его приняли на дипломатическую службу, и уже было получено подтверждение из Парижа, однако, в какой должности и куда ему придется ехать, он тогда еще не знал. Позже Каир вмиг перевернул всю его жизнь! А пока на него наводила тоску одна мысль о расставании с родным домом. Утешала крайняя нужда в перемене образа жизни, ибо доходы уменьшались, хозяйство стремительно приходило в упадок, денег не хватало.

Верфель истекал кровью, и, оставшись, Пьер добил бы его…

Как это ни парадоксально, служба должна была дать средства на поддержание хозяйства хотя бы в тогдашних пределах. По крайней мере, только так Пьер мог сохранить для себя и своей сестры обремененное долгами поместье. К этому времени он понял, что фермер из него не получится, а раз так, то без больших вложений и увеличения количества работников нельзя ничего изменить. Слишком все запущено. Однако ему было трудно объяснить свое решение людям, чья поистине собачья преданность выходила за рамки здравого смысла. Пьер отлично понимал, какое его отъезд может вызвать возмущение. Но чему быть, того не миновать, поскольку надо было назначить управляющего из числа старых слуг, который будет приглядывать за поместьем, пока хозяин исполняет свой долг за морем. Пьер отправился в Верфель прежде нас, так как нам с Сильвией захотелось побыть немного в Авиньоне. Потом мы наняли лошадей и верхом поехали в шато. В седельных сумках у нас были подарки, сладости для детишек, конфетти, засахаренные фрукты, маленькие бутылочки с коньяком и ликерами, не забыли, мы и о многочисленном семействе

крошечных *santons* из крашеной терракоты. Ни одно Рождество в прованском доме не обходится без этих фигурок, которые заполняют и украшают ясли Спасителя, исполняющие роль северной Рождественской елки. Поначалу фигурок было немного — святое семейство, еще два-три персонажа, упомянутые в легенде, например, волхвы, однако дав волю своей поэтической дерзости, провансальцы неудержимо увеличивали их число, и мы обнаружили в магазинах не меньше сорока разных *santons*. Оспорить их достоверность легче легкого, однако они как бы протягивают ниточку к современности, ибо теперь в библейской истории участвуют и местные жители — деревенский полицейский, браконьер, камаргский пастух и так далее. Все фигурки мы тщательно упаковали, чтобы они не разбились в дороге, а потом начали медленное восхождение на гору. Сытые лошади легко одолевали крутизну. Однако стоял туман, отчего нам приходилось соблюдать осторожность, так как уже несколько лет мы не предпринимали подобных путешествий, тем более зимой, и успели забыть дорожки, тропы и тропинки, и противопожарные полосы, которые пересекали главную дорогу. Время от времени видимость приближалась к нулю, и в один из та-

ких моментов Сильвия, пребывавшая в особенно игривом настроении, пустила лошадь вскачь, мгновенно растворившись в сером сумраке. Такие шутки недопустимы, и когда она во второй раз проделала этот трюк, мне пришлось припустить следом и в наказание так крепко ее обнять, что у нее перехватило дыхание. Я чувствовал прикосновение ее ищущих губ и холодного носа к своему лицу. Нам обоим было волшебно хорошо, и мы не двигались с места, не желая разнимать объятие. В конце концов я попытался отодвинуться — ибо почувствовал, как из-за тумана на воротнике моего старого твидового пальто оседают капли воды; однако она шепнула мне: «Не надо,» — и конечно же я с готовностью подчинился. В бессвязном лепете Сильвии я уловил несколько удивленных фраз; и еще мне послышалось сомнение в настигшем нас чувстве, сходное с тем, что испытывали мы с Пьером. Ах! Позднее Сатклифф зло посмеется над нами в своей книге. «Они счастливы. Они восхищаются собой. Они потчуют друг друга свадебным тортом. По кусочку под каждой подушкой, о, как это восхитительно! Нечестивая троица романтиков, любовный сэндвич с мужественным и сбитым с толку Брюсом посередине». Я даже обрадовался,

когда моя сестра Пиа жестоко отомстила ему — позже я устыдился своего торжества, но эти его слова так больно меня ранили…

— Я украла тебя у Пьера, а он украл меня у тебя? Что же теперь?

Я сказал ей, что мы ничего не потеряли.

— Ничего не потеряли — наоборот, обрели.

Это было как откровение свыше, а Роб счел нас сентиментальными и не поверил в нашу искренность. Как хорошо, что тогда я ничего не знал, ведь книга появилась лишь через несколько лет. К тому времени он много испытал и, похоже, никому не сочувствовал.

Он даже придумал, будто Пьер ведет дневник и каждый вечер делает в нем очередную запись «при тусклом свете двух свечей в высоком подсвечнике». Представляете? Вот что он писал, превращая нашу жизнь в беллетристику: «Было слишком поздно, когда я понял, но все же я понял, и меня охватило неодолимое желание отослать Брюса и сестру прочь, чтобы не видеть, как я теряю обоих. Для влюбленных начался такой период в их отношениях, что они едва ли не боялись за себя, да и за меня тоже. Одна цель удерживала нас вместе, словно три кольца Сатурна. Так любить, до безумия, можно только в юности, в

самой ранней юности. Налет обретенного опыта туманит зеркало. Им, связанным триедиными узами, казалось невозможным оторваться друг от друга. И каждый ощущал прилив печали — так бывает, только когда любишь в первый или в последний раз. Покорные приливу и отливу волны накрыли их с головой и понесли куда-то, но вскоре впереди показался водопад». Все это выдумки; я никогда не был в Венеции, и он знал об этом, но воспользовался своим авторским правом, чтобы переселить нас туда. К тому же, наши чувства были другого рода, менее литературными. И все же: «Даже физическая оболочка, губы, глаза, тела, словно существовали лишь в воображении; три неразделимые существа переплелись, как спагетти на тарелке. Однако Венеция сыграла с ними шутку, Венеция выставила их напоказ. Всегда втроем, они гуляли молча, рука в руке, между мраморными грифонами и извилистыми каналами или так же молча раскладывали карты на зеленых столах «Флориана». Странная троица — брат и сестра, худые, темноволосые, похожие на ящериц, и их белокурый, по-крестьянски простоватый пленник, коренастый крепыш. Девушка с длинным, придающим ей загадочности носом, типичным для средиземноморки, обещала

к сорока годам превратиться в сварливую каргу, а у братца был вид романтического шута». Так он воспринимал нас, когда пришел наш час стать персонажами книги. До сих пор не могу прийти в себя!

И у него хватило наглости приписать: «Настоящая любовь молчалива, по крайней мере, так говорят. Но никогда еще юное молчание трех не было столь напряженным, как тогда в Венеции, никогда еще вымолвленные ночью слова не сгорали так неистово, стекая, словно воск, на канделябры памяти».

Ничего столь жгучего не было в том нашем поцелуе, тем более в холодном прикосновении ее носа к моей щеке. Она расстегнула на мне рубашку и прижала ледяные пальцы к моему сердцу. Однако лошади уже начали проявлять беспокойство, ибо слишком долго терпели наше объятие, им же хотелось в теплую конюшню, которая, и они об этом знали, ждала их за пеленой тумана. Они постукивали копытами, и вырывавшийся из их ноздрей пар сразу становился похожим на летящие вверх белые карандаши. Что тогда могла знать троица про встречу трех одиночеств? Между тем воображаемый романтический герой, подчиняясь автору повести, писал дальше в днев-

нике: «Они посмели любить, хотя знали, что рано или поздно их ждут разлука, злоба, даже кошмар; их ждет отчаяние, может быть, даже самоу… Однако я не смею написать это слово». Здесь хотя бы предсказано правильно, но все остальное в книге — ложь. Так называемое инфернальное счастье, которое он пытается изобразить, слишком театрально для нас. Мы были как младенцы в лесу, наивные новички.

Лошади двинулись дальше, вдохновленные окружавшими нас размытыми контурами деревьев и жаждущие перейти на галоп; едва мы тронулись в путь, в гуще тумана раздались громкие, но мелодичные голоса перекликавшихся между собой детей. Для прогулок время было не самое безопасное, поэтому, вспомнив местные сказки, мы подумали, уж не феи ли это и эльфы, обитатели сумрачных рощ, окружают нас…

— Чепуха, — произнес я не допускающим возражений тоном, каким обычно уверял смертельно больных пациентов в том, что они будут жить вечно. — Чепуха. Обыкновенная школьная экскурсия.

Однако при нашем приближении голоса как будто удалились, и мы даже подстегнули лошадей, чтобы не потерять их. Но лошади рас-

качивались из стороны в сторону, тропинки шли вкривь и вкось — и голоса слышались нам то с одной, то с другой стороны. Несмотря на весь мой закоренелый скептицизм, признаюсь, на мгновение я усомнился в своей правоте и реальности пронзительных голосов. Но мы продолжали путь, внимательно следя за дорогой и все время прислушиваясь.

Неожиданно, словно убрали занавес, туман отошел в сторону, и мы выехали на боковую тропинку, на которой увидели цепочку вполне реальных детей разного возраста. Они переговаривались и перекрикивались между собой, в руках у них были охапки растительности для обустройства ясель — мох, папоротник, лишайник, лавр, а также длинные блестящие ветки падуба и омелы. Ветки падуба они держали как скипетры. Этот падуб с мелкими ягодами в Провансе до сих пор называют *li poumeto de Sant-Jan*, или «яблочки Святого Иоанна». Узнав детей из поместья, Сильвия, радостно вскрикнув, спрыгнула с лошади, чтобы перецеловать их всех и расспросить о брате. Ребятишки тоже повеселели, узнав, что мы везем с собой *santons*. Приятно было убедиться в близости дома: несмотря на все коварные трюки тумана, нам удалось довольно точно определить

путь.

Окруженные веселой толпой, мы взяли лошадей за поводья, предварительно усадив на них детей, распевающих святочные гимны, и торжественно прошествовали к главному входу, где нас уже с нетерпением поджидали родители ребятишек, то и дело поглядывавшие в сторону леса.

Родные улыбающиеся лица! Старый Жан в овчинном полушубке на фоне камина, мерцавшего в глубине главной залы, отчего его серебристые волосы напоминали светящийся нимб. Чуть позади — его невозмутимая и крепенькая жена Элизо. Рядом сорокалетний широкоплечий мужчина с пышными черными усами — Мариус, сын, единственный свет в окошке. Эспри, который помладше, сразу принялся разгружать лошадей. Вслед за ними прибежали и стали нас обнимать дочки и внучки — Магали, Женетон, Мирей, Нанон, в основном, такие имена. Когда с церемониями было покончено, нам предложили традиционный горячий молочный посеет, сдобренный красным вином со специями, которым издавна согреваются зимой путешественники. В гаме и шуме, ведь все говорили одновременно, мы даже не заметили, что среди встречающих нет Пьера. Впрочем, он как будто был и в то же

время не был. Добравшись наконец до главной залы с пылавшим камином, мы увидели его на площадке широкой, огороженной резными перилами лестницы, откуда он с довольной улыбкой наблюдал за нами. Немного погодя он сбежал вниз со смущенным видом, словно пытался сдержать свой неуемный, полный обожания восторг. После того, как мы со всеми перездоровались и ответили на все вопросы, нас оставили одних, и тогда мы рука об руку поднялись по лестнице наверх, а там пошли по длинным белым коридорам в комнату Пьера, которая находилась позади небольшой картинной галереи, где висели, в основном, портреты его предков, потемневшие от времени и каминного дыма. Возле дальней стены стоял на подставочке большой пробковый круг, утыканный разноцветными стрелами, резко выбивавшийся из стиля остальной обстановки. Пьер проводил здесь довольно много времени, практикуясь в стрельбе из купленного в Лондоне тисового лука, и свист летящих стрел разносился по всему дому. В его личных комнатах, переполненных книгами, масками, рапирами и пистолетами, потолки были арочные, старинные. От керосиновых ламп и свечек в высоких серебряных подсвечниках всюду падали теплые тени. В

большом камине, источая божественный аромат, горели ветки дрока, оливы и дуба. Рождественские праздники издавна расписаны по часам, и Пьер чуть не летал от счастья, радуясь, что пока все обходится без накладок и проволочек. К тому же через два дня мы ждали Тоби и Роба (наших Гога и Магога), которые, благодаря своей легкомысленной смешливости и непредсказуемым выходкам были незаменимы в компании.

Скрестив ноги, мы сидели на полу перед камином, ели орешки, пили виски и болтали обо всем сразу и ни о чем. Никогда еще старый Верфель не был таким радушным, таким милым. Если даже на душе у нас и скребли кошки — из-за того, как Пьер определил свое будущее, то об этом мы молчали, считая, что не время и не место говорить о предчувствиях и страхах. И все-таки наша радость была омрачена печалью; мы не могли забыть о неотвратимом отъезде и о пока еще непонятной перемене в нашей жизни — и в только что обретенной любви тоже. Почувствовав наше настроение, Пьер нарушил молчание:

— Веселее, дети. Вчера мы ходили в лес и принесли полено — в этом году оно у нас просто чудесное.

И он рассказал мне о церемонии, в которой

участвуют самый старший и самый младший из домочадцев. Рука об руку они идут в лес, выбирают дерево, которое должно быть срублено для празднования Рождественского Сочельника, и торжественно несут домой, естественно, с помощью всех остальных. Потом надо трижды обойти с ним длинный обеденный стол и положить его перед большим камином. На сей раз церемонией руководил старый Жан и делал это с неподражаемым искусством, для начала до краев наполнив *vin cuit*[26] высокий кувшин. Рассказывая, Пьер довольно похоже и смешно изображал старого Жана — вот он, улыбаясь, но не теряя важности, склоняется над кувшином и произносит молитву, тогда как все остальные в благоговейном молчании стоят вокруг с опущенными головами. Потом патриарх трижды плещет вином на дерево (это и есть Полено) в честь Отца, Сына и Святого Духа и кричит во всю силу своего хрипловатого старческого голоса:

Cacho-fio!
Bouto-fio!
Alègre! Alègre!

---

[26] Примечания: 26
Выпаренное сгущенное вино *(фр.)*.

Dieu nous alegre!

Гори, огонь,
Лей, не жалей,
Дай нам Бог жить веселей.

Когда же он дошел до последних слов магической формулы, то есть до слов: «Наступило Рождество» — большую охапку виноградной лозы положили под бревно, и камин наполнился огнем, осветившим счастливые лица собравшихся, словно лица эти тоже вспыхнули от произнесенного заклинанья. Все обнялись, потом захлопали в ладоши, а старый Жан еще раз наполнил вином церемониальную чашу, но теперь пустил ее по кругу, как чашу любви, начав с малыша Тунина, самого младшего из всех, а дальше она стала переходить от одного к другому, по старшинству, пока не вернулась опять к старому Жану. Он ее и допил, закинув голову так, что отблески пламени заиграли на его смуглой шее. Пьера вдруг охватила печаль, и непрошеные слезы появились у него на глазах.

— Какого черта мне покидать их? А мы? А это?

Выяснять все это было некогда, я так ему и сказал. Потом допил виски и поглядел на часы. Близилась вторая часть церемонии, когда ясли

украшают свечами и фигурками. Мне оставалось только радоваться, что для разговора нет времени, ведь порыв Пьера усилил мои тревоги относительно будущего, расставания… Появилась, еле удерживая в руках нашу одежду, Сильвия в платье прованской крестьянки, которое потрясающе ей шло — все захлопали в ладоши.

— Пора одеваться, — сказала она нам, — и изображать Святое Семейство.

Одевание заняло не так уж много времени. Мои комнаты располагались в восточной части дома. Чьи-то заботливые руки уже положили мне в постель металлическую грелку с тлеющими углями, а дворецкий разжег огонь, потрескивавший за узкой каминной решеткой. Я зажег свечи и быстро натянул на себя классическую хламиду из черного бархата на алой шелковой подкладке, одолженную мне Пьером, узкие панталоны, черные остроносые туфли и черный кушак — *tenue de rigueur*[27] Рождественского ужина в Верфеле. Сам Пьер надел галстук-шнурок и ленточку — атрибут *félibre*,[28] провансальского поэта. Как

---

[27] Примечания: 27

Обязательный наряд *(фр.)*.

[28] Примечания: 28

Фелибры — участники провансальского литературного движения во второй половине XIX в.

я ни спешил, Сильвия опередила меня и уже распоряжалась в зале, стараясь внести порядок в церемонию зажигания свечей, несмотря на проказы возбужденных ребятишек, которые, как мыши, шныряли вокруг нее. Ей удалось справиться с угрозой бунта нетерпеливых непосед, и вскоре все, как завороженные, следили за фигурками, одна за другой появлявшимися из оберточной бумаги. Вскоре созвездие крошечных огоньков осветило коричневые горы Вифлеема и прославило Святое Семейство, находившееся в сарае, где его посетили волхвы, цыгане, короли и королевы, пастухи, солдаты, браконьеры и почтальоны… не считая овец, уток, перепелов, коров и сверкающих разноцветьем птичек. Потом настал черед Пьера, взявшего на себя обязанность разворачивать и вручать подарки, должным образом надписанные, чтобы никто не остался забытым в этот памятный день. Великое ликование сопровождало все действо от начала и до конца, а потом мы потихоньку двинулись в направлении накрытого стола. Обедали в большой зале — длинный стол оказался даже слишком просторным для собравшихся. Наша троица расположилась за столом, поставленным поперек, так что получился крест, а Жан и его жена сидели

справа и слева от нас. Везде горели свечи, да и от Рождественского Полена уже летели вверх букеты ослепительных искр.

Такое не забывается, я сам часто вспоминал то Рождество, и его появление в моих снах вполне закономерно. Наверное, в подсознании сохранились даже те подробности, о которых я ни за что не вспомнил бы наяву. Не представляю, что еще я мог бы в любой момент и с такой же ясностью представить, всего лишь закрыв глаза.

Пол в зале, выложенный большими серыми камнями, был устлан охапками розмарина и чабреца: так проще избавляться от пыли, а также от костей и объедков, которые обыкновенно бросали охотничьим собакам. Высокий потолок поддерживали черные от дыма балки, с которых свисали веревки с колбасами, чесночные гирлянды и бессчетные пузыри с лярдом. Больше трети дальней стены занимал главный камин десяти футов в длину и, по крайней мере, семи — в высоту. Посередине стояли старинные плетеные кресла с высокими спинками и деревянные лари с солью и мукой. Золу собирали в кучу возле высоких подставок для дров, верхушки которых раскрывались, как цветы, превращаясь в небольшие железные корзины. Их часто использовали,

чтобы подогреть тарелки, и тогда наполняли тлеющими углями, а еще к ним на разных уровнях были приделаны крюки для вертелов. С каминной полки спускалась короткая красная занавеска, благодаря которой дым не шел в залу, если пламя чересчур разгоралось, а такое случается, когда жгут некоторые виды деревьев, особенно, когда жгут оливы. На широкой полке нашли себе место множество предметов обихода, весьма примечательных, потому что были они, к тому же, очень красивы — например, кувшины из старинного фаянса от совсем крошечного до трехлитрового, и на каждом значилось, для чего он: шафран, перец, тмин, чай, соль, мука, гвоздика. Тут же стояли высокие бутыли с оливковым маслом, смешанным с травами и специями, довольно много обожженных медных сосудов, громадный кофейник и полудюжина высоких ламп из желтой меди или олова, заправляемых оливковым маслом — как во времена греков или римлян, однако теперь быстро вытесняемых более современными — керосиновыми.

Направо располагалась широкая каменная раковина, а над ней — несколько рядов полок, уставленных целой армией медных горшков и

кастрюль… настоящая *batterie de cuisine*.[29] Налево над чаном для теста висели большие короба с солью и мукой, чтобы были под рукой, и нечто, предназначенное для хлеба, и похожее то ли на клетку, то ли на люльку — из потемневшего дерева, с начищенными до блеска железным замком и петлями.

На противоположной стороне разместился высокий, украшенный замысловатой резьбой буфет местных мастеров, массивный, сверкающий лаком цвета прованского масла. Слева от него висели дедовские часы, строго следившие за дисциплиной и потому дважды отбивавшие время. Повсюду в беспорядке стояли старые кресла с сидениями из тростника — никто здесь не думал ни о роскоши, ни об удобстве. Как повелось исстари, так все и оставалось, живая история, и никому в голову не приходило что-либо менять. Все приспосабливались к заведенному порядку в жизни и в природе. Не приходит же людям в голову менять движение планет! Позади чана для теста покачивались, свисая с высокого стояка, медные чашки весов на тонких медных цепочках, блестевшие от мыла и песка. Возле одной из стен, среди кре-

[29] Примечания: 29
Набор кухонной посуды *(фр.)*.

стьянских инструментов, расположилось между двумя сломанными флагами старинное охотничье ружье на деревянной стойке. Сами стены были украшены чувствительными литографиями и олеографиями со сценками из местных сказок и, естественно, бесчисленными семейными фотографиями, выцветшими до сепиевой анонимности — с изображениями незабываемых людей и событий: здесь были жатвы, пикники, игры с быками, посадки деревьев, клеймение скота, свадьбы и первые причастия. Целая жизнь, полная упорного труда и безобидных радостей, центром которой была эта зала!

Тем временем разнесли вино, и началось главное пиршество года. По традиции эта трапеза всегда «легкая», так что в сравнении с другими праздничными днями ее можно назвать даже скудной. Дивный аромат шел от огромного блюда с *raito* — рагу из разных рыб с соусом из вина и каперсов. Над облитыми коньяком цыплятами поднималось голубое пламя. Длинные коричневые батоны трещали в руках пирующих, как ветки олив — в огне камина. Первое блюдо опустело почти мгновенно, и его место на столе заняли два блюда еще больших размеров — с белой треской и мелкой рыбой из Роны, которую

жарят целиком. Следом за ними, но уже не так скоро, подали белых улиток из виноградника. Их обычно подают прямо в раковинах, а во время еды достают крепкими, длинными — в три-четыре дюйма — и загнутыми на конце — шипами дикой акации. Бокалы вновь наполнили, и начались тосты.

Потом появились изысканные овощные кушанья — вроде белых *cardes* или *cardon*, вкуснейших стеблей гигантского чертополоха, похожего на разросшийся сельдерей. Их бланшируют, затем тушат в белом соусе — исключительно местный деликатес. Они очень нежны на вкус, в чем легко убедиться, приехав на юг Франции; а ведь это обыкновенный сорняк. Наш обед продолжался, и наконец наступил черед всякого рода засахаренных фруктов, орехов и зимних дынь. В камин положили еще одно полено, и армия винных бутылок уступила место фаланге бренди, арманьяков и настоек. Принесли дымящийся кофе.

Жена старого Жана поставила перед нашей влюбленной троицей большую серебряную сахарницу с белым сахаром — ни дать, ни взять серебряное брюхо, приоткрывшее свое сладкое нутро. Три ложки стояли торчком в ожидании, когда мы первыми возьмемся за них. Тосты и шут-

ки стали понемногу стихать, словно падающие на землю отполыхавшие петарды фейерверка, и наступило время для более серьезного разговора. По традиции Пьер каждый раз произносил речь, в которой подводил итог годовым работам, за что-то хвалил, за что-то журил своих домочадцев. На сей раз у него были важные новости, которые так или иначе затрагивали каждого, кто находился в зале. Я видел, как предстоящее выступление терзает и мучает его и его сестру, изредка бросавшую на него любящий и сочувственный взгляд. Пьер не раз менял место за столом, чтобы перекинуться словом то с одним, то с другим из сотрапезников, оттягивая неприятный момент, но, наконец, встал и, призывая к тишине, постучал по столу. В ответ раздались громкие аплодисменты, и те, кого ему предстояло огорчить, подняли в его честь бокалы.

Побледнев, он покорно ждал, когда стихнет шум, чтобы поздравить всех с Рождеством. Потом попросил не сердиться на него за печальный и задумчивый вид, на то у него есть весомые причины. Собственно, не происходит ничего такого страшного, просто любые перемены вызывают печаль и сожаление.

— Но прежде, чем я расскажу о своем отъез-

де, позвольте сообщить вам о тех изменениях, которые я наметил. Первым делом я поднимаю бокал за старого Жана, который мне ближе отца. Я вручаю ему бразды правления, отныне он будет *régisseur*[30] в Верфеле, пока сам я буду *en mission*.[31]

Речь была составлена с большим искусством, Пьер произносил ее с горячностью и одновременно с рассудительностью, тронувшими всех, кто сидел за столом. Он заверил слуг, что никого не собирается увольнять и даже, из-за возросшей ответственности, намерен увеличить жалование. Его сообщение вызвало взрыв радости, сопровождавшийся поцелуями и поздравлениями. Недурственное начало дипломатической карьеры — ибо к тому времени, когда подошла очередь новостей малоприятных, публика совсем развеселилась, подмасленная Рождественскими подарками. Этот настрой помог Пьеру честно и смело изложить причину перемен и объяснить без экивоков, что перед ним был выбор: или найти способ, как сохранить фамильное имение, или сидеть сложа руки и смотреть, как его съедают

---

[30] Примечания: 30
Управляющий *(фр.)*.

[31] Примечания: 31
В деловой поездке, в командировке *(фр.)*.

долги. Вот он и решил приискать должность, соответствующую его образованию, но при этом, успокоил всех Пьер, он клятвенно обещает одно. Летом мы трое будем приезжать в Верфель и проводить тут отпуск. Слушатели истовыми похвалами отозвались на проявленную им здоровую сентиментальность, вполне довольные и собой и хозяином, и только я не мог не думать о возможной разлуке, ибо осенью мне предстояли последние экзамены, и я не имел ни малейшего понятия о том, что мне уготовило будущее. Мог ли я предвидеть, что через три месяца окажусь в Министерстве иностранных дел? В тот праздничный вечер мной владела всепоглощающая, почти болезненная тоска по тем местам, где я провел счастливейшие часы моей жизни — по весеннему Арамону с его вишневыми садами и зеленой травой, по Фону, Колья и дюжине других уголков, где мы разбивали наш лагерь. Я видел озабоченное лицо Сильвии, и не мог избавиться от глубокой печали.

Наконец, пирующие осмыслили сказанное, и наступила тишина, словно все старались представить, как будут жить в шато без Пьера. В это время в дверь негромко, но властно постучали, и мы переглянулись, не понимая, кого могло зане-

сти к нам в столь поздний час, да еще в праздник. Вскоре торопливый стук повторился. Старый Жан встал из-за стола и, гулко топая по каменным плитам, отправился открывать дверь.

Снаружи было темно, но в раме из мигающих отсветов пламени я увидел женщину, как будто цыганку, по крайней мере, в пестрой юбке, блестящей шали и с дешевыми, но очень крупными серьгами в ушах. Кстати, мое предположение не было таким уж фантастическим, ибо у стен Авиньона расположился большой цыганский табор: Салон недалеко, да и подобный вечер как нельзя лучше подходил для попрошайничества… Видение сделало несколько шагов — ближе к свету — и с легкой хрипотцой проговорило:

— Пьер, мне сказали, что ты вернулся.

Звучный голос и правильный выговор абсолютно не соответствовавшие внешнему виду женщины, тотчас привлекли всеобщее внимание. Ноги у нее были босые и грязные, и на лодыжке — неуклюжая повязка. Массивная голова, маленькие черные глазки и длинный нос — в первый момент женщина показалась ужасной дурнушкой. Но очень подвижное выразительное лицо и глубокий волнующий голос производили неизгладимое впечатление, завораживали. В по-

ведении незнакомки были властность и величие. Пьер сердечно ее обнял.

Так я в первый раз увидел Сабину, о которой мало что знал до тех пор; собственно, вспомнил только имя, когда Пьер назвал его, а потом Сильвия, здороваясь, повторила. Позднее я научился ее понимать и тоже стал ею восхищаться — но все же не так, как Пьер, который не мог говорить о ней без восторга. Она была дочерью лорда Банко, банкира-еврея, известного во всем мире, и их шато располагался в Мере, то есть всего в десятидвенадцати километрах от Верфеля. Обладавшая блестящими способностями, Сабина однажды покинула университет и отправилась бродить с цыганским табором, якобы ради изучения его обычаев для работы по этнографии. Исчезала Сабина надолго, возвращалась всегда неожиданно и некоторое время вела цивилизованный образ жизни, как полагается единственной дочери богатого банкира, получившей соответствующее воспитание и образование. Ее мать давно умерла, а отец постоянно менял любовниц, как правило, выбирая их среди второсортных актрисок, которые быстро ему надоедали. Он искренне радовался возвращениям Сабины, в основном, из эгоистических соображений, так как она была ве-

ликолепной хозяйкой, а он любил задавать пиры. Попадая в затруднительное положение, Сабина иногда наведывалась за помощью и советом в Верфель. Обычно они с Пьером встречались во время верховых прогулок.

В тот вечер она была весьма эффектна, и я с ревнивым любопытством следил за тем, как внимательно слушает ее Пьер. Опять что-то случилось у цыган, не помню уж что именно. Вроде, один из них, осерчав, скрывался в лесу, если я ничего не путаю. Послушав ее несколько минут, Пьер молча взял фонарь и жестом попросил проводить его в лес. Они с пугающим проворством вышли наружу. Я обратил внимание на старого Жана, который деловито подошел к шкафу с оружием, достал карабин, зарядил его и, вернувшись к двери, стал вглядываться в темень, приготовившись ринуться на помощь. Но все обошлось. Сначала послышалась перекличка мужских голосов, потом до нас донесся звучный голос Сабины. Наконец, покачивая фонарем, возвратился Пьер. Уже один.

— Порядок, — проговорил он. — Он ее не тронет.

Тут старик вспомнил, что пора идти в деревенскую церковь.

— Надо бы поторопиться, — сказал он, глядя на старинные часы. — Негоже опаздывать на службу в такой день.

Мы надели шляпы, шарфы и побрели в ночь. Бледная луна плохо освещала путь, и мы все время спотыкались на горной тропе, что вела в крошечную деревушку Верфель. В церкви горело столько свечей, что, казалось, будто ветхое строение объято пламенем. Я шел рука об руку с братом и сестрой. Мы молчали и думали о будущем — о том самом будущем, которое теперь стало прошлым.

Возле кровати пронзительно трезвонил телефон. Беше умел держать слово.

— Удалось договориться на сегодня, — протараторил он в своей обычной суетливо-услужливой манере. — Будете готовы к шести? Я заеду за вами. И, пожалуйста, подождите меня в холле, улица узкая — у вас там нельзя парковаться.

Я сквозь сон промямлил «да». Еще оставалось время, не особо торопясь, принять ванну и одеться, поэтому я позволил себе несколько минут полежать, чтобы освободиться от груза воспоминаний — вылезти из-под лоскутного одеяла, сшитого из фактов и эмоций. Как там Сильвия? Я позвонил Журдену, удивив и обрадовав его на-

пористостью Беше, а также решением властей не мешать похоронам. Ну а Сильвия, по его словам, нуждалась сейчас только в отдыхе. Тем не менее, я обещал приехать в Монфаве и навестить ее сразу же, как будет покончено со скорбными формальностями. С одной стороны, меня радовало, что похороны уже назначены, но одновременно одолевали дурные мысли, ибо потом… что потом? Ответа на этот вопрос я не находил, ибо не имел ни малейшего представления о том, как все сложится дальше. Сказывалась привычка жить одним днем. Думы мои были обращены то в прошлое, то в будущее, не сулившее ничего ясного и устойчивого. А Сильвия?

И снова нахлынули воспоминания, — когда я наконец уселся рядом с Беше в его душный автомобильчик и стал смотреть на проплывавший мимо сумеречный пейзаж. Нижние поля укрывал молочный туман, точно такой, какой я видел днем во сне. Для весенней поры темнело необычайно поздно, но поскольку точное время церемонии (или не-церемонии) в завещании не оговаривалось, то из-за этого волноваться не стоило. Старый аббат собирался прибыть на своей машине из какой-то деревни, находившейся немного восточнее, и Беше не без боязни думал о

предстоящей встрече из-за нечестивого запрета Пьера служить панихиду.

— Мне пришлось ему прямо сказать, — вновь и вновь повторял нотариус, — что я, как представитель закона, обязан следить за точным исполнением последней воли умершего. И я исполню свой долг. Пусть только посмеет читать «Деву Богородицу»…

Беше угрожающе мотнул подбородком, и его лицо приняло воинственное выражение. Машину он вел медленно, рывками, по-видимому, озабоченный сгущающимся туманом.

Наверное, куда разумнее было бы думать о заледеневшей дороге, которая начала круто подниматься в гору, однако это его явно не настораживало. По-моему, перепады резкости, а то и полное отсутствие видимости немного действовали ему на нервы, или, возможно, у него к старости ослабло зрение. Пока мы продвигались вперед, облегченно переводя дух на каждом повороте, Беше упорно втягивал меня в банальный разговор о погоде и зимних проблемах водителя. Шутки тумана казались зловещими — совсем как в моем дневном сне. После очередного рывка, когда наша машина чуть не врезалась в узкий черный катафалк, двигавшийся в том же направ-

лении, Беше присвистнул и с суеверным страхом проговорил:

— Это же Пьера везут в шато — катафалк из морга, и мне назначили на семь.

От жуткого, трагического зрелища у меня дважды дрогнуло сердце. И тут-то, в клочковатом тумане мы как будто начали с катафалком игру в прятки. Теперь нам мешал не столько лед, сколько размытый грунт и прилипавшие к колесам листья. Вокруг поднимались темные, суровые горы. Жутко было ехать вот так, следом за Пьером, то теряя катафалк из виду, то вновь обнаруживая его на повороте. Пару раз мы чуть не столкнулись с ним, и Беше вскрикивал, — то ли от ужаса, то ли от неожиданности. Будучи французом, да еще южанином, он верил во все, какие только есть, приметы и, очевидно, считал дурным предзнаменованием невольное преследование катафалка.

Уже совсем стемнело, а при свете фар места, по которым мы проезжали, казались безлюдными и как будто заброшенными. Чем медленнее ехал Беше, тем больше его одолевала тревога. Несколько раз, когда на встречной полосе появлялись другие машины, он, как пугливая лошадь, почти останавливался. Дорога постепенно сужалась. Думаю, иногда он тормозил не только из-за

этого, видимо, хотел отстать от катафалка, и я втайне этому радовался; меня тоже одолевали дурные предчувствия, хоть и абсурдные, но от этого не менее отвратительные. В конце концов Беше попросил позволения остановиться, чтобы покурить; он съехал на обочину и, уже вовсю дымя сигаретой, поставил машину на тормоз. Когда фары погасли, темнота отнюдь не стала менее пугающей; промозглая вечерняя сырость тут же обступила со всех сторон, и с деревьев на матерчатую крышу закапала вода. Расстроенный и даже словно чем-то подавленный, Беше молча попыхивал тонкой сигареткой. По-видимому, его мучила неизвестность, ведь он не знал, чего ждать, когда мы приедем в шато, вот и решил немного помедлить, давая время сопровождающим выгрузить гроб и увезти катафалк. Как бы то ни было, рассчитал он неплохо, ибо оказавшись на подъездной аллее, мы увидели пустую разворачивавшуюся машину, уже выполнившую свою миссию.

Однако то, что предстало нашим глазам в Верфиле, было не менее впечатляющим, чем черный катафалк. Уже горел костер — высокий погребальный костер, на каких прежде сжигали мучеников. Своим жарким пламенем он слов-

но бы посылал вызов мокрому ночному небу. Было такое ощущение, будто наступил Иванов день, — который всегда отмечают кострами. Докрасна раскаленные поленья громко трещали, нагревая воздух, и снопы искр полыхающим столбом летели под купол из крон деревьев, которые сгрудились возле главного входа в дом, как немые свидетели происходящего. За распахнутыми дверьми горело множество свечей; сараи и конюшни с левой стороны тоже были открыты и ярко освещены. В одном из сараев я заметил людей, больше похожих на тени, их невозможно было узнать из-за разделявшей нас тьмы. Включенные фары этот мрак одолеть не могли. Все двигались медленно и скованно — словно участвовали в священнодействии; и предмет, которым они неловко манипулировали, был, по-видимому, очень тяжелым. Как выяснилось немного позже, они вывозили из сарая старинную и ярко разрисованную телегу под два ярма, которая больше подходила для ярмарки, чем для похорон; но, возможно, другой не нашлось. Один из мужчин просто наблюдал за происходящим, даже не пытаясь помочь, и когда он обернулся, мы разглядели тощего священника. На мгновение в дрожащем свете стала видна и роспись на телеге

— темнокудрые ангелы с похожими на маслины глазами, о чем-то сговариваясь, летели в голубые эмпиреи, молитвенно и смиренно соединив над головами беленькие слабые ручонки. Появление телеги сопровождалось грохотом копыт, и из темного сарая, пятясь, вышла огромная крестьянская лошадь, ее тут же запрягла и снабдила шорами одна из теней, приговаривавшая «ш-ш-ш» и «тпру». Из-за полыхавшего со всех сторон огня лошадь занервничала, в добрых доверчивых глазах вспыхнуло безумие, она стала бешено ими вращать и размахивать аккуратно заплетенным хвостом. Вычищенная до блеска ради особого случая, она походила на большой рояль. Неуклюже переступая с ноги на ногу, животное все же подчинилось требованиям своих повелителей.

Человек пять занялись телегой, накрыв ее черной, шитой золотом и серебром материей — похожей на покрывало — и такое же покрывало, но размером поменьше, положили на круп лошади. Священник картинно замер — точно игрок в гольф, собирающийся нанести первый удар по мячу, — в руке у него был молитвенник. Беше выругался и бросился в бой. Даже если крестьянам было известно о распоряжениях Пьера насчет похорон, они не посмели бы остановить

почтенного аббата. Однако в короткой, но энергичной перебранке с Беше аббат, по-видимому, потерпел поражение, ибо, понурив голову, убрал молитвенник; однако нотариусу победа далась нелегко: он весь побагровел от умственного напряжения и тяжело дышал, а я с удивлением отметил, что этот человек умеет в критический момент проявить твердость.

И все же Беше приехал слишком поздно и не успел запретить старому Жану и его помощникам украшать самодельный катафалк; теперь же было бы жестоко их разочаровывать. Слуги уже водрузили гроб на телегу, и кто-то украсил голову лошади блестящим черным плюмажем. Ну и обычаи тут у них, немудрено, что Пьер потом отрекся от всех религий! Но больше всего меня раздражала лисья мордочка священника, который поначалу с явным презрением наблюдал за происходящим, а потом наклонил голову и, по-видимому, погрузился в молчаливую молитву. Я взглянул на Беше: обратил ли он внимание на уловку аббата? Однако нотариус смотрел в другую сторону. Старый Жан неузнаваемо переменился, даже ходил пошатываясь, однако это не мешало ему по-прежнему твердо, хотя и севшим голосом, отдавать приказания и добиваться порядка. Ко-

стер разгорался, освещая потные крестьянские лица и торчащие из рукавов парадных костюмов огромные ручищи.

С неба посыпался меленький снежок, но, не долетая до земли, он таял в огнедышащем столбе искр. Кое-как телегу развернули и поставили поперек гравиевой дороги. Прервав борьбу с силами тьмы, аббат двинулся к импровизированному катафалку, и я разглядел длинное, по-собачьи узкое, лживое лицо с выступающими желтыми зубами. Лет семидесяти с лишним, высокий и сухопарый, он всем своим видом выражал досаду — скорее всего из-за строптивости нотариуса. Подойдя к кружку света вокруг костра, Беше представил меня, и я перехватил острый, как клинок, взгляд. Наверное, аббату не в первый раз называли мое имя, иначе почему он так смотрел на меня и почти тотчас отвернулся с окаменевшим лицом? Тем временем все было готово к похоронному шествию. Из дома вышли женщины, *endimanchées*,[32] в накинутых на плечи шалях, и мужчины в воскресных костюмах. Все, кто служил в доме, вместе с нами последовали за фермерской телегой.

---

[32] Примечания: 32
Нарядно одетые *(фр.)*.

Под громкий цокот копыт вместо похоронного марша, наша скорбная процессия двинулась во тьму, прочь от треска и шипения костра. У нас была пара фонарей, и по общему согласию их отдали идущим впереди. Жан шел рядом с лошадью, держа в одной руке поводья, в другой — лампу. Все в том же порядке мы пересекли гравиевую дорогу и ступили на широкую, заросшую мхом тропу, которая вела к фамильному склепу, располагавшемуся в густом лесу среди кленов и платанов. К тому моменту мне удалось дать о себе знать Жану и его сыну; и тогда же две женщины бросились ко мне и по очереди прижали мою руку к своим мокрым щекам. Нам было не до разговоров, но и в нескольких коротких фразах я уловил ноту осуждения, причину которого понять было нетрудно; ни с чем не сообразные похороны не только отнимали у смерти причитавшуюся ей дань, но и лишали слуг заслуженного многолетней преданностью права оплакать хозяина. Так не годится. Что станется с душой моего несчастного друга, когда его бросят в яму, не облегчив ему отпеванием печальный переход в иной мир? Будь у них время, они наверняка постарались бы повлиять на меня, и я радовался случившейся не по моей вине задержке. А теперь слишком поздно

что-нибудь менять. По дороге к склепу, в лесу, мы встречали друзей и соседей Пьера, освещавших себе путь фонарями. Жан махал им натруженной старческой рукой, приглашая присоединяться к нам, и теперь наша процессия стала похожа на длинного светляка — из-за множества новых фонарей.

Вскоре над тропой нависли переплетенные ветки, и этот свод надежно защитил нас от обильного снега. Поистине дорога к месту успокоения была слишком извилистой и мрачной, а небо слишком тихим и беззвездным. Наконец показался склеп с разбитыми урнами, грубыми *putti*[33] и мерзкими кипарисами, при виде которых у меня всегда становилось пакостно на душе — я имею в виду, задолго до смерти Пьера. Ненавижу их, как когда-то их ненавидел Гораций. Мы в нерешительности топтались на месте, потому что склеп был погружен во тьму; но вот старый Жан достал ключ и взялся за железную решетку. Однако заржавевший замок не поддавался, поэтому я предложил старику свою помощь. После долгих усилий нам, наконец, удалось его открыть, и при свете поставленных на землю

---

[33] Примечания: 33
Изображения крылатых мальчиков, часть традиционного декора.

ламп мы спустились по широким ступеням. Как ни странно, дверь оказалась довольно новой, и замок, по-видимому, недавно меняли, поэтому тут обошлось без всяких сложностей, и мы вернулись за лампами. Наверное, внутри давно не прибирали: пол был покрыт толстым слоем сухих листьев, а в углу валялись дохлые улитки. Вскоре однако от этого запустения не осталось и следа, так как одна из женщин прихватила с собой метлу, и пока мужчины разворачивали гроб, несли его вниз по ступенькам, женщина успела навести чистоту.

Когда склеп осветили, я огляделся. Внутри было очень сыро, но просторнее, чем мне сперва показалось. Надгробия разных времен, довольно много затянутых паутиной приделов и несколько незанятых углублений, к одному из которых мы и направились с накрытым черной тканью гробом. В неровном свете ламп на стенах появлялись то гигантские, то карликовые тени. Отныне Пьеру предстояло проводить здесь все дни и ночи, а мы, его друзья и слуги, пришли сюда, чтобы в последний раз взглянуть на его невозмутимое лицо, а потом уступить место каменщикам. Однако из-за того, что не были совершены общепринятые обряды, у нас возникло странное чувство пустоты.

Растерянно переглядываясь, мы начали тайком креститься и молиться за упокой души усопшего. Для аббата же все происходившее было откровенным скандалом. Уперевшись подбородком в грудь, он стоял неподвижно, словно погрузился в глубокое раздумье, а мы трусливо сгрудились за его спиной в ожидании, когда он вернется в мир реальности и даст нам свое пастырское разрешение уйти из склепа. Дурацкая ситуация. Аббат не шевелился целую вечность, но все же в конце концов обернулся и окинул нас невидящим взглядом, как будто его мысли витали где-то далеко. Желая, вероятно, что-то сказать, он открыл рот, но, передумав, захлопнул его, затем покачал головой и тяжело вздохнул.

— А теперь нам пора покинуть его, — сказал он и повернулся на каблуках.

Не знаю почему, но эти слова перевернули мне душу и пробудили чувство вины — скорее всего, из-за того, что я струсил и не пошел в морг проститься с Пьером. Как бы там ни было, едва в натруженных руках одного из работников появились отвертка и медные шурупы, меня охватил ужас. Я понял, что не могу уйти, не взглянув в последний раз на лицо моего друга. Успеют еще заколотить гроб и заложить кирпичами дыру. Я

обратил внимание на то, что гроб европейского образца, с открывающейся вверху крышкой, и, не раздумывая больше, бросился к нему — и, уже почти откинув крышку, почувствовал на плече и предплечье чьи-то руки. Священник и нотариус крепко держали меня, а я никак не мог понять, чего они испугались.

— Почему? — в ярости крикнул я, когда они потащили меня прочь.

Однако их непоследовательность нисколько не умаляла их настойчивости, и я вынужден был покорно пройти вместе с ними сначала в дверь, потом на ступеньки. Это было выше моего понимания; но ни о каких спорах и ссорах не могло быть и речи. Поразило меня единодушие нотариуса и священника. В их общем страстном порыве было поистине нечто иррациональное. Что им до того, если бы я увидел Пьера в последний раз — прежде чем его замуруют здесь навсегда? Я был взбешен и ошарашен, но на время смирился и, остановившись на лестнице, стал смотреть на желтое озерцо света. Ветер постанывал в ветках деревьев. Наконец послышался стук молотков, и шурупы встали на свои места. Один за другим поднимались наверх участники похорон со своими лампами и фонарями. На обратном пути, пока

мы шли через лес, наша процессия поредела. Беше шагал рядом со мной, аббат — по правую руку от него. Какое-то время нотариус молчал, но вскоре, видимо, почувствовав, что нас угнетает отсутствие привычного словесного обрамления, со вздохом произнес:

— Человеческая жизнь! До чего же она коротка и хрупка.

Священник упорно молчал, демонстрируя незаслуженную обиду. Мы не услышали от него ни слова!

Сложенный во дворе костер постепенно затухал под непрекращающимся снегом, но в зале полыхал камин, от которого в тот мрачный вечер на нас повеяло теплом и весельем. Священник и нотариус (печально знаменитые персонажи французской жизни) облюбовали стол подальше ото всех и погрузились в чтение бумаг, вынутых Беше из видавшего виды портфеля: свидетельство о смерти, разрешение на похороны, еще что-то в этом роде, может быть, завещание. Короче говоря, они погрузились в свои дела. Я устроился сбоку от камина. Старый Жан принес кувшин с подогретым вином и расположился рядом, а у наших ног легла охотничья собака Эльфа, любимица всех обитателей шато. Мы молчали. Время

от времени Жан искоса поглядывал на меня, словно собираясь что-то сказать, но продолжал молчать — как будто не мог подобрать нужных слов, чтобы выразить свои чувства. В доме стояла привычная тишина, разве что скрипели перья и шелестела бумага. Уступив неожиданному порыву, я спросил:

— Жан, почему мне не позволили посмотреть на Пьера? Почему все промолчали? И вы тоже?

Вопросы были чисто риторическими, и я не ждал вразумительного объяснения от старого Жана — мне просто захотелось с кем-нибудь поделиться своим горем, вот и все. Он же посмотрел на меня с явным недоумением, словно ему задали дурацкий вопрос, ответ на который всем известен. Тогда, ничего не понимая, я повторил:

— Почему?

Довольно долго он не сводил с меня пристального взгляда; потом сказал:

— Вы же сами знаете, что смотреть-то было не на что. Головы нет. Так сказали люди из морга. Вы же знаете — и месье адвокат знает. Он знает?

Его слова были для меня как гром среди ясного неба. Оглушительный гром… Нет головы!

— Потому они вам и не позволили, — продолжал старик. — Подумали, что вы про голову

позабыли.

Видимо, у меня был такой ошарашенный вид, что он посмотрел на меня с нескрываемой жалостью. Не сразу мне удалось взять себя в руки и освоиться с мыслью, что мы хоронили труп без головы. Но *почему?* Что все это значит? Если нотариус и священник знают, то почему не сказали мне? Но, возможно, все это вздор — возможно, старый Жан что-то недопонял или недослышал, вот ему и померещилось несусветное.

И я на всякий случай спросил:

— Вы сами видели?

Он снова печально на меня посмотрел и кивнул.

— Её точно нет?

На сей раз он кивнул, не скрывая удивления. Я отпил большой глоток вина, потом все же спросил:

— Но почему вы уверены, что это Пьер?

Теперь и у самого Жана был совершенно ошарашенный вид; по-видимому, ему и в голову не приходило, что это мог быть не Пьер. Однако лицо его почти сразу прояснилось, словно он что-то припомнил.

— Да из-за правой руки, — сказал он. — Из-за шрама.

Я сразу понял, о чем идет речь, а он, собравшись засучить рукав, продолжил:

— Нам показали руку.

Несколько лет назад, катаясь в Давосе на коньках, Пьер серьезно поранил правую руку. Кстати, задетые сухожилия постоянно напоминали о себе: рука не очень хорошо его слушалась. Не узнать шрам было невозможно. Очевидно, когда привезли обезглавленное тело, шрам предъявили как неопровержимое доказательство. Рассказывая, старый Жан воспользовался провансальким выражением, которое обычно в ходу у мясников; освежевывая кролика, они оставляют в неприкосновенности уши в качестве опознавательного знака, что тушка действительно кроличья. У меня мурашки поползли по спине.

Наверное, в тот момент мне следовало самым решительным образом потребовать у Беше объяснений. В конце концов, они могли оказаться абсолютно банальными и простыми. Надо было спросить, но меня одолело смущение, почти *pudeur*.[34] Я бросился в уборную, и там меня вывернуло наизнанку. А нотариус и священник вполголоса продолжали совещаться.

---

[34] Примечания: 34
Стыдливость *(фр.)*.

Совещание их длилось не так уж и долго. Вдруг, встав из-за стола, Беше подал мне знак, что пора в обратный путь. Я подошел, чтобы попрощаться с аббатом, который выглядел измученным и удрученным, но смотрел на меня с нескрываемым любопытством. Беше сокрушался о снеге и тумане. Почему я не спросил? Не знаю. Я молча вышел следом за ним во тьму, обняв на прощание старого Жана, его жену и чад и пообещав в скором времени вернуться в шато. Они строили фантастические планы насчет возрождения хозяйства, а у меня не было ни малейшего сомнения в том, что у них ничего не получится. Да и одна только мысль о возвращении в осиротевший дом причиняла невыносимую боль. Мы сели в машину, и влажные клочья тумана замельтешили в лучах света; но это был добрый знак, предвещавший, несмотря на северный ветер, скорое тепло. Едва мистраль задует вдоль долины Роны, как воздух становится морозным, а небо прозрачным, словно стеклянным — его голубой купол поднимается высоко вверх.

— Слава богу, похороны позади, — сказал сразу сникший нотариус, крутя руль старенькой машины. — Да еще такие. Должен заметить, я очень любил Пьера, но частенько его не понимал. Ну

а что касается шато… не представляю, как они выкрутятся с налогами. С цифрами Пьер был не в ладу, голова у него была забита совсем иным.

Услышав про голову, я решился задать вопрос, который все время вертелся у меня на языке.

— Если уж вы заговорили о голове, мой дорогой друг, — ответил Беше, — то я взял на себя смелость, не посоветовавшись с вами, это сделать… короче говоря, я распорядился снять *caput mortuum*.[35] Зато вы завтра же ее получите. — (Вот и объяснение!) — Смею надеяться, вы простите меня за спешку. На то были причины. Во-первых, я полагал, что чем быстрее мы его похороним, тем лучше, в особенности для вас. К тому же, завтра я на целый месяц уезжаю на Сицилию отдыхать, поэтому хотел покончить с бумагами. Ненавижу незавершенные дела, а в моей профессии, знаете ли, некоторые тянутся до бесконечности… — Он пыхнул сигаретой и искоса поглядел на меня. — Надеюсь, сегодня вам удастся по-настоящему выспаться, — добавил он, — ведь мы все уладили.

Неожиданно я почувствовал себя старым, немощным, вконец выдохшимся.

---

[35] Примечания: 35
Голова мертвеца *(лат.)*, то есть, посмертная маска.

На мокрых авиньонских улицах накрапывал дождик, свет фонарей слегка мерцал, словно они были окутаны газовой тканью. Мрачный перезвон часов на ратуше долетел до моего слуха, когда Беше остановил машину под деревьями на главной площади. И очень даже хорошо, что нотариус не повез меня к самому отелю. У меня появился повод пройтись. Пожелав ему счастливого пути и пожав руку, я остался один и с наслаждением подставил лицо под теплые капли дождя. Совершенно разбитый и вымученный, я вернулся в отель довольно поздно и стал тяжело подниматься на свой этаж. Но едва я успел одолеть один лестничный пролет, как проснулся ночной портье и бросился за мной вдогонку. Оказалось, прибыл джентльмен из Англии и ждет меня в моем номере, заказав виски с содовой. Это мог быть только Тоби, и сердце у меня радостно екнуло — наконец-то он в Авиньоне.

Взбежав по лестнице, я торопливо миновал мрачный коридор и ворвался в комнату; там я обнаружил похрапывающего гиганта, расположившегося поперек кровати. Очки он поднял на лоб, и они чудом удержались там, а вот купленный в дорогу детективный роман уже валялся на полу. Ох уж, эти очки! Едва ли есть на свете

другие такие, которые бы так часто терялись, бились, оказывались забытыми. Непонятно, как они вообще не рассыпались на кусочки, ведь все их детали держались вместе исключительно благодаря изоляционной ленте, правда, пригнанные друг к другу с поразительной аккуратностью.

— Тоби!

Тоби пошевелился, но не проснулся, лишь почмокал губами. Вся его громоздкая фигура являла собой образчик типичного преподавателя-холостяка: неопрятный дождевик, давным-давно лишившийся пояса, ботинки, похожие на лодки, с носами, загнутыми вверх из-за сушки возле конфорок — после многочасовых прогулок по сырости. Ношеные-переношеные брюки в коричнево-желтых пятнах, так как их хозяин, по-видимому, недавно бродил где-то по глине — потому, небось, и не ответил на мою телеграмму. Опять путешествовал пешком. Его багажа в комнате не было, разве что детективный роман, значит, Тоби сначала снял номер, оставил в нем вещи, а уж потом пожаловал ко мне. Во сне он поразительно походил на Роба Сатклиффа, ей-богу, их запросто можно было принять за близнецов, и уж в любом случае, за родных братьев. Два близоруких великана с буйными белокурыми

шевелюрами и бесцветными ресницами, два мастера смеха и непоправимых *оплошностей,* это были наши Гог и Магог. Глядя на Тоби, я невольно видел перед собой и Роба тоже.

От моего гостя здорово несло виски, но стакана я что-то не заметил. Тогда я прошел в ванную комнату, где и обнаружил полупустую бутылку и до половины наполненный стаканчик для зубной щетки, — мне стало понятно, как Тоби впал в свинское состояние. Настроение у меня резко улучшилось оттого, что теперь нас двое, и я решил отметить его приезд. То есть тоже выпил виски и возвратился в спальню, вознамерившись предъявить права на собственную постель. Однако Тоби спал как убитый, и мне пришлось дважды выкрикнуть его имя:

— Вставай, Тоби!

Он сделал несколько движений, напомнив постепенно просыпающегося питона — отдельные части его могучего тела поменяли положение, как бы развернулись, хотя Тоби продолжал спать; потом он вытянул ногу, застонал, привстал, но опять рухнул на кровать и обмяк, как спущенная шина. Наконец Тоби открыл глаза и стал сонно пялиться на украшенный херувимами потолок, явно ничего не соображая.

Догадавшись, что он не знает, где находится, я великодушно решил списать его забывчивость на усталость и виски.

— Тоби, это я — Брюс.

Тут он проснулся и неожиданно подскочил — с такой силой, что мог бы, наверное, при желании, достать до потолка, а то и протаранить его. Потом, уже прочно стоя на ногах, он схватил меня за руку и отрывисто, словно заполняя телеграфный бланк, проговорил:

— Наверно, я опоздал? Телеграмму доставили в колледж — я путешествовал по Германии — неожиданно — хотя я ждал чего-то такого — сам не знаю — и вот — как все вышло — самоубийство — обычное дело — проклятье.

— Дурной сон, — сказал я.

Тоби кивнул и, удалившись в ванную, плеснул на себя холодной водой, чтобы окончательно проснуться. С ожесточением растирая лицо и фыркая, как ломовая лошадь, он вернулся, сел на край кровати и уставился на меня.

— Самоубийство, — произнес он после долгого молчания, словно в первый раз подумал об этом, и погрозил мне толстым пальцем. — Брюс, ты ведь не принимал его галиматью всерьез, правда? Я об Аккаде и гнусных догматах, которыми

он вечно нас потчевал. Ты никогда не думал, что это серьезно — а я думал. И не мог спокойно смотреть, как Пьер клюет на все это.

Пора было остановить его разглагольствования — хотя бы ради бедняжки Аккада.

— Пусть у нас нет разумного объяснения, но зачем же обвинять в происшедшем египтян — тем более Аккада. Они ведь против самоубийства, и Аккад постоянно об этом говорил.

— Ты зашел не так далеко, как Пьер, правда? Ты всегда останавливался на краю. Откуда тебе знать, Брюс?

— А ты вообще не приближался к краю, но все же считаешь себя вправе строить предположения.

Я огорчился и разозлился. Кому нужны подобные теоретизирования перед лицом неодолимой смерти, тем более смерти Пьера?

— Ты уж прости, — в задумчивости прикусив кончик большого пальца, проговорил Тоби, очень похожий в это мгновение на печального слона. — Я только хочу понять причину, толкнувшую его на это. Хотя какая может быть причина? Депрессия или болезнь, вот и весь выбор.

— Да.

— Осенью он обследовался у врачей — может

быть, костоломы нашли у него заболевание не острое, но смертельное, вроде рака или болезни Ходжкина, это ведь тоже что-то злокачественное, с лимфой связано? А что, вполне возможно… Я тебе надоел?

Надоел. Хотя с моей стороны это было несправедливо. Я и сам осознавал, что выпускаю пар, разряжаюсь. Мне хватило ума извиниться, и Тоби ответил добродушной всепонимающей улыбкой, тем самым облегчив мне переход к рассказу о последних новостях, о визите к Сильвии и о похоронах в Верфеле. Слушал он с мрачным видом, изредка вздыхал и многозначительно качал головой.

— Роб обычно говорил: «За несчастьями людей всегда кроется определенная философия, даже если они об этом не знают». Видно, он был прав. Не злись. Случайностью тут не пахнет.

Вот откуда улыбка на лице Пьера, подумал я и от души порадовался, что Тоби опоздал и не просветил полицейских своим теоретизированием. Я достал увеличенные фотографии, которые мне дал инспектор, и Тоби, разложив их на кровати, наклонился над ними, как я понял, расчувствовавшись, ибо он торжественно высморкался в грязный красный платок. Однако извлечь из

них что-нибудь существенное, вроде разгадки устремленного на дверь приветливого взгляда, оказалось не под силу и ему. Не знаю. Бывает, придумываешь себе секреты там, где их нет. Мне припомнились золотые окурки и отчаяние Сильвии в тот вечер, когда произошло несчастье. Наверное, и это разъяснится, когда к Сильвии вернется разум — если вернется.

Допив наконец свой виски, я раздвинул шторы и стал смотреть, как подкрадывается рассвет, забрезжив над покрытой рябью рекой и беспорядочным скоплением городских крыш, где уже хлопали крыльями сонные голуби. Меланхоличные колокола отбили очередной час.

— Надо поспать.

Зевая и потягиваясь, Тоби встал. У меня возникло ощущение, будто я делаю первые шаги в незнакомом мире, ибо все в нем круто изменилось, включая все величины и координаты.

Мы договорились встретиться в десять часов в холле, но я спал так крепко, что не услышал стука горничной, а когда спустился вниз, то портье вручил мне записку: Тоби сообщал, что отправился в кафе «Дюранс» съесть *croissant*[36] и выпить кофе.

---

[36] Примечания: 36
Круассан, рогалик *(фр.)*.

Я без труда нашел его, полусонного, за столиком, освещенным утренним солнцем; Тоби в упоении любовался уголком, с которым у него было так много связано — главной площадью. Ох уж эта романтическая площадь и уродливый Памятник Погибшим в окаймлении покалеченных оловянных львов. Никакого воображения! Памятник окружали прекрасные мощные деревья, прятавшие в своей тени череду полудомашних кафе и ресторанчиков, в которых можно нежиться день, отпуск, жизнь. Отныне глядя на это место, я обречен видеть и призрак Пьера, который волчьей крадущейся походкой, прихрамывая, идет к табачному киоску, и рядом с ним Сильвию, словно ножны, вплотную прижатую к его боку. Она всегда с гордостью льнула к нему, если они шли куда-нибудь вместе. У берегов греческих островов так же невинно и чувственно ходят парами маленькие морские коньки… Мой друг погрузился в дрему или просто не желал расставаться с приятным оцепенением, которое всегда охватывало его в любимом городе.

— Ах, Авиньон! — тихонько воскликнул он, обращаясь в равной степени к небесам и ко мне.

Точно так же некоторые восклицают: «Ах, детство!» Еще один день, присоединенный к

длинному гобелену, сотканному его памятью. Тоби знал, каков Авиньон в любое время года и в любое время суток, летом и зимой, возможно, лучше нас всех. Пока мы отсутствовали, Тоби по несколько месяцев проводил в шато, роясь в архиве. Пьер предоставил в его распоряжение все документы, имеющие отношение к истории тамплиеров, предмету *magnum opus*[37] Тоби — «работы, которой предстояло лишить гадкого профессора Бэбкока ореола невинности и обеспечить мне как медиевисту королевский трон в Гарбо-колледж». Понятно, что Бэбкок рассматривал тамплиеров и загадочную историю ордена с позиции, прямо противоположной той, которую занимал Тоби, и судьба старика была предрешена, ибо Тоби почти завершил свой великий трехтомный труд, в который включил многие не издававшиеся прежде материалы из верфельского архива. Будучи жертвой исторического вируса, Тоби не мог смотреть на город, не думая при этом об исторической перспективе, так сказать, о временных пластах, заключенных в архитектуре. Здесь не было ни единого уголка, который не вызывал бы у него восхитительные

[37] Примечания: 37
Великий труд *(лат.)*.

грезы и живые ассоциации.

— Мне можно повидаться с Сильвией? — спросил он наконец. — Или это нежелательно?

Я ответил, что как раз очень желательно, его визит наверняка пойдет ей на пользу.

— Сегодня вечером, если хочешь. Мне только нужно позвонить Журдену и предупредить его.

Однако едва я об этом подумал, как на душе стало тяжко — я вспомнил о ее плачевном положении, да и моем тоже. В Авиньоне время словно останавливалось, и все равно страдания разума и плоти мучили нас. Более того: здесь я оказался вроде как на правах сироты — ибо разорвал все связи с внешним миром и приехал в Авиньон на постоянное житье. Немногие мои вещи тоже должны были вскоре прибыть, включая ящики с книгами и картинами. Недалеко то время, когда мне придется задуматься о будущем — то ли остаться и жить тут, в полной зависимости от душевного состояния Сильвии, то ли бежать куда-нибудь, оправдавшись нездоровьем? Конечно же это было бы предательством, но если человека припереть к стенке, он еще и не на такое окажется способен. Тоби не терзали никакие сомнения.

— Тебе, конечно же, надо жить в Верфеле, — твердо произнес он. — Ты не можешь бросить

Сильвию. А почему бы вам не отправиться вместе, скажем, в морское путешествие?

Увы, я не чувствовал в себе достаточно сил для чего-то подобного, ведь мне пришлось бы денно и нощно сторожить Сильвию, вечно боясь *fugue*[38] или, не дай Бог, кататонии.[39] Неужели жить тут? (И бродить в одиночестве по темным дорогам, когда наступает вечер, начинают путаться мысли, и свирепствует холодный дождь, северный, с ревом хлещущий, который заливает весь мир, — я всегда только и делал, что думал о недуге Сильвии. Месяцами напролет.)

Я заказал вино. И вот оно мерцает передо мной на солнце. Не стоило пить с утра «Тавель», но я никогда не мог устоять перед его цветом и вкусом. Верный себе Тоби прихлебывал *anisette*.[40] Этот могучий гигант действовал на меня успокаивающе. Наверное, мне было бы легче вернуться в шато, если бы он согласился поработать там пару месяцев. Может, его присутствие помогло бы мне

---

[38] Примечания: 38
Бегство *(фр.)*.

[39] Примечания: 39
Кататония — психическое расстройство, характеризующееся патологической заторможенностью.

[40] Примечания: 40
Анисовый ликер *(фр.)*.

приспособиться к новым обстоятельствам?

Итак, мы сидели и наблюдали за сценками из жизни Средиземноморья, разыгрывавшимися у нас перед глазами, и наблюдали с удовольствием, потому что они подтверждали незыблемость здешних устоев и антуража. Несколько рабочих безуспешно пытались устранить неисправность в одной из механических фигурок, отбивавших молоточком время на старинных башенных часах. Наконец две фигурки — в половину человеческого роста — дернулись пару раз и немного продвинулись вперед, чтобы двумя ударами отметить полдень — изволив сделать уступку мастерам, бранившимся по-черному, но ничего не понимавшим в устройстве часов. Жаль. В исправном состоянии эти часы замечательно украшают площадь — маленькие человечки шагают по циферблату и крошечным молотком отбивают время. Но иногда часы останавливались, и мы в третий раз наблюдали, как их чинят, правда, на сей раз безуспешно. Немного погодя, горе-мастера стали спускаться с башни и уже одолели полпути, как вдруг, словно подтрунивая над ними, фигурки прошагали требуемое пространство и без понуканий отбили полдень (или полночь). Смачно выругавшись, рабочие добродушно по-

грозили им кулаками.

Вся эта бесполезная, но уютная суетня несколько меня взбодрила. Очевидно было, что монтерам не справиться с механизмом старинных часов, и придется призвать на помощь опытного мастера. Обратно в отель мы с Тоби шли молча, поразительно умиротворенные банальной городской сценкой, холодноватым, но приветливым солнцем и хорошим вином. Я позвонил в Монфаве и поговорил с Журденом, которого приезд Тоби очень обрадовал, этого я и ожидал.

— Она часто его вспоминает и жалуется, что ее комнаты пропахли его табаком. Пусть он сегодня покурит трубку. Нет, пока никаких изменений не заметно. Что еще? Ах, да. Из морга прислали гипсовую маску Пьера, снятую то ли *médicin-légiste*,[41] то ли его помощником. Заберете, когда приедете.

Понемногу все начинало улаживаться — или мне так казалось из-за дружеского участия Тоби, из-за того, что похороны Пьера уже позади? Во всяком случае, я стал гораздо спокойнее после утра, проведенного с Тоби, после наших с ним прогулок по городу, заходов в книжные магазины и долгого разглядывания исторических реликтов.

---

[41] Примечания: 41
Медицинским экспертом *(фр.)*.

Тоби каждый раз учиняет досмотр городу, словно хочет убедиться, что все на прежнем месте, что Авиньон еще воюет за сохранение своего поэтического облика, хотя весь мир давно вырос из подобных сантиментов. Мы ходили и болтали, не замечая, как бежит время, а потом вернулись в отель, чтобы немного отдохнуть. Едва наступили сумерки, мы наняли *fiacre* и отправились в Монфаве, причем Тоби покорно курил свою вонючую трубку в виде бычьей морды и размышлял о том, что нам уготовано будущим.

Оделась она довольно небрежно — в длинную, вышедшую из моды узкую юбку и обмоталась разноцветными блестящими шарфами — эксцентрично, если угодно. Своей очевидной дезориентации во времени и пространстве она придала тропическое великолепие райской птички.

Мне стало отчаянно больно, потому что это напоминало пародию на здравый смысл. Или это был ребяческий каприз? Едва ли. Сильвия ждала нас, по крайней мере, меня — ведь Журден, наверняка, предупредил ее о нашем визите — и вот надела красный, из бархата, карнавальный *cagoule*,[42] в прорези которого, не мигая, смотрели

[42] Примечания: 42
Капюшон с прорезями для глаз *(фр.)*.

глаза, как будто сверкавшие злобой. Кто знает!

— Наконец-то! — воскликнула она. — Только не надо никаких угадываний.

Когда Сильвия махнула рукой — жалкая карикатура на властный жест, мне пришло в голову, что она похожа на доморощенную актрису, играющую в трудной пьесе. Вставая со стула, она произнесла:

— В конце концов, здесь все мое. Что хочу, то и делаю, разве не так?

Тоби с медвежьей грацией потопал к ней, бормоча на ходу:

— Ну, конечно.

И обнял бархатного зверька.

— Я узнала тебя, — сказала Сильвия, — по табаку. И тебя, Брюс, тоже узнала.

Многообещающее начало. Однако мы были настороже, вероятно, потому что не совсем поверили ей. Удивленная нашим скептицизмом, Сильвия процитировала своего брата:

— Вот и Тоби в ботинках, как лодки, и с гусарскою хваткой — держись!

Мы обрадовались: в самом деле узнала его. Мы засмеялись. Мы были в восторге. Тоби в поисках воспоминаний, которые, как проторенная тропинка, могли бы вернуть ее в реальный

мир, направился к роялю и стал одним пальцем наигрывать мелодию за мелодией. Результат превзошел все ожидания. Сильвия хохотала и хлопала в ладоши, а после, усевшись за карточный стол, разложила пасьянс. Мне тотчас припомнились зимние вечера в Верфеле. Вот Тоби возвратился с обычной прогулки под дождем, вот он устроился возле камина, и вскоре от него начинает идти пар. По другую сторону — Роб Сатклифф. Оба курят свои дьявольские трубки. Пьер прикорнул на диване — слишком много выпил за ланчем и накануне засиделся допоздна. Дождь шуршит ветками деревьев, стучится в окна, булькает в водосточных трубах. Пьер спит. Два великана, ехидничая, спорят о тамплиерах. Я обстругиваю палку. Охотничьи собаки храпят, подрагивая всем телом. Так проходит один из тех долгих вечеров, когда заточение из-за плохой погоды всем в радость. Сильвия раскладывает пасьянс. Перед ней записная книжка Роба, из которой она время от времени читает что-нибудь вслух, хотя никто не обращает на нее внимания.

— Наше «я» — это всего лишь более или менее связное представление о самом себе. Осознание собственного «я» одновременно иллюзорно и реально и совершенно необходимо для счастья,

если, конечно, необходимо самоё счастье.

Тоби, громко сморкаясь и не оборачиваясь, кричит:

— Ах этот бяка Ницше!

Примерно такую же сцену мы теперь и пытались разыграть, правда, без Пьера и Роба. Ниточка совсем тоненькая, однако, выдерживает, не рвется. Наклонив голову и изображая сосредоточенность, Сильвия прислушивается к мелодии, звучащей под пальцем Тоби.

— Помнишь Аккада? Он обычно говорил нам: «Быстрее. Быстрее. Минуты одна за другой укорачивают часы, а мы едва прикоснулись к Великой Тайне». Да, дорогой Брюс, я прилежно старалась спешить, как он велел, но потеряла опору. Мне же всегда грозила «старушка неврастения с устрашающе растопыренными пальцами». Помнишь, так говорил Пьер? А теперь Журден возомнил, будто что-то понимает, но он ничего не понимает. У медиков — всегда презумпция понимания, так уж принято.

В этом я сам давно убедился. Вскоре она поднялась из-за стола и принялась ходить по комнате, словно репетируя какую-то пьесу. Маски на ней уже не было, и глаза озорно блестели. Сделав вид, будто наливает виски с содовой в стакан,

Сильвия подала его Тоби, и он, поблагодарив ее, сделал вид, что пьет, а потом поставил стакан на крышку рояля. Закурив сигарету, — уже настоящую — она почти тотчас бросила ее в горящий камин, и этот нетерпеливый жест привлек мое внимание — на некоторых обгоревших клочках бумаги я узнал почерк Пьера.

— Ты жжешь письма Пьера? — спросил я.

Сильвия замерла, прижав руку к груди. Через миг,

словно демонстрируя нам свою полную адекватность, она вдруг упала перед камином на колени, расплакалась, потом стала вытаскивать из огня сморщившиеся листки и разглаживать их на коленях.

— Зачем я это сделала?! — кричала она. — В них нет ничего такого, что надо скрывать, совсем ничего такого!

Да уж, ничего такого в них точно не было. Я забрал у нее полусгоревшие листки и, усевшись, стал их по порядку складывать, а она вновь вернулась к своему пасьянсу. Вскоре я заметил, что записи сделаны не только рукой Пьера. Витиеватый женственный почерк Сатклиффа, тем более его замечательные чернила, не узнать было невозможно. Вырванные из блокнота странички

обычно валялись повсюду, и определить, когда какой был исписан, не взялся бы никто.

Встреча на току, сражение со смертью и любовью, как у византийского богатыря Дигениса

После забастовки на железной дороге были обнаружены странные вещи, например, гора срезанных роз на запасном пути

Интуиция не имеет памяти, она выбивается из колеи, из накатанных размышлений и логики

опять изнурительный сон со зловещими аллегорическими фигурами и еще одним «сном во сне», про соборы, в мокрых ботинках сидящие ночью в голубой воде каналов

письмо к Пиа, написанное во сне с помощью азбуки Брайля

из всего этого жуткого хаоса, Пиа, я пытаюсь сотворить новую и, возможно, последнюю мою книгу. Пол в студии устлан фрагментами этой грандиозной

когда эпоха уходит в море и рассеивается в волнах, то, что от нее остается, остается по чистой случайности; пятая часть древнегреческих драм, десятая часть елизаветинских — вот и все. Так о чем печалиться?

Дети очень милы и не страдают бахвальством, за что им надо благодарить лишь самих себя.

Язык — вещь замечательная, и без него мы как без рук, но в то же время это самое зловредное изобретение человека, оно разрушает тишину, обрывая лепестки разума. Чем дольше я живу, тем более стыжусь.

Без печали нет любви, как нет массы без гравитации.

Механизм причинно-следственной связи могуществен и математически неопровержим даже для человека с незаурядным умом.

Я читал эти фрагменты грандиозной голово-

ломки, то есть незаконченного романа Роба, страницы которого устилали пол в верфельском архиве, а Тоби продолжал безжалостно, как дятел, долбить клавиши, стараясь извлечь нужную мелодию.

— Сильвия.

Она подняла темную головку и рассеянно посмотрела на меня, все еще поглощенная картами, их завораживающими раскладами.

— Пьер сказал тебе?…

Глупо было затевать этот разговор, и Тоби недовольно поморщился. Однако она сделала вид, будто ничего не слышала. А спустя мгновение сказала:

— Он продумал все до мелочей, прежде чем решился следовать правилам. А потом всей душой устремился к этому.

— К чему, Сильвия?

Сильвия печально улыбнулась, и я понял, что она опять соскользнула с пути реального времени в солипсизм детства. Я положил бумаги на стол, и она тихо прочитала одну фразу: «В следующей жизни меня поглотит тот, чью плоть я пожирал в этой». Я даже предположить не мог, где Пьер отыскал этот афоризм для своей записной книжки, и откуда он списал четверостишие забытого

елизаветинца:

Лелеющее чрево
Росло, росло,
Чтобы в конце концов
Сыночка придушить.

Наверно, стихи поразили его, как напоминание о ее малыше, о ребенке Сильвии. Тряхнув головой, чтобы убрать с лица волосы, она спросила:

— Не забыл песню тамплиеров?

Я покачал головой, но, если честно, не понял, о чем идет речь. Тогда она запела тоненьким детским голоском «Апельсины, лимоны, святого Климента колокольные звоны». Это очень известная детская песенка, правда, я никогда не слышал о том, что ее придумали тамплиеры. А Сильвия очень серьезно, даже с важностью продолжала петь и вдобавок начала изображать то, о чем пела, как это делают дети. «Свеча — чтоб в постельку тебя проводить, топор — чтобы голову махом срубить, чик, чик, чик, чик…» Ребром ладони она словно казнила множество детишек — будто ножом гильотины. И вдруг умолкла, чего-то испугавшись, и стала глядеть в пространство или, скорее, на отражение собственных мыслей на белой стене. Потом сказала:

— Все началось в Макабру, сам знаешь. Пьер тоже знал. Макабру все изменил.

Я напряженно ждал, не откроет ли мне сегодняшнее экстравагантное свидание что-нибудь еще, но больше ничего не дождался. Вскоре явилась сиделка, толкавшая перед собой столик на колесах со скромным обедом и лекарствами. Пришел Журден, напомнил нам, что мы сегодня его гости. Он радостно поприветствовал Тоби. А Сильвия опять замолчала и ушла в себя, пойманная в ловушку непонятных нам мыслей, «в плексигласовый куб непоколебимого аутизма». Я попрощался с ней, погладил по голове, но она даже на меня не взглянула.

В кабинете Журдена, на столе, стояла обитая черным бархатом красивая шкатулка с посмертной маской Пьера, похожей и не похожей на него — словно время сыграло с его обликом такую же шутку, какую обычно играет с воспоминаниями, разрушая их. Наверное, та же мысль пришла в голову и врачу, потому что он сказал:

— Всегда кажется, будто после смерти происходит усыхание. Никак к этому не привыкну. Такое впечатление, будто человек становится меньше. Я даже взвешивал трупы, чтобы узнать, не мерещится ли мне это. Неужели индивиду-

альность тоже что-то весит? Скажем, когда с ней покончено, начинается общий разлад и распад, и первый признак — уменьшение объема плоти. На самом деле ничего такого не происходит. Это всего лишь иллюзия. Вес тела остается прежним.

Журден был прав, лицо Пьера, действительно, показалось мне опавшим, как будто похудевшим от голода. Со стуком закрыв шкатулку, Журден добавил.

— Ну, вот. Маска ваша.

Я поблагодарил его. Когда-нибудь, когда пройдет боль, первая невыносимая боль, мы конечно же будем рады, что Пьер с нами, в нашей любимой комнате, на письменном столе, в лучах солнца. Довольно долго я размышлял о двусмысленности и загадочности любви, и мне вспомнилась фраза из романа Роба — Пьер ее переписал. «В наше время слишком большая свобода разорвала тонкую паутину, которая придавала великим человеческим чувствам форму и содержание — их истинную сущность. Здоровье бушует в нас с неистовостью зубной боли, однако изысканный стиль жизни так же, как литературы, не выносит грубой вульгарности».

А что же Макабру?

Глава вторая
Макабару

Выехавшие в полдень из городских ворот трое всадников и одна всадница (такие же молодые, как их горячие длинноногие лошадки) направлялись в оазис под названием Макабру, находившийся к востоку от Александрии. Кавалькаду сопровождал старый одноглазый араб на довольно строптивом белом верблюде. Мы еще почти не знали здешних мест, но уже были околдованы чарующими небесами и многоцветьем бескрайней пустыни, то напоминавшей аккуратно уложенные кудри, то — недавно выпавший снег с четкими следами звериных лап и птичьих коготков. Короче говоря, Сильвия буквально на днях приехала к своему брату во французскую дипломатическую миссию, а я принимал нашего друга Тоби, который возвращался из Палестины в Оксфорд, вконец разочаровавшись в своих науках, связанных с изучением Библии.

— Чем больше я узнаю о нашем Спасителе, тем меньше он мне нравится. Во всяком случае, у меня нет желания принимать духовный сан.

В последнее время мы только об этом и говорили, к тому же Тоби пристрастился к виски, что само по себе ставило под вопрос его карьеру священника. В подпитии он мог наговорить что угодно и кому угодно. А если кому-то из начальства? В общем, одним из четырех всадников был именно он, — полагаю, самым неумелым, с ужасной посадкой, постоянно сползал с седла и носки держал вывернутыми наружу. Таким был наш великан Тоби — с обожженным, красным, как свекла, лицом и оттопыренными ушами, отчего казалось, будто он постоянно прислушивается к тому, о чем говорят примерно в радиусе мили от него. Очки с толстыми стеклами придавали ему задумчивый вид. Светлые волосы он обычно стриг бобриком, а когда они отрастали, то падали ему на глаза. От него пахло мылом «Лайфбой» и веяло грубоватым, но искрометным дружелюбием, которым он заражал всех окружающих. Правда, перед поездкой он немного поворчал, почуяв, что его втягивают в долгое, изнурительное и бессмысленное путешествие, но к его брюзжанию никто не отнесся серьезно, ибо, разочаровавшись в Спасителе, Тоби с энтузиазмом взялся за ереси, проповедуемые сектами, не признающими строгих канонов христианских догматов — так

что в определенном смысле он был более нас осведомлен о деятельности Аккада.

Что до Пьера, который со своей красавицей-сестрой ехал немного впереди, то его волновали не ереси, а этот необычный человек. Да, взгляды Аккада, с которым в первые месяцы *en poste*[43] Пьер встречался довольно часто на приемах, стали для него настоящим откровением. Он совершенно его очаровал.

— Мне кажется, я все понимаю, и у меня такое ощущение, будто со мной в первый раз говорят по-настоящему искренне — по крайней мере, ничего более оригинального и более правдивого мне еще не приходилось слышать. В первый раз, Брюс, я *верю,* когда мне объясняют меня самого и мой мир. И даже получаю от этого удовольствие, это похоже на чувство влюбленности.

Услышав это, Тоби застонал, а Сильвия склонилась ко мне и нежно меня поцеловала.

— Черт с вами, — буркнул Пьер, пришпоривая коня.

Пригородов как таковых в те времена не было — пустыня начиналась почти у самых ворот Александрии и с нею, естественно, влажная

---

[43] Примечания: 43
На службе *(фр.).*

изнуряющая жара, из-за которой мы исходили потом так, что мокрой была не только одежда, но и седло. Дышалось тяжело. На пути попадалось много деревушек, которые казались (а некоторые просто были) вымышленными, и их отражения висели в сыром воздухе или стелились по земле. Миражи. Абсолютно нереальные озера в окружении минаретов походили на фиолетовые острова. В конце концов мы перестали верить собственным глазам и ждали, когда возникнет что-нибудь попроще, убогая реальность, потому что настоящие деревни были в жалком состоянии, разрушенные и грязные, и в знойный полдень — почти пустые.

В одной из них проводник-араб, нагловато улыбаясь, пригласил нас следовать за ним, словно обещая приятное развлечение. Мы увидели голого старика, который был прикован цепью к врытому глубоко в землю деревянному столбу, и в первый момент подумали, что он мертв. Однако араб поддел его ногой, как какого-нибудь диковинного жучка. Старик оказался живым, но сумасшедшим. Он тотчас принялся гримасничать, мычать, хихикать, бормоча то и дело «салям» и еще что-то непонятное. Тощий, просто одни кости, он веселился без устали — благо-

словенная амнезия избавила его от печали. Нам рассказали его историю. За какую-то провинность местный паша приказал заковать его в цепи. Шло время, никто в деревне уже и не помнил, в чем провинился этот несчастный, сам старый паша успел умереть, а преступник из-за жары и жажды мало-помалу сходил с ума и теперь был постоянно и поистине безумно счастлив. Что бы ни происходило, он все принимал с радостью, неизменно пребывая в состоянии абсолютного блаженства. Наверное, потому и выжил, ибо сердобольные крестьяне приносили ему воду и еду, поначалу из жалости, но со временем возвели его в ранг святого. Им явилась истина.

Теперь старик был сыт, обихожен, и люди шли к нему, как к прорицателю. Он в самом деле стал для них святым, и после его смерти в его честь наверняка будут устраивать ежегодные празднества. Вот только освободить этого святого никто не имел права, для этого пришлось бы приложить немалые усилия и написать гору прошений, а в деревне наверняка не было ни одного юридически грамотного человека. Старик и при нас пребывал в эйфории и, не переставая что-то бормотать, целовал туфли Пьера. Песок, на котором он лежал, кишел муравьями, и бедняге негде бы-

ло укрыться от солнца. Зато вокруг громоздились многочисленные пакеты с едой, и араб-проводник, только что добродушно посмеивавшийся над соплеменником, вдруг преобразился, стал почтителен, низко ему поклонившись, схватил кувшин и отправился за свежей водой. А мы чувствовали лишь беспомощность и омерзение. Обычно, столкнувшись лицом к лицу с каким-то убогим (скажем, с покрытым язвами попрошайкой), мы откупаемся, стараясь заглушить неловкость. Но кому сейчас нужны были наши деньги и немощное сочувствие, сочувствие чистоплюев горожан? Мы едва сдержались, чтобы не устроить выволочку проводнику, решившему порадовать нас забавным спектаклем. Египет нанес нам неожиданный и болезненный удар.

Вновь оказавшись в пустыне, мы вздохнули с облегчением. Я уже говорил, что пригородов, какими окружают себя современные города, там не было и в помине. Зато повсюду в песках нам попадались полузасыпанные старые здания, разрушенные арки, бывшие дороги, оконные проемы, задумчиво вглядывавшиеся в даль, какие-то фрагменты, похожие на разбитые статуи. Таким образом мы получили хоть какое-то реальное представление о городе-мечте, грезе мальчика

Александра. Город этот, по свидетельству Плиния, простирался на пятнадцать миль, давая приют тремстам тысячам душ. Город этот прославился дворцами, банями, библиотеками, башнями и гимнасиями без числа. Однако мы, современные разборщики легендарного хлама, похоже, опоздали в эти места, задолго до нас исчерпавшие свои исторические возможности. С ноткой грусти в голосе Пьер (обожавший всякие путеводители) читал в Мюррее преамбулу к описанию города. «Александрия расположена на 31°13 5" северной широты и 27°35 30" долготы[44] недалеко от озера Мареотис на перешейке, соединяющем *terra firma*[45] и полуостров, с двумя портами».

Повторявшиеся исторические землетрясения сносили памятники, не единожды разрушали город до основания, и во времена французского правления здешнее население составляло не более восьми тысяч человек. Однако вливание свежей крови и долгая мировая война позволили Александрии до некоторой степени вернуть себе утерянное величие, и в нашу эпоху ее центр вновь пестрит виллами и садами в стиле французской

---

[44] Примечания: 44
Восточной долготы (в оригинале пропуск).

[45] Примечания: 45
Материк (твердая земля — *лат.).*

Ривьеры вперемежку с тенистыми площадями, музеями, банками и галереями. Разросшийся арабский квартал почти такой же колоритный и живописный, как в Каире, да и борделей стало гораздо больше, ведь порт постоянно принимает иностранные военные корабли. Однако от прошлого ничего не сохранилось, и из-за этого город много потерял. Повернувшись чуть влево, в сторону пенистого прибоя, при желании можно было представить в полдневном мареве полки Александра, проходящие мимо почти в полном безмолвии, нарушаемом лишь руганью проводников и забавным шарканьем верблюдов по песку.

— И все же, — насколько мне помнится, — сказал Пьер, — и все же, внешние приметы того мира никуда не делись — пальмы, водяные колеса, дервиши, лошадки. И они будут всегда!

— А также миражи, — со стоном добавил Тоби, — и оазисы.

— Говорят, Александра объявили Богом не в Сиве,[46] а в Макабру; вот почему меня обрадовало приглашение Аккада.

---

[46] Примечания: 46

Сива — самый западный из оазисов ливийской пустыни, расположен на территории. Египта. Святилище Амона, существовавшее там со времен Геродота, посещал Александр Великий.

— Как романтично, — сказала Сильвия.

— Не ехидничай, — умоляюще произнес Пьер, мягко сжав ее запястье. — Неужели ты не понимаешь, какая замечательная вещь история? Неужели тебя не волнует незримое присутствие людей, чьи деяния и мысли словно растворены в здешнем воздухе? Ни за что не поверю, что глядя на дельту Нила, ты не вспоминаешь про бедного Евклида, который, скорее всего, служил клерком в Министерстве водных путей сообщения. До чего же тоскливой была, наверно, его жизнь. Какой длинной гипотенузой казалось все несчастному чиновнику, даже любовь, ведь он был отцом семейства и имел девятерых отпрысков, равнобедренных…

— Хватит, Пьер!

Понемногу неизбежное движение времени прогнало страшную жару, краски стали по-вечернему гаснуть; на фоне тускнеющего неба предметы стали походить на силуэты стражников. Наверное, на Ниле это смотрится особо эффектно — когда фелуки, расправив крылья парусов, устремляются на юг, во тьму! Нам же оставалось довольствоваться только частью неба, нависшей над сине-коричневым морем.

— Еще одно устье, выблевывающее наносную

мерзость, — сказал Тоби.

И Пьер сухо проговорил:

— Здесь было семь устий и стояло семь городов. А теперь даже праха от руин…

Их полностью засыпало или снесло в море. Своевольные волны бились о пустынный берег, и мне слышались то зловещий барабан, то печальный фагот. В песке было много ракушек и мертвых крабов, и по цвету он напоминал грязную пудру. Наши лошади вязли в нем, и чтобы пустить их в галоп, пришлось отыскать утоптанную — в полмили — полосу возле самого моря. Здесь, по крайней мере, мы могли им довериться. Сильный ветер не сдувал разве что улыбку с наших лиц. Толстые пальцы накатывающей волны отмывали прибрежный песок и с шумом катали гальку. Горе пловцу в здешних местах! Мы обогнали высохшего старика на муле. Похоже, он был в полузабытьи от усталости, однако прокаркал приветствие проводнику, пробудив в нашем арабе желание поговорить; он подъехал к нам на своем медлительном верблюде.

— Совсем старик. В Скандерии редко таких встретишь. Египтяне умирают молодыми.

Его замечание соответствовало действительности, но, к сожалению, он не стал его коммен-

тировать, любопытно было бы послушать, кого или что он винит в этом — климат, еду или злых джиннов. Я предполагал, что джиннов, потому что уже слышал этот вариант.

Берег стал твердым, каменистым. Неожиданно мы наткнулись на почти целиком засыпанные руины солидного некрополя, но так как на карте Пьера они не значились, то мы ничего о них не узнали, разве что там, возможно, когда-то был карьер, который спускался к морю, как амфитеатр. Тоби высказался за гипогеум,[47] но, подозреваю, ему просто нравилось это слово, а смысла его он толком не понимал, по крайней мере, не больше меня самого. Развернутый на север, некрополь заполнялся водой и пеной через щели, которые проделал ветер. Многочисленные внутренние коридоры, теперь открытые небу, лучами расходились от центральной площадки. Летучие мыши с писком взмывали в ответ на эхо от стука брошенных нами камешков — с их помощью мы хотели определить глубину провала. Однако у нас не было времени на подобные развлечения, да и проводник начал ворчать, мол, до Макабру еще ехать и ехать. К тому же, нам еще предстояла

[47] Примечания: 47
Подземная зала или пещера.

переправа через реку, и это с тремя своевольными лошадьми и белым строптивым верблюдом — даже я знал, что с верблюдами шутки плохи, и разозлившись, они могут укусить.

Подъехав к устью неширокой, но бурной реки, мы развернулись и двинулись вдоль русла, теперь уверенные в том, что найдем переправу, единственную связь с другим берегом и целью нашего путешествия — маленьким оазисом.

По мере нашего продвижения пейзаж менялся. Каноп, пустынный город, когда-то выросший вокруг гробницы Менелая, остался далеко позади, а впереди на много миль простирались безжизненные пески, слепяще мерцавшие на солнце, и над ними, время от времени, стремительно пролетали стайки ласточек. Одолевая песок, которой ветер кое-где собрал в высокие курганы, а кое-где разровнял, наподобие широких матрасов, наши лошадки вновь стали проваливаться чуть ли не на фут. Ну а там, где в песок проникла вода и получилась черная жижа, мы застревали надолго. Небо изменилось. Теперь его покрывали свинцово-черные тучи, явившие нам настоящие зимние краски. Не стихавший ветер стал холоднее и давил на барабанные перепонки. В сумерках пустыня казалась враждебной. Невозможно опи-

сать, какой она была мрачной.

Однако мы продолжали путь и незадолго до темноты оказались на небольшом мысе с маленькой жалкой пристанью, едва удерживавшейся на краю неистового потока. В этом месте река была довольно широкой, мы даже поначалу всерьез засомневались, что нам удастся одолеть ее. Изредка в завывания ветра врывались клацанье стремян, далекие пронзительные вопли чаек, скрежещущие крики цапель. Уже наступала ночь. Ни на нашем, ни на другом берегу перевозчик не объявлялся. Пока мы обсуждали, что делать дальше, из своих нор, желая поприветствовать нас, выползли, перепугав коней, крабы. Проводника обуяла злоба от собственного бессилия. Ветер относил наши крики в сторону, и нам никто не отвечал. Совсем уже обезумев от отчаянья, мы никак не могли смириться с тем, что наша надежда посетить оазис была напрасной, но изменить чудовищное положение, в котором оказались, тоже не могли — равно как и настроение. Неожиданно мне пришло в голову выстрелить из револьвера. Как ни странно, это сработало; густая тьма отреагировала, и очень скоро послышался человеческий голос. О радость! Паром — во всей своей красе — огибал небольшую песчаную косу

и, покачиваясь, приближался к нам. Хотя погрузка была нелегкой, лошади и верблюд вели себя на редкость благонравно.

После переправы еще одна деревня — и мы опять в песках и во мраке. Смотреть там не на что, кроме как на бесконечные барханы, но и их едва видно. Зато небо очистилось. Мы спросили араба, умеет ли он ориентироваться по звездам, но он нас не понял, правда, направление выбрал, не раздумывая. Я все-таки достал компас, чтобы проверить, не водит ли он нас по кругу и не повернул ли случайно к реке. Но нет. Дорогу он определенно знал, и это меня несколько утешило.

Примерно после часа езды то вверх, то вниз по песчаным барханам мы вдруг заметили, что небо с восточной стороны посветлело, как будто солнце вознамерилось в неурочный час выйти из-за горизонта. Видимость стала лучше. Появилось нежное фосфоресцирующее сияние. Очень скоро выяснилось, что это просто всходила луна, и ее первые лучи пробивались сквозь перистые облака. Мрак рассеялся, зато изрядно похолодало. Ветер оставил нас в покое, и теперь мы переглядывались со звездами, которые начали появляться на черном ковре небес. Едва слышно урча мотором — гораздо тише, чем обыкновен-

ный автобус, — легкий самолет, сверкая огнями, медленно пролетел над нами, неторопливо повернул на восток и начал снижаться. Проводник издал ликующий вопль, так как самолет принадлежал Аккаду и, по-видимому, привез к нему гостей, совершив посадку на отличную посадочную полосу вблизи оазиса, сотворенную самой природой. Аккад и нам предлагал добраться самолетом, но мы были молоды и романтичны, мы отказались, предпочтя поездку верхом. И не жалели об этом. А теперь, убедившись, что едем правильно, тут же воспряли духом.

Сами того не замечая, мы стали продвигаться быстрее, даже лошади учуяли наше нетерпение и ускорили шаг. А когда с трудом взобрались на очень уж огромный бархан, то были вознаграждены: мягкий немигающий свет виднелся там, впереди. Теплое розовое сияние растекалось от его источника во все стороны, суля нечто устойчивое и стабильное посреди безбрежных песков — и близость цели. Улыбаясь друг другу в темноте (это чувствовалось по голосам и шуткам), мы торопливо одолевали пески.

Макабру был всего лишь тенью, которой лишь на рассвете предстояло разделиться на предметы и плоскости; но в те минуты мы осознавали одно

— он уже не пустыня. Словно бы паря на краю теплого света, он хранил свои красоты для восходящей луны. Однако стоило нам приблизиться, свет распался на множество отдельных огоньков; мы увидели нечто вроде лагеря, разбитого в песках — бивуака некой мощной армии. Все казалось неясным и ненадежным в темноте — расстояния, объемы, углы, предметы. Вблизи Макабру не очень отличался от других крупных арабских поселений, разве что был поярче освещен. Когда мы подъехали к нему почти вплотную, то разглядели изящный тюльпан минарета и блестевший, как зеркало, водоем, то ли озеро, то ли рукав реки, через которую нам пришлось недавно перебираться. Едва мы придержали лошадей возле ближайшего источника света — костра из соломы — как тотчас рядом возник всадник на огромной черной кобыле.

— Сенешаль, — сказал Пьер, до глубины души очарованный не только самим словом, но и средневековым обычаем так встречать гостей.

Я знал, что он думает о крестоносцах — о том, часто ли им доводилось испытывать на себе мусульманское гостеприимство. Высокий поджарый бородач с орлиным носом, спросив по-арабски, кто мы такие, перешел на чистейший

французский язык, — как только мы назвали себя и из вежливости сняли легкие, но довольно громоздкие арабские бурнусы, которые душили нас в жару, но теперь нам не хотелось с ними расставаться, так как вечером сильно похолодало. Не теряя даром времени, посланец развернул свою пританцовывающую лошадь и пригласил нас следовать за ним в освещенный город. Мы уже знали, что нам предстояло увидеть, Аккад все рассказал заранее, и подробно.

Гробницы людей, признанных святыми при жизни или канонизированных после смерти и удостоенных ежегодных праздников, встречаются не только в городах или больших деревнях. Частенько захоронения находятся в безлюдных местах, но рядом обязательно бьет родник и растет пальма, так что дервиш, совершив ритуальное омовение, может помолиться и помедитировать в тени, а обыкновенный путешественник — утолить жажду и насладиться прохладой. Скромно, с усыпальницы и источника, начинался Макабру — однако это был настоящий оазис с довольно большим и кристально прозрачным озером, в котором днем и ночью отражались облака. Высокие заросли тростника окружали священный водоем.

Над могилой святого выросла небольшая квадратная часовня, увенчанная куполом с очень красивой резьбой. Снаружи расположился великолепный мраморный фонтан филигранной работы, сооруженный на деньги местного паши, позаботившегося и о том, чтобы три мрачных благочестивых дервиша постоянно творили тут религиозные обряды. Как же хорошо он был нам потом знаком, этот совершенно особый аромат — едва ощутимый запах пыли и солоноватой воды на промытых камнях; как досконально мы изучили необычные, приводящие в смятение храмы без алтаря, вообще без какой-либо особой святыни, если не считать священные хоругви с благословениями мусульманского Бога. И обязательно повсюду — коврики, кувшины с водой и расписные сундуки для пожертвований от заезжих путешественников. Раз в году оазис оживал, вспоминая своего святого. Вокруг пальмовой рощи, где привязывали верблюдов, раскидывался базар, и от него в разные стороны расходились так называемые улицы. Наскоро копали в песке необходимые стоки, кое-где опробованные загодя водой. Временная электрическая сеть с мириадами разноцветных лампочек опутывала улицы и закоулки, уставленные лотками с пестрыми

навесами. Чего только здесь не было! С годами ярмарка *(mulid)* утратила свой сугубо религиозный смысл. Впервые оказавшись в Макабру, мы, естественно, не могли сходу все разглядеть, завороженные кипящей жизнью базара, где ни на минуту не прекращалась шумная торговля, и этой восхитительной иллюминацией: разноцветные гирлянды были протянуты к центральному храму, очевидно, чтобы подчеркнуть его особую значимость. Сквозь вопли на базаре и крики мулов и лошадей в рощах возле озера пробивался праздничный стук маленького барабана и писк флейт. Некоторые палатки были сооружены из досок или тонких прутьев, но чаще это были обыкновенные лотки с навесами из грязных и рваных тряпок. Пройдя через эту недолговечную деревню (которая ежегодно всего на три дня появлялась в пустыне), мы увидели полосатый шатер со столбами возле входа, привязали к ним лошадей. Выяснив, что Аккад еще не приехал, мы даже обрадовались, ибо можно было снова отправиться на базар, который был нам тогда в диковинку и произвел невероятное впечатление.

Он потрясал своим великолепием, но нас восхищали не только сами палатки, где были и засахаренные фрукты, и медная посуда, и верблю-

жья упряжь, и календари, и прочее, и прочее… но и то, что продуктовые ряды были устроены не хуже, чем на больших базарах Александрии — откуда, думаю, по воде или по суше были доставлены многие товары. В те годы холодильников еще не было — разве что примитивные громоздкие ящики со льдом, которые не так-то легко было перевозить. Поэтому все съестное тщательно укладывали в большие мешки со льдом, а везли их верблюды. Предприятие поистине под стать подвигу Геракла. И как только караван оказывался в Макабру, корзины с бутылками спешно опускали в колодец или несли в озеро — чтобы не нагревались. На базаре продавали мясо на любой вкус, фрукты и свежие, и сушеные, овощи, зелень, домашнюю птицу, дичь, рыбу самую разную, вкуснейший хлеб, молоко и свежие яйца. В округе почти ничего из этого никогда не водилось и не росло, то есть практически все товары наверняка привозили из Розетты,[48] Александрии, из деревень в Нижнем Египте. Мы молча бродили между рядами, в упоительном трансе от обилия красок, запахов, звуков. Чуть ли не на каждом шагу торговали приготовленной

[48] Примечания: 48
Розетта — город в западном устье Нила.

тут же едой; на дешевые украшения можно было выменять что угодно. Вскоре мы наткнулись на некое подобие песчаного ринга, на котором крестьяне фехтовали железными палками — в шутку, смеясь, изображали что-то вроде тренировочного боя с воображаемым противником, довольно неуклюже двигаясь под музыку, очень похожие на пляшущих медведей. Судя по количеству зрителей, эта забава пользовалось успехом. Музыку поставляли кавалеры не слишком благочестивых дам, которые по-своему праздновали день здешнего святого. Грубо размалеванные, с воткнутыми в волосы перьями и украшенные ожерельями из лука и чеснока, они глазели на поединки, сидя на лошадях. Хозяин труппы, клоун с набеленным лицом, на плече у которого вертелась непоседливая обезьянка в нарядной шляпке, сидел задом наперед на муле. Воплощение придворного шута эпохи Средневековья. Его двусмысленные остроты вызывали хохот толпы.

Мы так увлеклись великолепным спектаклем, что не сразу заметили Аккада, а он, улыбаясь, переходил вместе с нами с места на место; правда, на нем вместо европейской городской одежды

была изрядно поношенная, штопаная абба[49] и мягкая феска. Он мог быть и таким, этот вызывающий всеобщее любопытство торговец-банкир, который чувствовал себя, как дома, в четырех столицах и свободно изъяснялся на четырех языках. Я не разделял беззаветного восхищения Пьера, но и мне самому Аккад казался на удивление самобытным и обаятельным человеком, в его весьма неординарном поведении и речах всегда читался намек на некую известную ему глубинную тайну. Казалось, что прежде чем заговорить, ему приходится выходить из транса или прерывать медитацию. Довольно часто его высказывания были отрывочными и бессвязными, а многое я совсем не понимал — или мне теперь так кажется? Его внешность тоже была не совсем обычной: иногда он производил впечатление человека массивного и тучного, а иногда выглядел, как худой аскет. Мне приходилось видеть, как он, со щетиной на подбородке и с неряшливо зачесанными волосами, ехал по городу в своих неизменных черных очках — ну просто вылитый толстый вялый паша, погрязший в богатстве, как турок. А потом в его городском доме, украшенном

[49] Примечания: 49
Абба — традиционная арабская верхняя одежда (без рукавов).

статуями и фонтанами, и внутренним двориком, который соединялся арками с тенистыми и тихими садами Музея, я видел другого Аккада, так сказать, его коктейльную версию. Элегантного господина, одетого лондонскими портными, с бутоньеркой и шелковым носовым платком, засунутым в рукав, словно платок факира, полный разных чудес. В доме он тоже был в очках, но его лицо как будто становилось уже, несколько похожим на козлиную морду, а волосы казались более тонкими и редкими. Конечно, случалось, что он отказывался от своих причуд и, беседуя, снимал очки — тогда все ваше внимание переключалось на его бездонные глаза, зеленые, как море, и внушавшие тревогу. Кстати, он немного косил, отчего смятение его собеседника усиливалось — неприятно, когда смотрят сквозь тебя или мимо тебя. Порфирородный Аккад!

— Я знаю, что ты чувствуешь, — как-то раз сказал Пьер после долгого глубокомысленного молчания. — Ты считаешь Аккада слишком прямолинейным, он не очень тебя убеждает, и поэтому ты настороже. Но его глаза, Брюс!

— Да.

— Его ум!

— Ты говоришь, как школьник.

Вообще-то спорить не было смысла, ведь я всегда честно признавал, что мне не по зубам многие из странных «толкований» Аккада, и даже позднее, когда я прочитал кое-что на досуге, я видел и не видел, соглашался и не соглашался… Ведь его «проповеди» записывались и распечатывались для отсутствующих членов секты. В авиньонском номере Пьера они лежали кучей, но я не забыл, как в давние времена слышал некоторые из первых уст. Что же касается Пьера, то Сабина однажды сказала о нем:

— Жалко его. Он жаждет веры, и ему можно всучить все, что угодно.

Бедняга Пьер был глубоко задет ее словами — и моими тоже.

Польщенный нашим восхищением, Аккад не захотел нас покинуть, хотя его заждались гости.

— Они простят мне небольшое опоздание. Ну идем же. Мне хочется показать вам, что у нас тут есть.

И он своим мелодичным голосом принялся подробно рассказывать обо всем, что мы видели, с беспредельной нежностью к красочной экзотике, свойственной его родине. Собственно сам осмотр занял мало времени, но Аккад то и дело останавливался, чтобы поприветствовать

приятеля или выслушать изложенную шепотом жалобу и пообещать помочь несчастному, посему прошло около часа, когда мы подошли к последнему продавцу воды, надо думать, тоже большому оригиналу. Денег он не брал и поил всех за счет некоего богача, побывавшего в Мекке и прославившегося своим милосердием. Из перекинутого через плечо черного потертого бурдюка он налил нам воды в золоченую чашу, которую мы по очереди пригубили, после чего поднес к лицу каждого из нас зеркало, напоминая нам о бренности жизни и неотвратимости смерти. Престарелый шейх, участвовавший вместе с нами в этом обряде, почтительно вручил продавцу монету и велел попрыскать благоуханной водой на свое лицо и на бороду. Наконец наша затянувшаяся прогулка подошла к концу, и мы вновь оказались среди плавно покачивающихся кипарисов и финиковых пальм, листья которых потрескивали от ветра. Вновь мы были рядом с великолепным шатром, огромнейшим, не меньше полковой столовой, хотя народу в нем было не так уж много.

По-моему, внутри находилось человек двадцать-тридцать, не больше, представители всех рас с самыми разными цветами и оттенками

кожи. Две прелестные китаянки, несколько пожилых турчанок, горстка скромно одетых белых мужчин, похожих на университетских преподавателей, ведущих неосновные дисциплины, или на почтовых клерков. Кое с кем мы уже успели познакомиться, например, с актером-трагиком Казимиром Авой, обладателем бледного и очень гладкого (совсем как у евнуха) лица и любителя заученных поз. Главным спектаклем в своей жизни он считал искусно срежессированное самоубийство, и все, что он читал и говорил, так или иначе имело к этому отношение и оказывало влияние на настроение и даже на внешний облик. С первого взгляда становилось ясно, как именно он закончит свои дни, можно было даже не заглядывать в его глубоко посаженные, полные фанатичного огня глаза. Вылитый Вертер. Титул «продолжатель рода» он решил сменить на «завершивший род»! Но тогда я этого не знал; а Пьер почти ничего не рассказывал мне про свои долгие беседы с Аккадом.

Среди гостей были дочь посла Анна Данбар, великий хирург Анджело Томаззо, ювелир Спиро Харари, полицейский Жан Макаро, Лютер Фокс из военной миссии, банкир Ахмед Османли. Лица остальных мне ничего не говорили, но потом

мы познакомились и с этими людьми, довольно близко. Атмосфера была приятной и расслабляющей — этакая светская вечеринка посреди пустыни; приглушенный свет, невозмутимые нубийцы в белых перчатках, бесшумно разносившие напитки… все было очень мило.

Никому бы и в голову не пришло, что собравшиеся — представители неких сообществ, религиозных или политических. Просто люди встретились, чтобы повеселиться. Говорили обо всем на свете и довольно откровенно. Знакомились, ведь многие видели друг друга впервые — по крайней мере, так мне показалось. Добродушные шутки и тихий смех порхали по просторному шатру, кружились над чуть скошенными тенями от великолепных канделябров, падавшими на белоснежную скатерть, коей был накрыт поставленный в середке стол. Ночь пахла жасмином и горячим воском. Песчаный пол был устлан толстыми роскошными коврами, которые защищали нас от ночной сырости. На буфете выстроились в ожидании изысканные горячие и холодные кушанья — приготовленные по лучшим рецептам Египта. Утонченная роскошь и безукоризненная организованность этого пиршества в столь далеком от цивилизации уголке неизбежно наводили

на скептические размышления. Откушав, гости плавно перешли к винам, а потом к кофе и сигарам, явно не собираясь затрагивать хоть какие-то нетривиальные темы. Сам я, хоть и был растроган восторженным пылом Пьера, уже сожалел о том, что, судя по всему, так ничего и не узнаю про тайную деятельность собравшихся в шатре людей. Почему-то я не особо верил в существование радикальных сект, таких как эта секта гностиков, и старался не поддаваться ложной романтичности. В Египте с поразительной легкостью можно попасться на удочку местного фольклора — и мой друг, видимо, не избежал этой участи.

— Ах, Пьер, — сказал я, заметив, что он весь побледнел от напряженного ожидания. — Боюсь, тебе надо приготовиться к очередному разочарованию.

Пьер вцепился мне в руку и замотал головой, полный восторженного предвкушения, не сводя горящих глаз с Аккада, куда бы тот ни направлялся. Сильнее всего я любил его таким, каким он был тогда — его взгляд напоминал мне о Сильвии, стоило ему загореться юношеским, почти мстительным огнем — под натиском чувств.

— Погоди ты, — произнес он умоляюще. — Сюда опять идет Сабина.

Аккад сосредоточенно беседовал с высоким мужчиной в мундире.

С несколько плебейской надменностью (возможно, такой вид ей придавал ее псевдо-цыганский наряд) Сабина отделилась от группы гостей и стала медленно приближаться к нам. В Каир она явилась с караваном из Туниса. Выкрашенные хной волосы и ладони, взгляд туманный, как будто ничего не видящий — из-за белладонны и плохо наложенной туши. Босая, с грязными ногами и неухоженными ногтями, Сабина как будто получала удовольствие от брезгливости окружающих. Иначе с какой стати было являться на званый обед в таком нелепом виде? Мне показалось, что она погрузнела, растолстела, но, возможно, все дело было в подбитых ватой нижних юбках. Как бы то ни было, она была очень похожа на коварную цыганку из восточных сказок, и бокал с шампанским у нее в руке выглядел почти карикатурно. Поочередно улыбнувшись нам обоим, она спросила:

— Тоби с вами? Он сказал, что приедет.

Я махнул рукой в сторону, где должен был находиться Тоби, и она пошла прочь, нетерпеливо качнув как будто вырезанной из черного камня головой. Сабина никогда мне не нравилась, и

Пьер, знавший об этом, с лукавой иронией смотрел, как я провожаю ее взглядом.

— Ну скажи, — произнес он в конце концов. — Нечего отмалчиваться.

Я вздохнул, потому что был пойман с поличным.

— Хорошо. Слушай. Теперь, когда я познакомился с ней поближе, меня раздражает ее претенциозность — она все время тычет нам в нос своим распутством.

— Проповедник из пустыни, — нежно, но явно подтрунивая, произнес Пьер. — Продолжай, душа моя.

Я почувствовал, что должен как-то обосновать раздражение, которое вызывала у меня Сабина.

— Не мне одному она действует на нервы. Спроси еврейских торговцев из ее каравана.

Пьер кивнул, но довольно равнодушно.

— Кроме того, — продолжал я, — она пришла ко мне на прием, и оказалось, что от сифилиса ее лечил травами погонщик верблюдов.

— Почему бы нет?

— Ты сам отлично знаешь, почему. Это пустая трата времени.

По правде говоря, в неистовство меня привело ее полное безразличие к своему здоровью. Или

это из-за Тоби? Как бы то ни было, я выложил ей все, что знал, и попросил Аккада направить ее к специалисту. Пребывая в полном упоении от своих научных познаний, я тогда не понимал, что догматическая теология от науки сама по себе — некая разновидность фольклора, и даже самые замечательные лекарства иногда не срабатывают. Но молодость стремится к абсолюту. Не сводя взгляда с черноволосой головы, пока ее обладательница искала моего друга, я продолжал жаловаться Пьеру:

— Она же не вылечилась, и тем не менее утащила Тоби на неделю в Файюм.

— Ты слишком к ней строг, — отозвался Пьер, — просто ты далеко не все о ней знаешь. Я спросил, что она думает о Робе Сатклиффе и почему не вышла за него, а она ответила: «Я всегда считала, что любовь должна быть единственной и властной, поэтому у меня не хватало духа ею рисковать». Потом я спросил, не вызывают ли у нее сомнений наши отношения, и она сказала, что вызывают. «Вы какие-то нереальные, словно выдумали и себя, и свою любовь по-собачьи, *amour à quatre*

pattes.[50] Обыкновенный *ménage à trois*,[51] только несколько модифицированный. Признаюсь, мне было больно это слышать, но она продолжала: «Но, в общем-то, любовь не нуждается в расшифровке».

— Неправда. Нуждается. Она, как закодированное послание, или как загадка, ответ на которую всегда имеет двоякий смысл, как дельфийские пророчества. Кстати, с чего ты взял, будто я тогда не ревновал?

Тоби сообщил, что Роб Сатклифф собирается написать о нас роман, и, помнится, я еще подумал: интересно, какой он вынесет нам приговор, если учесть, как все перевернулось, пока он был в Вене. Моя сестра довольно долго и безуспешно лечилась там с помощью психоанализа — и этого оказалось достаточно, чтобы Роб перенял немного соответствующего жаргона и сделал жизнь окружающих еще мучительней, изображая наглого всезнайку перед приверженцами старика Фрейда. Малограмотность — опасная штука, к тому же кое-какие сведения о таинствах сексуальной жизни позволили ему изобрести что-то

---

[50] Примечания: 50
Любовь на четвереньках *(фр.)*.

[51] Примечания: 51
Любовный треугольник *(фр.)*.

вроде оправдания собственной врожденной жесткости. Позднее, когда любовь безжалостно покинула его и он оказался в беде (что было сущим наказанием для всех нас), этот страдалец нашел прибежище в смехе и цинизме, далеких от его истинной природы — тщательно скрываемой. Наконец-то он понял, любовь — не единственная суть его естества, что нельзя проецировать испытываемое тобой чувство на другого человека, вернее, на его образ, ибо это, по большому счету, акт самообмана.

В неверном свете подтаявшей свечи я видел то ли насмешку, то ли раздражение во взгляде Сабины, в нем была непостижимая для нас умудренность. Эта сумасбродка была старше нас, не годами, но знанием и пониманием жизни. Странствия и приключения выковывали ее личность, пока мы топтались перед порогом эмоциональной зрелости. Наверное, я тогда искал прилагательное от слова «сфинкс» — ибо думал о зловещей улыбке античных микенских женщин. Неожиданно взмахнув рукой, словно что-то от себя отгоняя, от чего-то отрешаясь, она завернулась в шаль и пожала сильными плечами. Потом наклонилась, неловко поцеловала Сильвию в щеку и застенчиво улыбнулась ей. Я

сразу почувствовал обаяние этой мужественной храброй девушки, нарядившейся в маскарадный костюм, и притягательную прелесть ее пылкого и ясного ума. И я наконец разглядел в ней то, что сумел увидеть Сатклифф. Гораздо позднее я соизволил «признать» Сабину, когда понял, что это единственный среди моих знакомых человек, решившийся отказаться от посредников в своей духовной жизни, то есть от здравого смысла или общепринятых условностей. Ради того, чтобы по-настоящему проникнуть в суть вещей. В этом и был заключен секрет ее храбрости — того, что делало ее столь *outré*,[52] столь необычной, столь непохожей на других. Недалекие люди считали ее слишком простодушной или попросту грубой, когда она искренне не замечала придуманных ими границ так называемого приличного поведения. Это свойство было сродни дальтонизму или музыкальной глухоте. Стоило это понять, и ей тотчас начинали делать поблажки и воспринимать ее совсем иначе. Но подобная терпимость давалась нелегко. Например, сегодня, когда она так вырядилась… А один раз она вышла наружу и высморкалась исключительно с помощью паль-

[52] Примечания: 52
Выше других *(фр.)*.

цев, к неописуемому ужасу слуг. Однако Аккад любил ее, Аккад принимал ее такой, какой она была. Однажды я видел, как они шли навстречу друг другу, вытянув перед собой руки, словно антенны, а потом, нежно вздохнув и счастливо улыбаясь, соединили пальцы, будто были любовниками — а они ими не были. И все же он любил ее, потому что ей не требовалось ничего объяснять, растолковывать. По крайней мере, именно эта причина читалась на его лице. А Сабина в его присутствии словно бы становилась моложе и стеснительней, не такой напористой и более робкой. Своим кротким видом она как будто говорила: «Он все знает и все понимает — но самое главное, он осознает, что это неважно. Его не надо ни о чем просить и не надо ни в чем убеждать».

Пьер следил за моим взглядом и читал все эти мои мысли, но мере того как они приходили мне в голову.

— Думаю, ты завидуешь ей, — с насмешкой произнес он, — потому что она любит а *tous les quatre vents*,[53] не приписывая этому абсолютной ценности, тогда как мы трое в полном подчинении у безрассудной страсти и никуда не можем от

[53] Примечания: 53
Вольно, — букв.: на четырех ветрах *(фр.)*.

нее деться. До чего странно терять вкус к другим людям — как будто теряешь способность обонять. Почему в английском языке нет для этого слова? У нас есть глухие и слепые, но как объяснить потерю чувствительности к запаху… или другую, подобную же потерю?

К нам медленно приближался Аккад. В его движениях я уловил смутную целеустремленность и не ошибся, потому что одной рукой он мягко взял Пьера за локоть, а другую положил мне на плечо.

— Скоро, — проговорил он, увлекая нас за собой, — мы пригласим вас в святилище старого Абу Менуфа. Там будет что-то вроде церковной службы — или чтения псалмов. Я буду комментировать тексты, давать объяснение. Если вам станет скучно, не стесняйтесь, уходите. Никто не обидится. Мы ведь понимаем, что вы наши потенциальные соратники, но пока еще не решили, присоединяться к нам или не стоит. Не вы одни такие, поэтому будьте самими собой. Наше действо не более мучительное, чем традиционные лекции о Коране, которые читает почтенный старый шейх в Каире, однако смысл, конечно же, еретический со всех точек зрения. — Он беззвучно засмеялся и с несколько нарочитой

беспомощностью махнул рукой. — А что делать? Склоняться перед великой ложью и принимать законы того, кого мы называем Князем Тьмы?

Тон Аккада вызывал в памяти скорее рассуждение биржевого маклера, чем проповедь фанатика, а он продолжал, понизив голос:

— Нас не волнуют легкие компромиссы ради достижения счастья — мы стараемся проникнуть гораздо глубже. Стоит понять правду так, как мы ее понимаем, и она вас больше не отпустит. Вы будете окружены, отрезаны, навсегда отделены от прошлой жизни, вы утонете, вы канете, вы погрязнете.

Его голос звучал по-прежнему насмешливо, иронично, с этакой вялой растяжечкой, но взгляд серо-зеленых глаз был очень живым и напряженным. Мне же отсутствие четких целей и явное нежелание что-либо провидеть и пророчить внушали дурные предчувствия. Я был юным и — не меньше, чем мой друг, — мечтал, чтобы меня оглушили, вырвали из привычного мира. Меня не удовлетворяли простая логика и теологическая неопределенность. Но раз мы сами хотели, чтобы Аккад в чем-то нас убедил, спрашивается, почему бы ему было не воспользоваться каким-нибудь рациональным доводом? Романтические

бредни? Да. Мы имели право на романтизм. Мы мечтали об абсолютной убежденности в истине, которую ни при каких обстоятельствах нельзя подвергнуть сомнению. Аккад стоял перед нами в ношеной-переношеной аббе — той самой, которую он надевал, когда писал свои выразительные акварели, — и улыбался, торжествующе и мечтательно. Нет, эта улыбка не сулила никаких сногсшибательных откровений — по крайней мере, так мне казалось. Поставить под сомнение всю сумму человеческих знаний было по силам только пророку гнева, поэту гнева, только он мог подняться над стремнинами рек и перенести нас в другую страну, которая, судя по утверждению нашего друга, готова была нас принять. Что-то — сомнения, колебания — наверное, читались на наших лицах, потому что Аккад умолк и, немного помедлив, принял более торжественный вид. Потом посмотрел на свои изящные часы и подал едва заметный знак мажордому, тому самому высокому арабу с аристократической внешностью, который встречал нас возле костра, картинно восседая на черной лошади. Слуги начали неторопливо вносить шелковые молитвенные коврики и маленькие подушки — в основном, зеленого цвета. Мы взяли по коврику,

приготовившись покинуть шатер и перейти в святилище. Но желающих туда отправиться оказалось гораздо меньше, чем я предполагал — примерно треть гостей не состояла в секте и понятия не имела о тайном бдении в святилище Абу Менуфа. В общем, мы действительно угодили на тривиальную праздничную вечеринку, куда Аккад привел и членов своей немногочисленной секты. Нам было предложено сделать, так сказать, перерыв в ярмарочных празднествах, бурливших как внутри, так и за пределами нашего великолепного шатра. Итак, не нарушая общего веселья, мы поочередно направились к выходу, где у двери ждал Аккад, чтобы нас проводить. Яркая луна лила свой размытый свет на озеро и на высокий, черный, как чернила, или белый, как ртуть, тростник (в зависимости от освещения), который рос словно бы прямо из собственного отражения, а не из глинистого берега. Песок был похож на снег. Озеро казалось гладким, как зеркальное стекло, если не считать пары царапин на его сияющей поверхности, оставленных мятежными насекомыми, и мелких морщин ближе к берегу. На небе не было ни облачка — взошедшая луна походила на ягненка, ищущего мать. Как только мы вышли за пределы пальмовых посадок, пахну-

ло холодом пустыни. Мы двигались к святилищу. Его окна, заклеенные раскрашенной вощеной бумагой, слабо светились. Неровный лунный свет даже знакомые лица сделал неузнаваемыми. Из-за случайной игры теней Аккад вдруг стал похож на ухмыляющуюся мумию. Сабина улыбалась белыми обезьяньими зубами. Казимир Ава, которого затейница луна словно бы лишила шевелюры, напомнил мне молящуюся старуху. У меня возникло ощущение, что наша процессия стала больше, но не за счет приглашенных на вечеринку гостей, а за счет каких-то незнакомцев, поджидавших на пути.

Двое чумазых нечесаных дервишей, весьма жалкие, придерживали для идущих двери, при этом следили за нами не хуже мастиффов. Было такое впечатление, что им отлично известно, кто член секты, а кто нет, впрочем, возможно, мне просто показалось. Нас ведь они точно видели впервые, однако махнули рукой, приглашая войти вместе с остальными. По узкой темной лестнице мы поднялись в главную часть маленькой мечети — в просторную комнату, скудно освещенную ночниками, заправленными оливковым маслом. Из-за темноты потолок казался очень высоким, почти как небо, а наши фигуры

будто бы стали меньше, словно тут же частично растворились во тьме, из которой только что явились.

Сама церемония была очень простой: действительно, как и говорил Аккад, она напоминала теологическую лекцию каирского шейха. Аккад уселся посреди комнаты на ковер и подушку. Перед ним стоял низкий деревянный инкрустированный столик. Справа и слева были еще два стола и еще две подушки — для помощников, то есть для слепого старика в белой аббе и смуглого бородатого мужчины средних лет в мятой пиджачной паре, но без сорочки. Он держал в руке пачку текстов и книгу, в которые то и дело заглядывал, отчего напоминал суфлера, слепец же походил на странствующего «поющего» проповедника, или на церковного служителя, или на ризничего. В общем, он был из тех, кого всегда можно при случае нанять для чтения сур Корана. Сначала уселись они, а мы расположились полукругом напротив них, следуя вполне определенному порядку, хотя нами никто не руководил; поближе к троице сели те, кто считал себя активным членом секты, мы оказались в последнем ряду, позади всех, мы ведь были только «потенциальными соратниками», по определе-

нию Аккада.

Сам он, заняв место в центре, снял очки и сложил перед собой руки, мечтательно глядя во тьму. Мы тоже молчали, опускаясь на колени или усаживаясь. Свесив голову на грудь и почти не дыша, словно он настраивался на концертное выступление, слепец ждал сигнала. Неряшливый бородач сверялся с текстами и, откашлявшись, наконец сухо объявил тему: из *«Pistis Sophia»*,[54] но, честное слово, он сделал это так, словно сейчас прозвучат отрывки из календаря погоды. Опять наступила тишина. Похоже, Аккад молился, потому что поднял вверх сомкнутые ладони, раздвинув длинные пальцы. Чуть погодя он подался вперед и постучал по инкрустированному столику. Радостно вздохнув и улыбнувшись, слепой старец поднял голову и — с преобразившимся, полным святого благоговения лицом — начал свой медленный и мелодичный речитатив. Услышав первые фразы, Аккад и второй помощник тоже улыбнулись — так, наверное, улыбаются музыканты, которым предстоит интерпретировать давно известное и любимое

[54] Примечания: 54

«Pistis Sophia» — сочинение третьего века, содержащее наставления, которые Иисус якобы дал избранным ученикам в конце своего двенадцатилетнего пребывания на земле после Воскресения.

сочинение. К моему великому удивлению слепец читал по-гречески, и пока слышался только его голос, остальные двое лишь шевелили губами, словно лаская безупречные отточенные фразы. А удивился я (в ту пору мало что смысливший в подобных тонкостях) потому, что Аккад дал нам понять, будто список *Pistis Sophia* принадлежит коптам и написан на их языке. Так оно и есть, но только коптский список — это перевод с греческого, то есть нам читали подлинный текст, в его первозданном виде. Пьер, получивший отличное образование, сказал потом, что почти все понял. Я — нет. Речитатив сопровождали комментарии Аккада на французском и английском языках, комментарии эти были подчеркнуто неформальными, но предельно почтительными, как если бы речь шла о великой поэзии или великой музыке. «И настало время Иисусу восстать из мертвых, и одиннадцать лет он пробыл со своими учениками, обучая их всему вплоть до Первой Заповеди, до Первого Таинства, и тому, что по ту сторону Завесы, внутри Первой Заповеди, которая есть двадцать четвертое Таинство вне и ниже — эти двадцать и четыре расположены во втором пространстве Первого Таинства, что превыше всех Таинств — Отец в обличье голубя». (Позднее мне

попал в руки перевод теолога Йозефа Меда, потом другие, в «Брукланском кодексе»[55] и подобных ему источниках, и я смог сам немного разобраться в причудливой посмертной истории Иисуса.)

Необычность действа заключалась в отсутствии всякой претензии на непогрешимость у говоривших и в удивительной ясности того, что мы слышали, осмысленной ясности — а ведь в случае полного незнакомства аудитории с терминологией, как, например, было со мной, текст должен был восприниматься как нелепая тарабарщина. Но не мне судить, в какой степени остальные постигали монотонный речитатив. Все сидели, опустив головы, однако поднимая их всякий раз, когда Аккад прерывал слепца своим сухим стаккато. В его голосе звучала еле сдерживаемая, несвойственная ему в обычной жизни, страстность. «Чем больше вы узнаете о человеке, тем меньше миритесь с положением человечества, оказавшегося под игом Князя Тьмы». Страшное раздвоение перевернуло рациональное устройство во вселенной — вот что он имел в виду, дошло до меня позднее. Тот, кто грубо вмешался в дела первого властителя,

[55] Примечания: 55

«Брукланский кодекс» — один из сборников коптских гностических текстов.

заняв его место, внес сумятицу в действие космического закона. С тех пор, как явился Черный Князь, все переупорядочено, переосмыслено, переделано. «Греки говорили: «То, что существует, неправедно, но прекрасно».» Однако красота не оправдание. Красота — ловушка. Мы говорим: «То, что существует, неправедно, но это и есть реальность».

Прошло много времени, прежде чем я понял мысль Аккада. Все сводилось к тому, чтобы непредвзято посмотреть на главную трагедию реального мира, окончательно и четко осознать — нет никакой надежды, пока не будет свергнут узурпатор Божьего престола, но как это сделать, похоже, никто не знал. Если бы в ту свою первую встречу с гностиками я понял бы больше, то впал бы в такое же неодолимое отчаяние, какое, вероятно, терзало их. Безысходность происходящего преследовала бы меня непрестанно, что и случилось позднее. Аккад трактовал это, как «окончательную смерть Бога», ибо князь-узурпатор разделался с первым властителем, чье правление олицетворяло не диссонанс, а гармонию и согласие в природе. При том, первом властителе, прекрасно осознавали, что есть рождение и что есть смерть; душа и плоть, зверь

и малая букашка, человек — все в сущем мире объединялось в животворном симбиозе света и справедливости — о чем и мечтать нельзя с тех пор, как престол занял Князь Тьмы.

Далеко не все мне было ясно — разумеется, нет; однако время от времени я почти интуитивно улавливал смысл произносимых слов, словно мне читали текст на языке, который я плохо знал, и длинные куски, ничего мне не говорившие, изредка перемежались тонкими лакомыми прослойками понятных фраз. Пророческие вставки Аккада часто были удачными и даже блистательными. «Кто эти люди? Они рождены и возрождены, в отличие от Большинства. При встрече они узнают друг друга без слов. Они принадлежат головокружительному «ничто», выросшие из корня несогласия. Сокровенная суть их души стремится к луне небытия, их Бог — тот, кого больше нет. Они даже не надеются на понимание! Довод бессилен — на этом уровне понимание может быть лишь бессловесным, беззвучным, бездыханным. Его значение так же сомнительно, как сама реальность». Странно через столько лет читать эти фразы и тем более так хорошо помнить обстановку, в которой они были произнесены. Даже не закрывая глаз, я вижу, как

он сидит в своей поношенной аббе, вдруг заметно постаревший, и чуть ли не со слезами в голосе произносит свои откровения. Притихнув, прелестные, похожие на спелые плоды, женщины слушают его, одни — в вечерних платьях, другие — в пестрых шалях, но все умиротворенные, как будто отведали заветное яблочко.

Это была не только литания, но и некий ритуал, потому что раза два мужчина с повадками суфлера задувал свечи и вновь зажигал их, словно обозначал паузу между отдельными фрагментами. Он также предлагал тексты, с торжественной гнусавостью произнося первую строку и выжидая, пока слепец узнает ее и подхватит, задрав по-собачьи голову, на более высокой ноте. Пьер вроде был поглощен происходящим, но я заметил, что он все же разочарован, однако его сестра сидела с опущенной головой и закрытыми глазами, словно слушала музыку. «И приидет воспреемник младенца Саваофа, Всеблагой, и приидет он из Средины: Он принесет чашу, полную разумения и мудрости, и благодатной трезвости, и насытит ими душу. Вольются они в тело, и оно не будет спать, и не познает забвения, отведав из отрезвляющей чаши. Но все, что отведано, будет хлестать сердце, и оно будет вопрошать о таинствах Света,

пока, наконец, не узнает их от Девы Пресветлой, и не обретет светоч знаний на веки вечные».

В тот вечер я был очень далек от гностического «восприятия», от постижения того видения, которое всех нас могло превратить в маски, в карикатуры, снабженные именем, вернее, ярлыком; ведь у каждого из нас был свой облик, свой почерк, характер и склонности, открытые только непредвзятому взгляду интуиции. В каждом из нас сражались мужчина, женщина и ребенок. Наши страсти были втиснуты в холодную глину молчания и готовы к отправке в жаркую печь, к мистическому свадебному пиру… В этом смысле, только в этом, я нашел наконец абсолютно удовлетворяющее меня объяснение моих двойственных отношений с Пьером и его сестрой. Через опыт общения с Аккадом и его сектой я смог наконец обрести точку опоры в той части реальности, которая, скорее всего, была моей собственной внутренней сутью. Вероятно это звучит странно, но теперь я понимаю природу моей любви-и вообще природу человеческой любви. Мне стало ясно, что человек, нарушив естественные законы природы, допускающие секс лишь в брачные периоды, утратил общность с животным царством. Это более всего его травмировало,

а также было тревожным сигналом: в конечном итоге люди утратят власть над страстями — вот какое их ждет будущее…

Однако, несмотря на кажущуюся сумбурность действа, которое то набирало силу, то становилось вялым, несложно было уловить метод воздействия. У меня появилось ощущение, будто мне внушают что-то на уровне чувств, не вовлекая в работу разум. Не станете же вы требовать объяснений у запаха или звука? Вот и я воспринимал все обрушившиеся на меня сведения, не осмысляя их, но стараясь свести к некоей канонической формуле.

Несмотря на дурные предчувствия, на страх, что меня обманут, устроив фокус-покус, в ту странную ночь кое-что навсегда укоренилось в моем сознании. Змея, мумия, вино были восприняты вполне нормально и отнюдь не казались атрибутами искусительного фольклора, которыми пользуются, чтобы привлечь слушающих и убедить сомневающихся. Один из дервишей внес большую плоскую корзину из ивовых веток и поставил ее у ног Аккада: тот поднял крышку и показал всем огромную кобру, никогда еще я не видел такой гигантской змеи. Гораздо больше обычной египетской кобры, наверное, ее при-

везли из Индии. Меня поразила ее расцветка — перламутрово-розовая спина и светло-фиолетовое брюхо. Кобра была совсем ручная, почти как котенок. Осматриваясь, змея то высовывала раздвоенный язык, то вновь убирала его в плотоядную белую пасть, изредка слегка надувая капюшон. Когда же перед ней поставили блюдечко с молоком, в котором плавали мертвые мухи, она стала аккуратно, по-кошачьи лакать, а чтобы было удобнее, почти полностью выползла из корзины, предоставив нам возможность дивиться ее размерам. Аккад привычно гладил ее, и она реагировала на его ласку, как кошка, то опуская головку, то вновь подставляя под его ладонь. После перерыва чтение продолжилось, но все взгляды были устремлены исключительно на змею. Когда она покончила с молоком, Аккад нежно поднял эту тварь и направился к нам, поддерживая ее обеими руками и позволив обвиваться вокруг своего тела, прижиматься и раскачиваться на нем. Мы по очереди, следуя его приказу, покорно гладили кобру по голове, преодолев страх и отвращение.

Пьер и его сестра легко прошли испытание, но, оказавшись рядом с Тоби и со мной, змея угрожающе застыла, а когда мы протянули к ней руки,

издала тихое шипение.

— Гладьте, — сказал Аккад, — не нужно бояться.

Хорошо ему было говорить! Однако мы все же себя пересилили. Но я так и не понял, кому какая радость от этой лицемерной ласки. Когда очередь дошла до Сабины, Аккад просто передал ей свое сокровище, женщина и змея тут же слились в тесном объятии. Сабина нашептывала этой твари ласковые слова, которыми обычно награждают любимого котика, она гладила ее по головке, она обматывала этим длиннющим живым жгутом свою талию. Ритуал поглаживания кобры занял довольно много времени, и только когда все были, так сказать, осчастливлены, Аккад вновь уложил змею в корзину, однако крышку не закрыл — и его любимица выглядывала оттуда, словно за нами следила. Пока все были заняты коброй, дервиши, по-видимому, зажгли ароматические палочки, и пряный туман стал подниматься вдоль стен, просачиваться в темные углы, преображая все лица. Мелодичный, но гнусавый голос как будто набирался силы от этих благовонных испарений.

Аккад слушал, опустив голову, словно на него обрушился мощный водопад, однако было оче-

видно, что он ждет каких-то определенных фраз или паузы. Неожиданно он поднял палец, и его помощники умолкли.

— Пора вкушать мумию, — приказал он.

Дервиши с почтительной робостью приблизились к нам, держа в руках огромные серебряные подносы, на которых стояло множество небольших чаш с мумифицированными кусочками — по крайней мере, я подумал, что это человеческая плоть. Мумии веками были подспорьем медиков, панацеей, и мне как врачу было любопытно попробовать, что это такое. Сильвия брезгливо поморщилась. Совершенно сухие, обезвоженные кусочки напоминали вяленую рыбу, буммало, только цвет у них был темно-красный, чуть ли не бордовый, а вкус — почти Никакой. Я все же попытался его определить, и вроде бы уловил смутный запах сельдерея. Еще мне вспомнились лягушачьи лапки, которые готовят во французских ресторанах, и сушеная саранча, ее я однажды ел в пустыне — неподалеку от Каира. Без особых эмоций, я взял кусочек и стал смотреть, как чаши в руках дервишей постепенно опустошаются. Аккад с торжественной миной наблюдал за происходящим, однако у меня не возникло ощущения, будто это какой-то особый

сакральный ритуал. Все съели по кусочку мумии, и дервиши унесли подносы, но вскоре Аккад еще раз прервал чтение словами:

— Теперь отведаем вина.

На этот раз дервиши принесли необычные керамические бутыли, в каждой из которых было не больше чашки тепловатого и солоноватого вина. Подождав, когда каждый получит свою бутыль, мы по команде Аккада подняли их, молча пожелав друг другу здоровья, и выпили. Вот тут-то я понял, что мои дурные предчувствия оправдались, по крайней мере, часть их, — к вину было что-то подмешано, и щедро: мы сразу же это ощутили. Все куда-то поплыло, все причудливо смешалось… а тут еще этот одуряющий туман и убаюкивающая ритмичность монотонного чтения. Окружающие предметы заметно исказились и утратили четкость очертаний. Однако страха мы не испытывали и чувствовали себя вполне комфортно. Возможно, благодаря Аккаду, который, заметив, что мы явно пытаемся бороться с воздействием наркотика, успокоил:

— Это скоро пройдет.

Потом, скользнув взглядом по нашим лицам, он добавил:

— Смотрите на змея Офиса.[56]

Я изо всех сил вглядывался в змея, с усердием летчика, пытающегося увидеть в тумане посадочную полосу. Сосредоточиться было сложно — из-за темноты и, разумеется, из-за наркотика, которым нас опоили. Все вокруг то увеличивалось, то уменьшалось, то раскачивалось, то вообще исчезало, а через миг снова появлялось. И вот будто древний змий поднялся над корзиной, теперь эта тварь сделалась вдвое длиннее, видимо, желая рассмотреть все моменты происходящего действа. Однако за то, что я скажу об этой части, полностью ручаться не могу. Ведь мы были одурманены. Я вспоминаю голос Тоби, который с обличительным возмущением произнес:

— Ей-богу, просто какой-то Мумбо-Юмбо, из африканского племени.

Однако эти слова он произнес нехотя, словно во сне, как будто все увиденное целиком его захватило, вопреки врожденному скептицизму.

— В глаза, — резко произнес Аккад. — Смотреть в глаза.

Я смотрел в крошечные горящие глазки Офиса,

---

[56] Примечания: 56

Змей Офис — мифическое существо, почитавшееся гностиками, в частности, офитами, признававшими Змея из ветхозаветной Книги Бытия посредником в откровениях.

и он, облизываясь раздвоенным языком, отвечал мне злобным взглядом. Неожиданно я почувствовал, что он притягивает меня к себе; его голова стала неправдоподобно огромной, изящные челюсти раздвинулись, показывая два ряда белых, чистых, похожих на кривые турецкие сабли, зубов. Меня охватило отвращение. Я стал задыхаться и даже расстегнул воротничок, чтобы легче было дышать. Потом я энергично потряс головой, чтобы отогнать мерзкое видение, чтобы прийти в себя, так обычно поступают, получив сильный удар по голове.

Это было похоже на поединок двух воль. Змей старался поглотить меня, как питон — кролика, а я отчаянно сопротивлялся. Когда накал противостояния достиг точки кипения и все, выражаясь фигурально, забурлило, я вдруг увидел того, в ком чуть погодя узнал нашего ментора, Князя-узурпатора, — он сидел на месте змея и глядел на меня с кровожадной веселостью. Подобные видения пересказывать очень сложно; да, все мы способны нечто подобное испытывать во сне. Но происходившее тогда было несравнимо со сновидением, хотя я, хоть убей, не смог бы объяснить, в чем именно состояло отличие. А потом змей куда-то подевался и появился чудовищный скарабей с

головой пса. Его тело покрывали металлические пластинки, напоминающие шкуру ископаемых ящеров, черные полированные пластинки, как панцирь японского воина. Еще я заметил козлиное копыто, упиравшееся в каменный пол мечети. Видение то бледнело в клубах фимиама, то вновь становилось четким. Однако называть его видением не совсем верно — это был Некто, имевший ко мне непосредственное отношение. Я не мог просто отмахнуться от него, как от чего-то чуждого, порожденного наркотиком или алкоголем. Описать охватившее меня отчаяние невозможно, я жутко перепугался, что прежнее, нормальное состояние ко мне уже никогда не вернется. Чепуха, конечно же, чепуха. Я упорно не сводил взгляда со странной, похожей на искусственный механизм фигуры. Это существо, то ли зверь, то ли птица, то ли жук, как будто говорило со мной, сообщая что-то важное, имеющее глубинный символический смысл. Очевидно с такими символами имеют дело алхимики, но я не был алхимиком и почти ничего не знал о тех вещах, которые не имели отношения к так называемой истинной науке. В принципе, я разделял скептицизм строптивца Тоби. Но многое я просто не помню, многое я тогда проделывал, пребывая

в забытьи: например, в какой-то момент дико завопил и попытался вскочить на ноги, вознамерившись побороться со змеем. Тоби смутно слышал мои вопли и потом рассказал мне об этом. Но ведь я не мог пошевелиться. Меня будто парализовало. А потом навалилась ужасная усталость, и я стал содрогаться в рыданиях. Но тут, словно по волшебству, все переменилось, и я почувствовал, что падаю, словно до тех пор меня поддерживали все эти немыслимые события. Когда я стал постепенно приходить в себя, то обнаружил, что лежу на полу, прижавшись щекой к холодной каменной плите, и весь дрожу. Наконец мне удалось открыть глаза. Почти все были примерно в таком же состоянии: вконец измученные, люди лежали на своих ковриках, тяжело дыша и время от времени судорожно подергиваясь. Эпизод с видениями продолжался совсем недолго, но полностью истощил нас, мы были похожи на хлам, вынесенный на берег во время прилива. Редко мне доводилось чувствовать себя настолько вымотанным.

Из общей картины выбивался лишь бедняга Пьер, вел себя совсем не так, как остальные. Он задыхался, причем по-настоящему, он обеими руками старался оторвать от горла невидимую

змею — стоя на коленях, он корчился, наносил удары, хватал ртом воздух. Потом упал на бок, все еще сражаясь — и его поединок с воображаемой змеей, видимо, огромной как удав, был настолько правдоподобным, что мы будто наяву видели обвившую его и выжимающую из легких остатки воздуха рептилию. Да, это выглядело настолько натурально, что, забыв о собственной слабости, я попытался встать, чтобы кинуться на помощь другу, но Аккад улыбкой остановил меня. Мне показалось, ему нравится смотреть на воображаемый поединок и на отчаяние Пьера. Позднее он говорил, не знаю, насколько искренне, что для Пьера это были счастливые испытания: потом его без дальнейших проверок приняли в члены секты и даже удостоили особого знака «посвященного змеей», то есть он сразу же прошел инициацию. А я вспомнил о змее Эскулапа и об *incubatio*[57] среди белых колонн Эпидавра,[58] где врачи интерпретировали первый сон в зависимости от «змеиных» видений пациента. Да

[57] Примечания: 57

Инкубационный период *(лат.)*.

[58] Примечания: 58

Речь идет о древнегреческом городе Эпидавре, где в особом зале с колоннами содержали священных змей. Там же имеется и храм Асклепия, бога врачевания (в римской традиции — Эскулап).

уж, за то короткое время, пока я был в Египте, Аккад помог мне разобраться с ассоциациями, проследить множество самых разных связей и зависимостей.

После поединка Пьер лежал совершенно неподвижно, весь белый, настоящий мертвец. Однако, честно говоря, мы все были не краше его, когда по сигналу Аккада вновь появились слуги и укрыли нас теплыми одеялами. Змея исчезла. Где-то открыли дверь, и холодные струи воздуха пустыни хлынули внутрь, вытесняя удушливые пары фимиама. Все спали глубоким сном, все, лишь я дремал, будто выздоравливающий после тяжелой болезни, чувствуя себя младенцем, прижавшимся к материнской груди. Потом чьи-то невидимые руки накрыли меня одеялом и подложили под голову подушку; после этого я позволил себе уйти в небытие, — обессиленный недавними переживаниями. Когда я проснулся, будто от толчка, уже рассвело, а в мечети никого не было, кроме Пьера, который сладко спал, положив голову мне на плечо. Сильвия? Тоби? Где они? Стояла тишина, нарушаемая лишь гудением насекомых в рощице у мечети. Солнце только-только коснулось горизонта, и весь мир был шафранно-золотистым, как львиная шкура. От

холода у меня замерзли даже мысли. Я нащупал пульс на руке Пьера. Пульс был нормальный — да и я чувствовал себя совершенно оправившимся от мистического изнеможения. Еще никогда я не испытывал такого прилива сил, не ощущал столь потрясающей эйфории — подобное чувство испытываешь, получив на трудном экзамене незаслуженно высокую оценку.

— Пьер, — прошептал я, — мне хочется плавать.

Он не открыл глаза и ничего не сказал, только слабо улыбнулся, приподняв уголки губ, и я понял, что он слышит меня.

Спустившись по лестнице, я вышел на бодрящий утренний воздух. Деревня спала и была похожа на покинутое поле битвы. Только брела куда-то одинокая лошадка. К зеркально чистому озеру меня влекло неодолимое желание посмотреть на свое отражение — словно что-то в моем облике могло чудесным образом измениться. Почему? Не знаю. Помню только, что беспричинная неуемная радость, ощущение свободы гнали меня вперед, и я не находил им объяснения. Оказавшись на берегу, я стал обегать озеро, поглядывая на свое отражение, мелькавшее между копьевидными верхушками тростника.

Солнце, висевшее в небе, как бронзовый медальон, посылало по-королевски щедрый жар на сырой песок, быстро расправляясь с тяжелыми каплями росы. Я внимательно смотрел, нет ли где-нибудь в тени черных раковин, которые предупреждают о страшной бильгарции, однако раковин не было, поэтому я, больше ни о чем не думая, бросился в озеро и через миг уже стоял по пояс в ледяной прозрачной воде, снова ощутив чувство несказанного ликования. Отплыв подальше от берега, я перевернулся на спину, чтобы миллионы серебряных капель, окруживших мои ресницы, заиграли под солнцем, и перед глазами заплясали радужные пятна. Очень скоро ко мне присоединился мужчина, а потом и темноволосая девушка, при одном взгляде на которую у меня всегда сжималось сердце. Я не сказал «люблю тебя», и она ничего не сказала. Мы сомкнули кончики мокрых пальцев, и получился круг, похожий на венчик цветка, плывущего в утренней тиши вместе с нами под лучами древнего, как мир, солнца. Не знаю, сколько времени мы провели в воде — словно совершали эзотерический обряд очищения. Слишком взволнованные, чтобы разговаривать, тем более кричать, мы лишь изредка обменивались ликующими взглядами.

Правда, я, все-таки не удержавшись, спросил Сильвию:

— Ты поняла?...

Она затаила дыхание и кивнула, не дав мне договорить, словно нас посетило одно и то же видение, которое могут спугнуть вслух произнесенные фразы. Пьер улыбался, но выглядел немного озабоченным, как будто мысленно составлял опись своих ощущений, заносил в копилку памяти познанное вчера, этот опыт, освободивший его чувства, и теперь он мог заново проанализировать их в свете новых фактов. Но каких именно? *Что* ему привиделось? И тут мои размышления прервал хриплый, но зычный голос Тоби (ждавшего нас на берегу с полотенцами и одеждой), который воскликнул «Мумбо-Юмбо!», — но как бы от чего-то защищаясь. Слишком хорошо мы его знали, и сразу уловили некоторую наигранность в его возгласе. Сильвия улыбнулась.

— Аккад ждет, — сказал он, пробуя ледяную воду кончиками пальцев и содрогаясь при мысли о том, чтобы тоже залезть туда. — Я должен вас привести. Это приказ.

Мы не спеша, с удовольствием одевались, пока еще не открывая друг другу своих мыслей, но

почему-то абсолютно уверенные, что они посетили всю нашу троицы. Возникло ощущение, что пространство нашей любви расширилось — и мы бродили по этой не видимой другим стране с тропической флорой и фауной, взахлеб наслаждаясь ее роскошной романтической красой и разнообразием форм. Лошадей за нами не прислали, поэтому пришлось брести следом за красным от солнца Тоби, который знал дорогу и которому велено было доставить нас к завтраку. Собственно, идти было недалеко, но все же несколько высоких шелковистых дюн пришлось одолеть, прежде чем мы выбрались на каменное гладкое плато, поверхность его за несколько веков была до блеска отдраена песком; даже разноцветные полоски словно кто-то отшлифовал наждачной бумагой. Я напрочь забыл о том, что у нашего хозяина есть маленький аэроплан, под слепящими лучами он выглядел очень хрупким и каким-то игрушечным, похожим на стрекозу. Гораздо большее впечатление на меня произвел закутанный в белую простыню Аккад, который сидел, как на троне, в парикмахерском кресле с украшенными медью и фальшивым жемчугом ручками. Почтительно склонившись, парикмахер Фахим (мы называли его придворным Фигаро) намыливал

Аккаду щеки, а маленький мальчик, тоже весь в белом, отгонял опахалом оживших с наступлением дня мух. Иметь личного парикмахера было приятной привилегией александрийских богачей; в те времена египетские бизнесмены не имели обыкновения бриться дома. Парикмахер, как правило, поджидал своего господина в офисе с полотенцем и бритвой наготове, брил его, пока тот вместе с секретарем просматривал почту. Аккад всего-навсего раздвинул границы феодальной традиции — куда бы он ни летел на своем аэроплане, всюду с ним был его парикмахер. Итак, он, близоруко щурясь, но с явным удовольствием всматривался в нас — будто поздравляя. Из-под окутанного паром полотенца донеслось:

— Ну-ка, подойдите поближе. Хочу посмотреть на вас. — Мы подчинились, и Аккад, смерив нас острым взглядом, вздохнул. — Все понятно. Вы видели его. У вас счастливые лица. Ты, Пьер, был принят сразу же. Твой поединок с Офисом — очень важный момент, основополагающий. Я читаю в твоем сердце. И в твоем сердце, Сильвия, тоже; тебе не следует оглядываться на прошлое. — Потом он обернулся ко мне. — Традиционное образование немного тебе мешало, однако ты тоже его увидел, и в конечном итоге

твой природный скептицизм не устоит. Тебе придется пройти более долгий путь, только и всего. Но ты их догонишь.

Загадочные слова! Аккад смешно скривился из-за манипуляций парикмахера, который долго массировал ему лицо, а потом побрызгал туалетной водой на лысину. Нас удивил Тоби, решительно заявивший:

— А я ничего не видел, кроме дыма. Не знаю, как другие, а я ничего не видел.

Аккад с любопытством, но доброжелательным, посмотрел на него, словно искренне удивился; я же по одному тону Тоби понял, что он лукавит. Закрыв глаза, будто что-то перебирая в памяти, Аккад помедлил немного и сказал:

— Ты тоже кое-что видел, и я скажу тебе, что. Изображение, сделанное в английском соборе. Надгробие Черного Принца,[59] кажется, в Кентербери, нечто похожее на рисунок, который делают графитом, прижав к чеканке листок бумаги, просто по нему чиркая. Там на шлеме приподнято забрало, и ты испугался, заглянув в черную дыру на железной голове, ведь тебе показалось, будто ты видишь сверкающие глаза змеи — там, где

---

[59] Примечания: 59

Черный Принц прозвище Эдварда, принца Уэльского (1330–1376).

должно быть человеческое лицо. Тоби заметно побледнел, застыв с открытым ртом.

— Откуда вы знаете? — севшим голосом прохрипел он, даже не пытаясь отнекиваться.

Аккад пожал плечами и водрузил на нос очки, чтобы получше рассмотреть нашего друга.

— Сначала я удивился, — мягко проговорил он. — Но теперь я понял, почему ты все отвергаешь. Ты путаешь библейского Иисуса с воскресшим Иисусом гностиков. Для нас он всего лишь шифр. У него нет ничего общего с тем, кого вы называете Спасителем (как вы справедливо говорите, стоит только упомянуть его имя, и начинает литься кровь). Наш Иисус был гораздо позже, но даже он оказался не в силах сбросить с трона того, кого вы видели ночью и у кого тысяча имен, например: Сатана и Люцифер. Каждый привносит в видение что-то свое, вот и ты тоже припас ловушки собственных исторических штудий, поэтому Месье решил тебе польстить и явился в латах, как тень отца Гамлета!

Аккад оглушительно расхохотался, хлопнув себя по колену.

Видя, что Тоби растерян, как мальчишка, он добродушно взял его под руку и, все еще смеясь, проговорил:

— Пойдемте в другую комнату, извините, на другой бархан. Я специально для вас заказал нелепый английский завтрак. А потом мы отправимся к морю, и я немного помучаю вас теологией — нет, нет, Тоби, не тебя. Тебе еще рано. Твое время придет позже.

Солнце уже порядочно припекало, и я был рад, что Тоби не забыл захватить соломенные шляпы. В чистом голубом небе парили стервятники. Мы вскарабкались на соседний бархан и не удержались от смеха, ибо зрелище нам открылось вполне сюрреалистическое. Посреди песчаной площадки, выглядевший совершенно неуместно вне соответствующего интерьера, стоял длинный стол, накрытый белоснежной скатертью и уставленный, благодаря щедрости Аккада, великолепными английскими блюдами, какие, вероятно, в прошлом подавались в богатых поместьях на завтрак. Не считая сосисок в томатном соусе, потихоньку гревшихся в серебряных сотейниках, здесь было несколько сортов рыбы, включая пикшу и лосося, и, как это ни курьезно, еще одно кушанье из рыбы, риса и яиц и два сорта джема. Подавали нам на красивых блюдах два нубийца в золотых кушаках и белых перчатках.

Аккаду наш смех пришелся по душе, и он с

лукавой улыбкой сказал:

— Другие бы меня не поняли. Мне хотелось устроить что-то вроде завтрака по поводу, так сказать, конфирмации. Прошу прощения за постоянные напоминания о частной школе, Пьер, но мое воспитание включало незабываемый английский Морнфилд, который я лелею в своей памяти и который подарил мне, кроме чудных воспоминаний, множество друзей.

Все еще посмеиваясь над фантастической для пустыни сценой, мы расселись по своим местам и с аппетитом принялись за еду.

— Нам предстоит прогулка верхом, — сказал Аккад. — Но только нам четверым. Тоби мы оставим присматривать за Сабиной. Понимаете, теперь, когда вы видели то, что видели, я могу дополнить картину кое-какими сведениями, то есть текстами и комментариями. То, что происходит, происходит не случайно — я имею в виду ваш теперешний приезд в Египет и ко мне лично. Мне стало известно о вашем посещении несколько лет назад — в это же время года и в этом же святилище. Я довольно точно представлял, как вы выглядите и как живете, хотя не знал ваших имен. И я уже заранее знал, чем вы поможете и чем помешаете нам, и что сами захо-

тите получить от нас и от догматов гностицизма, которые поначалу могут показаться совершенно неприемлемыми. — Он надолго замолчал, сосредоточившись на тонкой сигаре и ароматном кофе. — Да. Это не случайность, — повторил он. — И живете вы не как все — не как все относитесь к сексу и любви… Тут наши с вами понятия совпадают, но очень немногие смеют так жить, во всяком случае, столь открыто и честно. Вот об этом мы сегодня и потолкуем.

Он умолк; а Пьер опустил голову и вроде бы смутился, когда Аккад заговорил о сексе. Он всегда был в высшей степени *pudique*,[60] когда речь заходила о наших интимных отношениях, и вздрагивал от любого слишком конкретного намека на самую важную и неприкосновенную, как он считал, часть его жизни. Подозреваю, его чрезмерная деликатность раздражала Сабину, которая постоянно подсмеивалась над тем, что называла подростковой застенчивостью. Кстати, она никогда не спала с ним — и это приводило ее в недоумение. Аккад же напротив относился с большим уважением к деликатности Пьера и, думаю, не согласился бы с (высказанным чересчур

---

[60] Примечания: 60
Стыдливый *(фр.)*.

прямолинейно) суждением Сабины:

— Ах, тебя и твою сестренку слишком баловали и оберегали в детстве. В вашей жизни не хватало грубости.

Возможно, она была права, считая так и отводя мне роль недостающего фактора.

Когда барочный завтрак, нафантазированный Аккадом, подошел к концу, слуга отправился за лошадьми и небольшими корзинками с едой для каждого из нас.

— Я собираюсь свозить вас к морю, но в такое место, где вы еще не были, — сказал Аккад, по-детски наслаждавшийся всякой таинственностью. — Это секретное место, — лукаво добавил он.

Когда мы уже сидели на лошадях и проверяли стремена и поводья, он добавил:

— Кстати, если вас спросят, отвечайте, что слушали лекцию в мечети Абу Менуфа, но о гностиках — ни слова. Понимаете, святилище было поставлено в память великого *вали,* созерцателя, мудреца, святого человека — и, естественно, мусульманина. Нам не хочется задевать религиозные чувства египтян, да и дервиши верят, что наше служение — ортодоксальная служба в память о святом. Вот так-то. Но Абу Менуф и сам

был гностиком; и оазис расположен далеко от протоптанных дорог, поэтому удобен для наших собраний. Зачем волновать власти нашей верой, которая не имеет никакого отношения к социальной и политической жизни страны? Мы бываем тут два-три раза в год, и нам покровительствует змей Эскулапа, как вы уже, наверно, поняли. Ну а дервиши убеждены, что это душа (мусульманская душа) Абу Менуфа после его смерти вошла в змея. А неплохой вопрос для теологов: мусульманин или гностик наш Офис? Как-нибудь спросим.

Пока мы взываем к нему именем Абу Менуфа, который был великим старцем, вечным скитальцем и прославленным толкователем снов и видений. Змей вполне может быть вместилищем его души, решившей вновь побыть с нами — ведь Абу Менуф тоже любил молоко. Дервиши считают это весомым доказательством. Но для нас он, разумеется, символ кадуцея Эскулапа, позвоночного столба, змеи-кундалини индусов. Его можно найти в разные периоды истории, на разных континентах и в разных религиях. Он — и священный фаллос Греции, Египта и Индии, и свернутые кишки, на которых мы умеем гадать, как гадали по внутренностям древние прорицатели. Но это — эзотерическое толкование, тогда

как подлинный реальный опыт общения с Офисом нельзя точно выразить словами, вы это еще поймете. По мере вашего взросления он будет для вас все более плодотворным и обогащающим, хотя вы и сами не сможете объяснить почему, не сможете проанализировать свои ощущения. Тем не менее, на кое-какие вопросы *можно* ответить уже теперь, так как многое все же подвластно рациональному объяснению. Ну же, в путь. Как однажды сказал Байрон: «Довольно стариковской болтовни, пора уже плыть». А нам два часа до моря.

Аккад взял направление на восток, пустил лошадь довольно быстрой рысью, несмотря на сильную жару; а Тоби остался стоять, с недоуменным видом крутя большими пальцами, словно его отослали в Ковентри, хотя Аккад и уверял, что это вовсе не наказание за скептицизм. Прошел час, прежде чем мы увидели цепь кроваво-красных гор и большую долину с беспорядочными нагромождениями валунов, по-видимому, из сланца и хрусталя. Въезд в долину оказался довольно широким, а чуть погодя мы обнаружили несколько прилегающих к ней каменных оврагов, в которые, говорил Аккад, ночью спускаются газели, чтобы напиться росы. Почти сразу по-

явился окаменевший лес, довольно мрачный и тянувшийся до самого моря. Дно долины было завалено окаменевшими деревьями — вывернутыми из земли и весившими много тонн. Вот так началось наше удивительное путешествие по мертвым петролитам, по затвердевшей флоре здешней пустоши, и оно показалось нам почти символическим, тем более что Аккад упорно молчал, аккуратно объезжая стволы, которые были не меньше трех футов в диаметре и от тридцати до пятидесяти футов в длину! О большинстве имевшихся здесь видов в Египте давно забыли, но нам попадались и истерзанные ветрами, вымоченные дождями пальмы, живые. Жара стояла жестокая, да и заброшенная долина наводила на нас тоску.

Радостными воплями мы встретили неожиданно появившуюся в небе серебристую чайку, возвестившую нам о близости моря, а вскоре ощутили первобытный восторг, услышав громоподобный шум бившихся о берег волн, который ждал нас, поверженный нежащим прикосновением жаркого полдневного солнца в перламутрово-голубую неизведанность. Двигаясь, точно призраки, мы разделись донага и попрыгали в разыгравшиеся волны, и они с шипением понес-

ли нас прочь, однако мы все умели оставаться на разумном расстоянии от берега, несмотря на то что, откатываясь, вода хватала нас за щиколотки, шипела, стараясь утащить дальше. Невозможно описать всю полноту нашей радости, которую породили молодость и хорошее настроение, но, не исключена и другая причина. Возможно, то самое посвящение, о котором и тогда, и потом говорил Аккад, позволило нам войти в новое пространство познания. Но нам требовались объяснения, и я видел, что Аккад мысленно ищет подходящие слова. Ему всегда претила помпезность.

Наконец, измученные морем и почти бездыханные, просоленные и коричневые, как табак, мы позволили волнам выбросить нас на берег. Но там нас ждал раскаленный песок, обжигавший ноги, и никакой тени на песчаной кромке, ни малейшей. Кроме того, выяснилось, что за ланч придется побороться с большими золотистыми шершнями, учуявшими аромат фруктов и вина. К счастью, два окаменевших дерева неподалеку, чудом удержавшихся в вертикальном положении, сулили хоть немного тени, и мы не преминули этим воспользоваться. Легкий ветерок со стороны дюн навевал восхитительную прохладу. Торопливо распаковывая корзинки, мы вдруг по-

чувствовали, как сильно успели проголодаться, и с жадностью набросились на сэндвичи с гусем и индейкой, а также на вино и ледяную воду в специальных, наподобие термосов, флягах. Наконец, наевшись, напившись и устроившись поудобнее, мы приготовились слушать Аккада, который решил просвещать нас в довольно странном месте — в лесу из черных окаменелых, страдающих анкилозом деревьев. Время от времени раздавался треск, и это означало, что от каменной ветки отвалился еще один кусок. Прислонившись спиной к мертвому камню, мы не сводили глаз с необычайно напряженного лица Аккада, который, крепко натянув концы полотенца, слегка напоминал крупного жука-богомола, смиренно свесившего лапки. В конце концов он приступил к проповеди, впервые по-настоящему вводя нас в суть гностических канонов.

Не представляю, как суммировать то, что он сказал, ибо в моем сознании его долгая речь запечатлелась в виде яркого, переливчатого, как радуга, куска шелка. Свои рассуждения, одновременно наполненные и поэтическими иносказаниями, и конкретными фактами, он нанизывал одно на другое с необыкновенной убедительностью, и с формальной, и с интел-

лектуальной стороны, его утверждения были предельно четкими. Никого и никогда не слушал я с таким вниманием, как эту первую проповедь Аккада — в окаменелом лесу. Думаю, этот интерес подогревался тем, что Аккад намеревался объяснить нам вещи, до тех пор казавшиеся мне необъяснимыми. Больше всего меня волновала тайна видений, навеянных парами наркотика. Итак, я сидел с закрытыми глазами и внимал тихому обольстительному голосу, рассказывающему об основных принципах гностической системы познания.

Что именно он говорил? Прошло много времени, но я все помню. Начал он с ощущения внутренней отстраненности, или отчуждения от так называемого реального мира, которое якобы является признаком пробуждающейся ото сна божественной природы. Иногда это пробуждение происходит спонтанно, само по себе, а иногда в ответ на видение или особенно интенсивную деятельность человека, или в силу случайных обстоятельств. И тогда этой божественной природе требуется метафизическая оправа, чтобы обрести свое место, расцвести, подобно дереву, дать плоды. Из всех религий на свете, а их столько же, сколько песка в море, нет ни одной, похожей на

гностицизм, разрозненные фрагменты которого сохранились у многих народов, говорящих на разных языках. Только фрагменты, ибо современные религии так называемого абсолютного Добра с непревзойденным совершенством справились с его искоренением. Их приверженцы не решаются заглянуть в лицо горькой правде и осознать, как это ни страшно, что мир Всемилостивого Бога умер, что Его заменил на троне узурпатор — Бог Зла. Возможно, звучит как преувеличение, продолжал Аккад, однако в этом суть гностической веры, а разочарование и отчуждение её адептов проистекают из глубоко укоренившегося убеждения, что только чудом можно победить Демона Тьмы, который терпеливо ждал своего часа, а теперь вершит суд над всем живым на земле. Едва гностики сумели проникнуть в истину, как начались неприятности; сначала у них отняли свободу слова, потом — право на жизнь. Человек слишком слаб, чтобы принять правду, однако любому, кто позволяет себе открытыми глазами смотреть на природу и ее развитие, ответ ясен: Зло правит сегодня миром.

Какой Бог, спрашивает себя гностик, мог бы такое измыслить — весь этот чавкающий мир смерти и распада, в котором будто бы заложено

добро и пребывает Спаситель? Какой Бог мог бы построить этот пагубный механизм истребления и самоистребления? Это мог сделать только дух черной опустошающей смерти, дух пустоты и самоуничтожения. Только он мог создать мир, в котором мы все пожираем друг друга, друг за другом охотимся.

В нескольких словах Аккад познакомил нас с двумя-тремя безнадежными системами, из которых каждая несла на себе отпечаток личности ее создателя, но отдельные непохожие детали группировались вокруг общего пессимистического взгляда на метафизический *status quo.* Не торопясь, своим обычным тихим голосом, в котором явственно слышалось разочарование, Аккад рисовал ужасную картину современного мира и, кстати, довольно часто приводил длинные цитаты, удивляя нас своей необыкновенной памятью.

— Самка богомола, пожирающая самца, пока он оплодотворяет ее, паук, ловящий в свои сети муху, *pompne*,[61] забивающий паука до смерти, *cerceris*,[62] который тремя ударами своего меча

---

[61] Примечания: 61
Помпил, разновидность осы *(фр.).*

[62] Примечания: 62
Церцерис, разновидность осы *(лат.).*

по всем правилам науки поражает три центра нервной системы *bupreste*[63] и тащит ее наружу, чтобы личинки могли съесть ее живой, а потом искусно и с чудовищной скрупулезностью сохраняет в целости жизненно важные органы, пока она не доедена до конца. Есть еще *leucospis*,[64] *anthrax*,[65] которые присасываются к *chalicodome*[66] и пьют ее живой сок, а потом хитро засушивают ее, сохраняя от разложения, и едят... *Philante*,[67] убийца пчел, прежде чем утащить свою жертву, давит на нее, чтобы она отдала мед, и сосет язык несчастного умирающего насекомого...

Он продолжал по-французски, спотыкаясь на научных терминах, которым не мог быстро подобрать перевод.

— Quel tableau que la Création! Un massacre général! Les lois les plus féroces, les plus barbares,

---

[63] Примечания: 63
Златка, род тропических жуков *(фр.)*.

[64] Примечания: 64
Трехполосная муха — антракс *(лат.)*.

[65] Примечания: 65
Златка-антраксия *(фр.)*.

[66] Примечания: 66
Пчелка-каменщица *(фр.)*.

[67] Примечания: 67
Пчелиный волк *(фр.)*.

les plus horriblement inhumaines luttent pour la Vie, l'élimination des faibles, l'être mangeant l'être et mangé par l'être… Si dieu existe il ne peut être qu'une intelligence sans coeur…[68]

Помолчав несколько секунд, Аккад, еще больше понизив голос, проговорил:

— Неумолимая логика.

Наступила тишина. Долгая тишина. Очень долгая тишина.

— Но должно же быть что-то еще, более осмысленное? — спросил Пьер.

Похоже, этот вопрос он задал скорее себе, чем Аккаду, и ответом ему был иронично-любопытный взгляд, словно говоривший: «Зачем спрашивать, если сам знаешь?» И я понял, что отказ гностиков принимать существующий порядок вещей требует определенной смелости, однако не приносит славы, внушает отчаяние, но не пятнает бесчестьем.

Положив голову мне на плечо, Сильвия дышала тихо и ровно, будто во сне, но я чувствовал, что она внимательно следит за речью Аккада.

---

[68] Примечания: 68

Что за зрелище это Творение! Всеобщая бойня! Самые жестокие, самые варварские, самые вопиюще не гуманные законы борются за жизнь, за уничтожение слабейшего, за существо, пожирающее существо и пожираемое существом… Если Бог есть, он может быть лишь умом без сердца… *(фр.)*.

Наконец она задумчиво спросила:

— Предположим, все так, а что же любовь?

Только женщина могла задать такой вопрос, повисший в воздухе, словно паук на кончике длинной нити, вытянутой из собственного его нутра.

— Если ты вчера совсем ничего не видела или видела лишь симпатичную змейку, значит, я ошибся в тебе, — сказал Аккад. — Но я не ошибся, и ты что-то видела, хотя пока не в силах это понять — не нужно отчаиваться. Ты как будто на склоне горы. Нет смысла ставить условия, цепляться за ветки, задавать вопросы, притворяться, будто готова принять все, но с оговорками. *Всё — так всё!* Оно включает и вашу любовь, которую ты считаешь необычной, но которая для нас своего рода избавленная от телесной оболочки иллюстрация гностической инкарнации, известной по множеству древних текстов. О вас говорил старик Ипполит, объявленный анти-папой, в трактате, посвященном опровержению ересей. Миф гласит следующее. Изначально существовали три первоосновы, так сказать, принципа вселенной: две мужских и одна женская. Один мужской принцип был назван Благом, он провидел порядок вещей; другой — Отцом Рожденных,

однако он оставался невидимым и ему неведомо было будущее. Женская субстанция тоже не сподобилась дара предвиденья, но была наполнена яростью, отличалась двоедушием, и даже тел у нее было два: верх — девственницы, низ — змеи. Имя ей было Эдем, но другое имя ей было Азраил. Вот вам принципы мироздания, вот вам корни и источники, от которых пошло все остальное. Больше ничего нет.

Сильвию охватила легкая дрожь, и она положила ладошку мне на бедро, словно прося утешения или защиты. Потом она спросила о том, что витало и в наших с Пьером мыслях:

— Ты говоришь о самоубийстве?

Только женщина могла так спросить.

— Это извечный путь избранных, — помолчав, сухо проговорил Аккад. — На него указывают нам поэтические натуры. Во все времена люди, которые глубоко чувствуют унизительное положение человека и лелеют надежду, не скажу, кардинально это положение изменить, но хотя бы слегка улучшить… избранные ощущают необходимость во всеохватном отказе. Ну а последовательный, полный отказ подчиняться законам низшего демона — неизбежно ведет к смерти. Но ведь смерть… Что такое смерть? Ничто. Пустота. Все

мы рано или поздно умрем. Однако душе истинного гностика необходима дерзкая, открытая демонстрация отказа, этот единственно верный поэтический жест. Как говорит суфийский поэт: «Сомкни уста, чтобы язык твой вкусил сладость рта». В нашем распоряжении все разновидности голода, который ведет к самоуничтожению и подталкивает к предельной степени чувствительности. Но эти самоограничения надо четко отделять от запретов и догм иудео-христианства, ибо они относительны и основаны на жестокости и подавлении, в отличие от наших — абсолютных, но являющихся предметом свободного выбора. Отказ, опровержение, отречение — во всех религиях это трактуют, как нечто противное теологии, и лишь наша основана на том печальном факте, что дух зла захватил вселенную. Тем не менее, обыкновенное самоубийство, банальное самоуничтожение для нас запретно.

— Так было всегда?

— Нет. Вы же видели, насколько среда, в которой обитал человек доадамовой эпохи, похожа на картины Эдема в древних текстах и у древних поэтов. Все исторические записи слишком стары, чтобы верить им на все сто процентов. Кое-что затуманено, и хорошо разглядеть столь

долгий путь человечества, пожалуй, невозможно. Но мы можем смело обсуждать нашу эпоху и нашу собственную цивилизацию, которая постоянно высмеивает гностицизм, подвергает его нападкам, даже физическому уничтожению. Вспомните катаров Прованса или гностиков Египта, которые были вынуждены скрываться, вспомните бежавших в другие страны богомилов и боснийцев. Не стану утомлять вес подобными примерами, которые сведутся в конце концов к пророчествам Таро, я лишь коротко обрисую то, что мы считаем сегодня истиной. Главный демон — дух материи, во всеоружии выпрыгнувший из головы классического иудаизма, данниками которого являются все европейские религии. Князь — ростовщик, дух наживы, непостижимая власть капитала, облеченная в поэзию золота, монет, денег. Когда Христос изгнал из храма несчастных безобидных менял, он вел себя не как безумец и не как невротик. Нет. Он узрел Князя, который, ухмыляясь и потирая руки, сидел между ними. И неожиданно обратил внимание на глумливый блеск в его глазах, ибо Князь не хуже Него знал, какая участь Ему уготована. Наш протогностик сам, по доброй воле, позволил заманить себя в ловушку. Это был его идеальный отказ — отказ от

спасения, следовательно, Он такой же, как мы. И охватившая Его неодолимая ярость тоже свидетельствует о Его человеческой сути. По крайней мере, один раз демон, будучи во плоти, получил взбучку, хотя бы один раз. В Библии ничего не сказано о том, как сильно его поколотили. Будем надеяться, что сильно — хотя, конечно же наши надежды по-детски наивны, ибо расправа над демоном ничего не меняет в слепой судьбе, в которой всё раз и навсегда предсказано — в мертвящей неизменности бытия. До чего же приятны английские фразы, до чего полновесны, когда особо в них не вдумываешься. Как будто судьба бывает зрячей, а неизменность — живой…

Итак, Иисус подчинился своей дурацкой участи и потащил за собой все человечество, даже не оставив после себя сколько-нибудь упорядоченной религиозной системы, которая четко и ясно определила бы его как иудея-ренегата и иудея-гностика, в отличие от правоверного иудея. Подобно многим другим иудеям, Иисус — нашего поля ягода. Это понятно по его поведению и его участи. Смерть Иисуса — чистейшая поэзия, в ней нет ничего теологического. Космогония, из которой явился его дух, это вам не четыре «м», характеризующие наше время, причем с вели-

чайшей точностью. Я имею в виду монотеизм, мессианство, моногамию и материализм. Сей простой тезис можно проиллюстрировать на любом уровне — будь то грандиозный анализ нашей цивилизации, сделанный Марксом, или основанный на детском любовном отношении к экскрементам анализ абсолютных ценностей Фрейда. Золото и экскременты — вот настоящая поэзия! Краеугольный камень культуры — еще одно «м», *merde*.[69] Золотой слиток — апофеоз человеческого дерьма. Надеюсь, вам понятно, насколько радикально мы, поэты-гностики, разошлись с этими иудейскими мыслителями. У каждой эпохи своя метафизика, и у каждой — свой базовый термин, так сказать, своя изначальная основа. Обладание по Марксу и обладание по Фрейду. И тот, и другой использует экскременты — в качестве базового термина, на котором воздвигнуто здание нашей философии.

Однако мы заменили этот термин другим, и на месте экскрементов у нас сперма, ибо наш мир — мир созидания и отдохновения, а не кары и первородного греха; мир любви, а не сомнения. У нас нет ничего общего с теми, кто сегодня пра-

---

[69] Примечания: 69
Нечистоты, дерьмо *(фр.)*.

вит именем смерти. Наверно, не имеет смысла напоминать о других великих иудейских творениях, которые теперь владеют сердцами и умами людей и будут владеть ими, пока наша эпоха так или иначе не завершится. Однако нельзя сидеть и, сложа руки, ждать. Необходимо собраться с силами и во что-нибудь поверить. Наш императив — самореализация. Но насколько смелы мы можем быть в своих откровениях? Как далеко нам позволят зайти? Ответ лежит на поверхности. В нас до сих пор видят врагов *status quo,* и у Князя есть формальное право затыкать нам рот. Осталось только одно оружие. Властителя приводит в ужас мысль о гностическом самоубийстве через изнурение и постоянное отрицание мира в теперешнем его виде. Тиран трепещет, когда поэт уличает его во *лжи*. Бывает, ему кажется, будто он горит в огне. Мрачные предчувствия одолевают его, но он быстро вспоминает, что нас мало, и для всего мира мы лишь жалкая шайка безумных фанатиков, желающих признать власть тьмы и подчиниться ей. Нас нетрудно распять, и, как ни грустно, это лучшая из возможных смертей. Он может умыть руки на виду у всех, и большинство примет его извинения вместе с чеком и повышенным жалованьем. Что же

касается смерти как таковой, у человека есть выбор. Все печали, страхи, болезни надо выпарить или выжечь, пока не останется, подобный золе, осадок гностической смерти. Стоит достигнуть такого образа мышления, и через пару секунд все в природе встанет на свои места и восстановится саморегулируемый цикл радости, которая была благословением ушедших дней — системой в невозвратном прошлом.

Когда мы говорим «природа», то подразумеваем «ритм», а что такое основной ритм? Течка, или отделение яйца. Естественно, что, утратив благословенную амнезию, свойственную строго периодической сексуальной активности, мы живем в плену у времени, связанные им по рукам и ногам. Сплошные даты. Мы постоянно помним, что смерть диктует свои правила. Понимание этого изменило все, даже саму любовь. Даже оргазм все более и более подчинен разуму. И все-таки любовный опыт, когда чувство зрелое и прочное, когда любишь, осознавая, насколько недолговечна мысль и мимолетно все, что мы совершаем, — всякого может убедить в справедливости того, что я говорю о смерти. Но как только ты начинаешь говорить о сверхчувственном опыте, умолкай или становись поэтом.

Приходится делать выбор!

Еще мы верим в то, что даже бездумное или малозначительное действие сотрясает вселенную. И что мысли текут непрерывным потоком, но мы не успеваем коснуться их волшебной палочкой осознания, намагнитить их, если хотите, освободить. Рыбы и те не таким плотным косяком идут на нерест. Тем не менее, каждую мысль — в идеале — надо понять. Возможно ли это? Да, возможно. Мы уверены. Есть один способ. Новая вселенная, увы, больна раком, эта опухоль — зло, поразившее ее до мозга костей, точнее говоря, банальная злоба, но не в этическом, а в биологическом смысле. Ей, бедняжке, обманутой неудачнице, неизвестен первозданно гармоничный порядок, она обречена и проклята звездами. Низшие демоны разрисовали ее по своим канонам, по своему образу и подобию. У нас почти нет надежды вырваться из этого лицемерия, и все же существует способ постичь гигантскую гностическую луковицу нашего мира, концентрические круги с манящей внутри Плеромой,[70] белым сердцем света, источником первого видения,

[70] Примечания: 70

Плерома — понятие христианской мистики для обозначения некой сущности во всей ее полноте. У гностиков — промежуточный мир между Богом-Отцом и человеком.

которое на секунду-другую может вернуть нам рай. Если любить, то можно изменить положение дел к лучшему.

Слава Богу, структура природы разнообразна, прихотлива и гибка. Здесь нет нормы, нет абсолюта. Возможно любое отклонение. Но только всеобщая свобода — ключ, который мы должны повернуть, чтобы все стало на круги своя. Так, как теперь, было не всегда и будет тоже не всегда, о чем иногда нам рассказывают наши сны. Интуитивно мы чувствуем лживость многих основных понятий, например: *omne animal post coitum triste*[71] и *inter faesces et urinam nassimur*.[72] Они принадлежат обнищавшему миру современной демонологии.

— Но как понять?

На сей раз печальный голос Пьера разорвал нарушаемую лишь шумом моря тишину, и Аккад вздохнул, хоть и продолжал улыбаться.

— Довольно жестокий парадокс заключен в понятиях, которые мы обозначаем словами «знание» и «понимание», — сказал Аккад. — Можно что-то узнать, но при этом не понять, иначе

---

[71] Примечания: 71

Каждое животное после совокупления печально *(лат.)*.

[72] Примечания: 72

В испражнениях и моче мы рождены *(лат.)*.

говоря, не пережить, и разница нам ясна, хотя не поддается четкому определению. Понимание — печать, налагаемая на реальный опыт, не усвоенная организмом пища. Знание — продукт разума, и оно частенько наносит ущерб пониманию, выступая на первый план, поэтому даже если что-то понято и «прожито», то из-за частичной утраты кинетической ценности, интенсивности мотивации, формирующей психику. Богатое воображение бывает опасным, ведь люди, наделенные им, с такой силой генерируют идеи, что когда наступает время их «проживать», скажем, с настоящей женщиной, скажем, с их Музой, они оказываются бессильными или ощущают лишь вкус пепла. Несчастный отчаявшийся наследник проточеловека пытается унять страхи, классифицируя их, составляя перечень. Он надеется определить их границы, а границы постоянно расширяются. Получается, что он нещадно тратит время на обследование ловушки и в конце концов понимает: из нее нет выхода. Однако есть один тайный способ одолеть страх, свести с ним счеты. Начинать надо с притворства, чтобы в конце концов достигнуть цели. Делайте вид, будто не боитесь, и, насколько возможно, прячьте страх. Привычка — вещь всесильная.

Однажды вы обнаружите, что страха и на самом деле нет. Изображая добродетель, можно стать по-настоящему добродетельным.

— А что насчет самоубийства? — с робкой надеждой подал голос Пьер, снова будто бы разговаривая с самим собой.

— Никакого сознательного акта саморазрушения. Речь не идет о самом акте самоубийства, дуло в рот — и все. Мы говорим об акте приятия духовных обязательств духовно зрелыми людьми, которые до конца познали мир и желают вырваться из своей физической оболочки. Они присоединяются к кругу посвященных и совершают акт приятия, вот что означает гностическое самоубийство. Они принимают смерть, но не от собственной руки. Им неведомо, как будет исполнен приговор, но известно — когда; приходит их время, и они получают два письменных уведомления, что дает им возможность привести в порядок дела. А потом смерть может наступить в любой момент. Заранее выбирают не только время, но и того, кто совершит неизбежное, и каким образом. Человека, который становится орудием убийства, называет большинство, он обязательно из тех, кто принадлежит к внутреннему кругу верных и отрекся от временной

жизни. Процедура как таковая безупречна. Напоследок мы репетируем, имитируем процесс, поэтому никогда никаких сбоев, процесс всегда упорядочен, даже если со стороны кажется иначе. Вообще-то концепцию порядка в природе придумали люди с их ограниченным умом. Тогда как в теологии, королеве наук, трактующей процесс, правят случайности и совпадения — но отнюдь не случайные. Отнюдь. Знаю, звучит довольно странно, но что есть, то есть. Неожиданно Сильвия крикнула:

— Аккад, не надо! Ведь Пьер все принимает всерьез. Ему нельзя, ведь у него, как у Дон-Кихота, всегда крайности. При его темпераменте такой настрой очень опасен.

Аккад ничего не сказал, лишь внимательно посмотрел на нее, зато Пьер разозлился и сверкнул глазами.

— Ради Бога, Сильвия. Разве можно не всерьез? Аккад рассказывает о моей внутренней жизни, о том, что у меня на уме, на сердце, на душе, а тебе хочется, чтобы я воспринимал это как интеллектуальную игру. Я же чувствую, что смог бы пойти за это на костер.

Сильвия виновато обняла его, но мне сказала:

— Слышишь? Мне страшно.

В какой-то степени этот эпизод прояснил, как по-разному мы трое относились к Аккаду и его секте. Пьер был готов к дальнейшему постижению, к более полному единению с гностиками. Я же не хотел идти далее, так сказать, ворот их системы. Глядя на объятия брата и сестры, жаждавших преодолеть короткое, но болезненное разногласие, я вдруг почувствовал себя чужим и ненужным. Прежней жизни как не бывало! Мне показалось, будто я — Робинзон Крузо на необитаемом острове. Внизу — бьющееся о берег море, вокруг — окаменелые деревья и мрачные барханы. Где-то далеко незабываемая Александрия с уютными квартирами и тенистыми виллами. А мы теперь призраки, с опаской обживающие один из уголков пустыни и самонадеянно обменивающиеся невероятно важными мыслями о Боге. Закурив сигарету, я стал обдумывать то, что сказал Аккад. Стало быть, существуют разные степени посвящения, в зависимости от уровня знаний. Однако я уже понял: особенности моего восприятия таковы, что я наверняка не смогу продвинуться дальше первого, весьма впечатляющего шага, который в значительной мере предопределил мою будущую жизнь. И уже тогда мне было ясно и другое: Пьер — от ступени к

ступени — будет упорно пробиваться к глубинному знанию. По его поведению и настрою это было очевидно. А вот Сильвия… тут было сложно что-то предсказывать.

С приближением сумерек мы упаковали вещи и снова двинулись по пустыне в Макабру. Ни единого слова не было произнесено на обратном пути. Аккад словно истощил свой словарный запас. Мы же были настолько измотаны, что не могли ни о чем думать. Аккад был хмурым и пребывал уже в собственных размышлениях; да и усталость от долгих переездов начала сказываться на всех нас. В Макабру мы приехали поздно вечером и с радостью отдали слугам утомленных лошадей. Большинство гостей уже разъехалось; и ярмарка сворачивалась — торговцы паковали товары. Завтра Макабру вновь обретет привычную тишину, а все палатки исчезнут, словно по мановению волшебной палочки. Тогда же мы решили, что отправимся домой на самолете нашего хозяина. Поэтому, неторопливо отобедав, мы отправились прощаться с исчезающим на глазах городком. Здесь мы пережили нечто незабываемое, взбудоражившее наши ощущения. Это мы осознавали очень хорошо.

Мы возвратились в город. Неделя пролетела в

срочных делах и неотложных встречах, поэтому мы виделись лишь несколько минут перед сном. Не успели оглянуться, как наступила долгая осень, Пьер дни напролет торчал в старой Патриаршей библиотеке с покоробившимся деревянным полом, где покосившиеся стеллажи были забиты византийскими трофеями и манускриптами. Аккад выправил для него разрешение у самого патриарха, личный секретарь которого владел несколькими языками и тоже занимался наукой, поэтому мог направлять моего друга на нужный путь: среди глубоких ям и зыбучих песков в писаниях отцов-пустынников, истерично проклинавших гностиков, и островков сохранившихся документов забытой веры, представляемой почти призрачными, загадочными фигурами Карпократа[73] и Валентина.[74] Мы с Сильвией тоже кое-что почитывали, однако без особого энтузиазма, в отличие от Пьера, полностью погрузившегося в свои изыскания — до такой степени, что его рассеянность стала притчей во языцех среди коллег.

---

[73] Примечания: 73

Карпократ — гностик первой половины второго века.

[74] Примечания: 74

Валентин — основатель одной из наиболее известных гностических школ в Риме. Его творческая деятельность приходится на 135–158 гг.

Иногда он совершал немыслимые чудачества, например, звонил мне в разгар пресс-конференции по экономическим вопросам, чтобы сказать:

«Кажется, я понял, в чем сила молитвы. Все зависит от того, *кому* она предназначена? Напомни вечером, чтобы я рассказал».

…Да уж, действительно, *проблема.* — Молитва, по-видимому, богу процесса? Нелегко концентрировать свои мысли на том, что вселенная — лишь гигантский абсурд, когда ландшафт и вся атмосфера Египта столь прекрасны, когда жизнь так заманчива, тем более когда тебя любят. Я положил трубку и, снова задремав, повернулся на бок, чтобы быть ближе к спавшей нагишом Сильвии, которая прижималась ко мне всем своим податливым телом, в точности повторяя мою позу. Мы спали, но как обычно спят в сиесту — изнуряющим полусном, навеянным жарким египетским полднем, прохладным морским ветерком и тишиной, которую нарушают лишь истошные «иа-иа» привязанного неподалеку осла. Стоило мне опустить веки, и вокруг нас вновь сгустилась тьма; я почувствовал, как язык Сильвии нежно прикоснулся к моему, а потом скользнул по груди, по животу, и, наконец, словно маленький колибри затрепетал над моим пенисом. Я держал

в ладонях ее прелестную головку, словно нечто бесплотное, и старался навсегда запомнить темные, коротко стриженые волосы, а потом мне захотелось ощутить пенисом и волосы, и округлые ушки, похожие на едва народившихся ягнят, и белые зубы, и губы, которые я потом собирался покрыть долгими счастливыми поцелуями. Мне было невмоготу возвращаться мыслями в старую скрипучую библиотеку, где блохи выскакивают из щелей, где похрустывают манускрипты, где над огромными пергаментами корпел мой друг, заплутавший в выморочном мире Карпократа. В этом мире являющем собой негатив мира уже напечатанного, вроде бы досконально нами изученного. Но он теперь казался лишь сплошным заблуждением, еще более опасным из-за своей неодолимой привлекательности.

— Поцелуй меня. Еще. Еще раз.

Нельзя не подчиниться подобному приказу, если он исходит от женщины. Все старо как мир — и всякий раз как впервые — так бывает у всех.

Еще до наступления зимы Пьеру удалось добиться давно задуманного; под предлогом официального визита в Верхний Египет, он взял во французском посольстве фелюку, не имея для этого мало-мальски стоящего повода. Миссия

Пьера была скромна, а посол его был человеком терпимым и до определенного момента позволял молодым дипломатам *en poste* предаваться приятным вольностям. Понятия не имею, чем Пьер обосновал мое присутствие, но в конечном итоге наша троица, несмотря на холодную погоду, отправилась из Бюлака, что под Каиром, вверх по реке, предвкушая двухнедельное (как минимум) путешествие на прекрасном судне. С фелюкой «Наср» управлялась команда из семи человек. Сорок футов в длину, две мачты, две каюты. Пока французы не прибрали ее к рукам, на ней довольно долго возили фрукты и древесину вверх по реке, поэтому она кишела паразитами. Однако для нильских судов нет лучшего лечения, чем некоторое время полежать в воде, после чего их вытаскивают, сушат, чистят песком и пемзой, и через день-другой они снова готовы к погрузке. С *élan*[75] истинного романтика Пьер вникал во все детали будущего путешествия, и судя по количеству заказанных им макарон, риса, масла, по уйме консервов, фруктов, сушеных овощей и вин, можно было подумать, что мы собрались отбыть в Полинезию. Увидев, что едят арабы,

[75] Примечания: 75
Порыв, душевное устремление *(фр.)*.

мы здорово смутились — однако они как будто не завидовали нашему изобилию и наверняка уравновешивали наши рационы, по крайней мере, воровали они постоянно и совершенно бесстыдно. Но дело свое эти парни знали хорошо, к нам относились по-доброму, поэтому мы старательно делали вид, будто ничего не замечаем, и только патроны, табак и такие дорогие пустяки, как фотоаппараты и лекарства, держали под замком. В общем, все было очень трогательно, и я тоже был увлечен приготовлениями, хоть и подтрунивал над азартом Пьера; на самом деле я втайне завидовал ему и испытывал почти такой же энтузиазм. Мне поручили комплектование походной аптечки и вооружение — ибо мы намеревались охотиться по вечерам, так сказать, обеспечивать себе ужин.

В одной, довольно просторной, каюте мы обнаружили длинный диван и массивный рабочий стол, и она отлично подходила как для занятий, так и для хранения ящиков с провизией. В другой вдоль внешней стены разместились койки и был превосходный вместительный рундук, так что мы решили устроить в ней спальню. Над палубой возвышалось нечто вроде застекленной рубки, где мы собирались по вечерам спасаться от

нильских москитов. Итак, приготовления были завершены, фелюка превратилась в элегантное и вместительное судно, и экипаж с удовольствием принял на борт пассажиров-иностранцев, прихвативших горы припасов, которыми при случае можно было поживиться. Капитан и его помощник, оба одноглазые, то и дело ссорились насмерть и во время этих скандалов буквально испепеляли друг друга взглядами.

Наши каюты оказались поистине божьим даром: там мы могли спрятаться от изнывавших от скуки разговорчивых арабов, могли спокойно заниматься своими книгами, картами и документами. Итак, в один прекрасный поздний вечер мы попрощались с каирским портом Бюлаком. Как нарочно, был полный штиль, и арабам нашим пришлось сразу же взяться за весла, чтобы вывести нас на середину реки, минуя остальные суда. Это они сделали с превеликим удовольствием (как всегда в начале путешествия), да еще и с громким пением. Похожая на летающую рыбу, фелюка грациозно скользила по поверхности в тучах брызг, вздымавшихся под веслами. Мы плыли по узенькому каналу, образованному островом Рода и материком. Роскошная растительность покрывала берега, и среди ветвей то и

дело мелькали великолепные дворцы с садами и парками, спускавшимися к самой воде. В одном играла музыка, слышалось пение, очевидно, из гарема, и наши гребцы притихли, с восторгом внимая женским голосам. Нам поведали, что дворец принадлежит великому паше Халим-бею; Пьер заявил, будто знаком с этим великим человеком и даже обедал за его столом, что произвело на гребцов большое впечатление. Пьер немного преувеличил, однако не без пользы для нас.

Очень скоро мы миновали все отметки мелей, и широкий, волшебно прекрасный Нил открыл нам свои объятия. Мы словно скользили по черному стеклу, горевшему золотым огнем в лучах вечернего солнца. Томно парили в этом зеркале облака. Наша команда перестала петь, держа курс на темнеющий горизонт, а мы сидели на носу и не могли оторвать глаз от причудливой игры света и тени на прохладной глади древней реки. Конечно же это путешествие должно было стать еще одним крайне значимым моментом, завершающим первый год нашего пребывания в этой дивной стране. Тот, кто способен чутко воспринимать красоту этих пейзажей, непременно ощутил бы, что душа его стала иной, а прибавьте к ним знакомство с Аккадом и великие загадки

древней цивилизации… Опыт, обретенный в Египте, разграничил прежнюю нашу жизнь и ту, которая еще не совсем определилась и пока представляла собой вереницу намеков и предчувствий. В тот вечер Пьер задумчиво чистил ружье, развернув его дулом к свету, драил до блеска.

— Неужели нам придется уехать? — в отчаянии спросил он, словно услышав мои мысли.

— Придется когда-нибудь.

Но я понял; он хотел сказать, что мы уже не сможем вернуться к прежней жизни — вместо нее будет что-то совсем иное. Побывав в Макабру, мы смотрели на наше прованское прошлое как на пройденный этап, и страстно желали рождения чего-то нового.

На непозволительной скорости мы мчались к закату, стараясь уйти как можно дальше от Каира, прежде чем в первый раз бросить якорь — в сущности, это был смотр нашим силам и нашему снаряжению. Удача сопутствовала нам; дул легкий ветерок, и мы могли воспользоваться в качестве кливера треугольным парусом, достаточно мощным, чтобы удерживать судно в равновесии и даже подталкивать его на самых настоящих озерах, которые Нил прорыл в своих берегах, ну а в иных ситуациях мы рассчитывали

на двойной канат — и на Ниле, и на Роне человек сам с незапамятных времен тащил свой корабль, когда хотел подняться вверх по течению. Но в тот день нам повезло с ветром и с течением, и мы прошли довольно большой кусок до того, как стемнело, и команда принялась искать место для стоянки, которое в конце концов было найдено — после яростных громких перепалок. Одноглазые соперники, как всегда, вопили и бурно жестикулировали, меча друг в друга огненные взгляды. После этих баталий мы причалили к западному берегу.

Едва фелюку привязали к вбитому в мягкую землю колышку, экипаж тут же бросился разводить огонь в переносном очаге, чтобы приготовить себе еду; их примеру последовал наш персональный слуга, за этим процессом присматривал Пьер, лучше меня и Сильвии говоривший по-арабски. Мы обратили внимание, что арабы наши обыкновенно варят чечевичный суп, едят они его с хлебом, иногда крошат туда пару луковиц и запивают водой прямо из Нила, мясо же было для них немыслимой роскошью. Однако выглядели эти парни настоящими здоровяками. Только в первый день, видимо, готовясь к долгому путешествию, они рано улеглись, не стали

ни петь, ни плясать, зато потом ежевечерне веселились напропалую. С реки тянуло сыростью; и чуть погодя густой туман скрыл от нас берега. Мы немного перекусили в каюте, радуясь, что у нас есть маленькая жаровня, над которой можно согреть руки. Это была первая весточка осенних холодов. Вообще-то дни были удивительно теплые для этого времени года — словно по забывчивости не желали расставаться с минувшим летом. А ночи случались разные — то сырые и холодные, то теплые, ароматные, полные гудения москитов. И ни одна не походила на другую.

В тот первый вечер мы были поражены открывшимся нам необыкновенным простором, как всегда на Ниле, потому что он постоянно меняется — то поднимается, то опускается, отчего берега тоже то отступают, то приближаются, то появляются, то прямо на глазах исчезают. Острова возникают и гибнут, проглоченные приливной волной, и вновь, по капризу реки, выныривают из ее глубин уже с выросшими деревьями — свежими, будто только что сотворенными. Нам еще предстояло все это прочувствовать, а в самый первый вечер мы молча поели, выпили кофе с бренди и занялись книгами и картами. Наконец я решил, что пора спать, потом ушла Сильвия,

а Пьер остался наедине со своим дневником, в котором намеревался записывать все события нашей жизни на реке. Перед сном я прогулялся по палубе. Везде лежали похожие на сбитые кегли арабы, завернутые кто во что, чтобы уберечься от сырости. Некоторые так скукожились в своих лохмотьях, что напоминали свернувшихся ежей. Изредка вздыхал в снастях речной ветер. Круглая бронзовая луна наконец-то появилась в небе, постепенно бледнея — по мере подъема; свет ее был настолько пугающе ярким, что проникал во все уголки нашей каты, Пьер даже оторвался от дневника и погасил керосиновую лампу. В лунном свете все предметы обрели диковатый, необычный цвет — книги и карты, горшки и сковородки. Где-то подал голос шакал, и к его печальному вою присоединился лай собак. Совсем близко, на реке, крикнула ночная птица. Я закрепил койку поудобнее и сказал:

— Пьер, не слишком засиживайся. Завтра тяжелый день.

Он кивнул.

— Хорошо.

Чуть позже, уже засыпая, я услышал, как он закрыл дневник и лег, положив рядом маленький фонарик и пистолет, а бесценный бумажник с

нашими документами и деньгами засунул под подушку. Довольно долго я балансировал на грани бодрствования и сладкого забвения, поэтому слышал, как что-то бормочет во сне лодочник, как стучат по носу фелюки капли воды, когда налетает порыв ветра. Потом сон все-таки перемог, и мой разум устремился туда, где были детство и любовь, поэтому, когда я повернулся на бок, и в темноте мне на запястье легла чья-то ладонь, я даже не понял, чья она.

С этого момента все дни словно слились в один длинный день, а все ночи в одну длинную ночь, время стало текучим и расстояния иллюзорными; мы двигались от одной мечты к другой, скользили от одной истины к другой, и от этого становилась ложной банальная хронология дневника, в котором Пьер пытался, вопреки реальному положению вещей, разделить нашу жизнь на некие временные отрезки. Когда день наполнен до отказа, так что вечером уже никаких сил, то перестаешь различать, где вчера, где завтра… Я собирал созвездия мгновений, яркие, как фейерверк, всполохи ежесекундных, но драгоценных событий. Это была коллекция многоцветных гравюр великой реки с ее напевами и тишиной, с ее странными капризами и неожиданными поры-

вами. Нил ни на минуту не успокаивался, словно неугомонный великолепный скакун, в полном расцвете юной красоты — заставляя мысленно мчаться за ним по древней земле. Но он же мог быть и ужасным и даже безжалостным. Достаточно вспомнить огромных крокодилов в верхнем течении! А еще торопливые волны, размывая податливые берега, выгоняют из гнезд кобр, уносят их с собой, или затапливают неглубокую могилу лодочника, по обыкновению вырытую на той самой дорожке, которую он сам протоптал к реке, и труп, кружась и постепенно освобождаясь от пелен, плывет по течению — такой же древний, как мумии фараонов. И еще один момент. Тихим вечером мы отправились через пальмовую рощу в деревню, где колоритная старуха продала нам молоко, отмерив его оловянной кружкой, и там, едва наступили сумерки, отчаянно взмыли в небо дикие голуби, спасаясь от наших выстрелов, но вынуждены были почти опуститься на землю под напором речного ветра. Арабы ощипали бедных пташек, а Пьер приготовил из них ужин. Впечатлений и воспоминаний уйма, но довольно сумбурных и отрывистых, настолько все дни спрессовались, слились вместе. Нам пришлась по вкусу привольная жизнь, не обременявшая нас

ни заботами, ни работой.

Мы с Пьером отпустили бороды. Мы подолгу не меняли одежду, хотя слуги, шокированные нашей неряшливостью, постоянно предлагали ее постирать. Для нас же существовала только череда волшебных дней, несших нас с собой, как река несла на своей спине «Наср». Однажды, уже добравшись до верхнего Нила, мы увидели немыслимое количество пеликанов, которые теснились — стадами, стаями или что у них там еще? — на поверхности воды, не выказывая ни малейшего страха при нашем появлении, и лишь когда мы подплыли совсем близко, они стали подниматься или приподниматься и, громко крича, бить по воде широкими крыльями. Пьер пришел в ярость от бессилия и от унижения, когда капитан без спросу взял из каюты сломанное, но заряженное ружье и, расстреляв весь заряд, все-таки убил одну птицу. Мы ужасно расстроились — словно это был альбатрос; однако весь экипаж, пользуясь полным безветрием, с веселым гиканьем, стал тащить добычу из воды, категорически не понимая ни нашего гнева, ни нашего чувства вины. Тащить было не так уж легко. Когда же птицу положили на палубу, то есть когда мы уже ничего не могли изменить, я преодолел

злость и уступил естественному любопытству. Этот роскошный пеликан весил фунтов сорок, не меньше. Густые мягкие перья на груди были молочно-белыми, но если на них дунуть, то верхняя часть пера приобретала розовый оттенок. Это удивительно красиво, когда птицы, дождавшись порыва ветра, взлетают и разнеженно подставляют грудь солнцу. Трогательно неуклюжая красота пеликана лишь усугубляла наши терзания по поводу злополучного выстрела.

Сильвия положила несчастную птицу на крышку люка под вечерние лучи солнца и зарисовала, пока арабы не стали его ощипывать, явно собравшись им пообедать. С наступлением сумерек повара взялись за дело, и Пьер, как истый француз, с искренним интересом вникал в тонкости приготовления пеликана. Мясо было жестким и жилистым, хуже старой говядины, и к тому же от него нестерпимо несло рыбьим жиром, так что мы не смогли заставить себя разделить трапезу с остальными. Зато команда наслаждалась нежданным подарком. Попытка извести рыбный запах, заполнив желудок пеликана тлеющими углями, насколько я мог судить, успехом не увенчалась. Однако арабы съели все до последнего кусочка. Как сказал Пьер, они называют пелика-

на Гамаль-эль-Бахр, что значит Речной Верблюд — возможно, находят нечто общее между горбом верблюда, в котором он хранит запасы воды, и огромным мешком под пеликаньим клювом. Кто знает?

С каждым днем Нил обретал все большее величие и мощь, и несколько дней мы продвигались по внутреннему морю, то есть по дельте, где было множество прелестных островков, то исчезавших, то появлявшихся-в зависимости от уровня воды. Они были как хрупкая мечта, в которую одновременно веришь и не веришь. Теперь я понимал, как могут выглядеть другие великие реки, например, Янцзы или Ганг, или старушка Амазонка. Весь мир проплывал мимо нас, переменчивый, как картинка в калейдоскопе. Днем — праздник цветов и оттенков, а ночью на небе теснились сверкающие звезды, вызывая в памяти цветущие ветки миндаля. Стоя вечером на палубе и прислушиваясь к вою гиены или следя за огоньком в дальней деревне, мы упивались невероятным покоем, чувствуя, как под нашими ногами мчит свои воды древняя река, облизывающая борт фелюки, ну а наши кроткие арабы спят себе и спят, пока судно мягко скользит по этому жидкому стеклу.

И вот мы подошли к тому месту, где по берегам выросли горы, до такой степени исхлестанные и выщербленные ветром и песком, что в них поселились миллионы птиц. Здешние бакланы и черные дамьеттские утки оказались гораздо более крупными, чем им полагалось быть по известным описаниям. С утра пораньше они летели огромными стаями, оглушительно хлопая крыльями, со стороны пустыни. Это было похоже на приближение бури. Потом их громоподобные крики доносились до нас с лысых горных вершин, которые они изредка покидали, чтобы полакомиться рыбой. Тут же обитали голуби, ястребы и ласточки. Мы стреляли в гусей, летавших низко, но зато защищенных такой толстой кожей, что, казалось, ее невозможно пробить. Удары пуль о перья отзывались в ушах барабанным боем, но на гусином строе это никак не сказывалось. Я тоже попробовал в них стрелять, но не сумел рассчитать высоту полета и отдачу ружья.

Вечерами, бросив якорь под невиданными утесами со спящим птичьим населением, мы смотрели, как белый лунный свет падает на заповедные горные выступы, сверкающие, словно украшенные драгоценными каменьями, на чернильно-черные гроты, на пещеры и расселины.

До чего же слабым и сумеречным казался нам после этого свет на сонной фелюке.

Подробное описание нашего путешествия я оставляю Пьеру, потому что где-то среди заметок в его дневнике должны быть упомянуты встретившиеся нам по пути храмы и города, монументы и гробницы. Лично я жадно впитывал увиденное, не заботясь о том, чтобы спросить название города или поинтересоваться историей памятника, ибо знал, что смогу в любое время об этом прочитать. А тогда мне хватало собственных впечатлений. Позднее, естественно, я пожалел, что не вел записи; память у меня отнюдь не идеальная, и вскоре в голове все перепуталось. Зато Пьер был неутомим и каждый вечер подолгу корпел над дневником, увековечивая события минувшего дня, в то время как Сильвия спала, заслонившись рукой от лунного света, а я чистил ружья и подсчитывал расходы.

Когда мы, в конце концов, развернувшись, отправились в обратный путь, погода была как на заказ: легкий ветер, или безветрие, отчего наши арабы совсем разленились и, предоставив фелюке плыть по течению, целыми днями развлекались бесконечными рассказами о том, о сем и курением. Один, самый старший, был у них

добровольным шутом, не очень обремененным одеждой, однако постоянно носил причудливую шапку из шкуры шакала, с которой свешивалось множество хвостов и кистей. К тому же, у него имелся «тамбурин»: керамический горшок, с одной стороны затянутый кожей, на котором он играл, как на барабане. Его пальцы ловко синкопировали, когда он выбивал монотонную мелодию, тягучую и одновременно необычайно ритмичную. Иногда к нему присоединялся флейтист с двуствольной флейтой, сделанной из двух длинных тростниковых трубок, которая пела пронзительно и жалобно, точно речная птица. Он на свой лад повторял томительную каденцию,[76] подхватывая заданную мелодию, а слушатели отбивали ладонями ритм, и на лицах их отражалось полное счастье. Как-то вечером, когда мы пришвартовались рядом с деревней, музыка привлекла ее жителей, на берег спустились женщины и стали для нас танцевать — при свете луны. Это было волшебное, незабываемое зрелище.

Путешествие в древний Египет, такое казалось бы долгое, подошло к концу. И однажды, когда

---

[76] Примечания: 76
Каденция — заключительный гармонический оборот.

день близился к вечеру, мы при полном штиле вошли, маневрируя между судами, в Бюлак, чтобы пристать к берегу рядом с будто бы торжественно встречавшими нас важными посольскими кавассами, похожими на пузатых пашей. Мы, едва не разрыдавшись, прощались с нашими арабами, с которыми успели крепко подружиться, чертовски жаль было разлучаться. Однако надо было подписать документы и выполнить кое-какие формальности, например, раздать подарки и чаевые. Все это желательно было проделать до окончательной передачи фелюки французскому посольству! Нам удалось управиться до темноты, после чего, притихшие и погрустневшие, мы сели в служебную машину Пьера и велели шоферу везти нас в Александрию.

Ночь стояла холодная, ярко светили звезды. Приближалась зима, и я невольно стал думать о том, что скоро закончится год, и нас ждут долгие рождественские каникулы, которые мы рассчитывали провести все вместе в Верфеле. А пока мы мчались навстречу морю, и мимо проносилась сверкающая пустыня. Рядом, положив мне на плечо голову, прикорнула Сильвия, она спала. Пьер же сидел на переднем сиденье с шофером, в наполеоновской позе, когда тот, опустив голову

на грудь, дремлет между двумя сражениями. Фары прокладывали длинные желтые тропинки на щебеночном покрытии дороги, кое-где занесенной песком. Мы были так переполнены впечатлениями! Настолько, что не могли даже говорить от восторга и от усталости. Но это была блаженная усталость.

Когда мы въехали в Александрию, там вовсю бурлила вечерняя жизнь, обычная картина в любой столице в летнюю пору. Даром что с тротуаров, едва повеяло осенней свежестью, исчезли уличные кафе под яркими тентами. Пьер высадил меня у посольства, где я занимал маленькую квартирку, и шофер помог мне донести вещи. Несмотря на поздний час, брат и сестра взяли с меня обещание приехать к ужину. В канцелярии я застал только курьера Райкрофта, который готовил почту для Лондона. В кабинете я нашел две записки, в одной сообщалось, что звонил пациент, у которого заболел корью ребенок, в другой, подписанной секретарем по связям с общественностью, — о приеме в честь важного гостя из Лондона. Прием устраивал посол, и мне по долгу службы полагалось занять место за столом. Когда штат немногочисленный, к подобным мероприятиям привлекают в основном холостяков и

третьих секретарей. К счастью, прием был назначен на другой день, и корь тоже могла подождать. Я принял ванну, переоделся и отправился в гараж за машиной. Ехать надо было через весь город. Пьер жил в великолепном особняке, который прекрасно подходил честолюбивому дипломату, обязанному вести светскую жизнь — на широкую ногу. Нет нужды говорить, что порядка в доме, несмотря на множество слуг, не было никакого. Всюду валялись картины и книги, а в последнее время к ним прибавились старые церковные служебники и византийские пергаменты, которые Пьер брал с разрешения секретаря в Патриаршей библиотеке. Мой друг углублялся в искушавшие его ложными надеждами труды, едва приняв душ и переодевшись. Ужин задерживался, поэтому после недолгих колебаний я выпил виски и закурил сигарету, предварительно запихнув в нее булавкой комочек гашиша. Этого как раз хватало, чтобы снять усталость и поддержать хорошее настроение на весь вечер.

— Пьер, ты очень продвинулся после инициации у Аккада? А у меня такое чувство, будто я узнал все, что мне полагается в этой жизни узнать.

— Там ужасная путаница, — тихо отозвался

Пьер, — из-за позорных инвектив и тенденциозных сочинений отцов церкви. Этим лукавцам выгодно представлять дело так, будто гностики вершат непристойные обряды во время своих религиозных бдений. Однако само учение оправдывает и религиозную ересь, и рыцарское, мирское неповиновение, ибо они против великой лжи, которую поддерживает Церковь. Отголоски едва ли не всеобщего отказа гностиков повиниться, подписать чистосердечное признание (как нынче принято говорить у русских), их можно найти в больших количествах, и что поразительно, даже там, где гностическая вера не получила широкого распространения. У нас дома, в Провансе, добровольными и действующими осознанно гностиками всегда были, конечно же, катары. Но что сталось с куртуазной любовью, почему она постепенно исчезла? Прославляемая трубадурами любовь внушала сомнения в ортодоксальной вере — главным образом потому, что предоставляла женщинам некую свободу и совершенно иную роль в обществе, роль Музы, облагораживающей более грубую мужскую душу. Тем, кому было вполне комфортно в железных путах инквизиции, подобные вольности пришлись не по вкусу… О, ты не представляешь, как

я рад, что мне открыли глаза, и как благодарен за это Аккаду. Основные принципы я уяснил, и теперь мне нужно разобраться окончательно. И я чувствую, что смогу это сделать. Да, смогу.

— Завтра отправлюсь на базар за духами, — сказала Сильвия, желая переменить тему, которая казалась ей скучной и — пугающей.

Она ведь знала, что ее брат способен на любое донкихотство, на любую крайность.

На этом все как будто закончилось. Тягучая осень постепенно суровела, и вместе с зимой приближалось время нашего отъезда, отчего мы все смелее предавались радостным ожиданиям. Зимний сезон балов и приемов, без которых немыслима посольская жизнь, был даже приятным, ведь мы знали, что скоро вырвемся на свободу и несколько недель проведем во Франции. Тоби уехал в Оксфорд, так как начался очередной семестр; Сабина — по своему обыкновению — в один прекрасный день исчезла, не попрощавшись. А чуть погодя на Пьера внезапно обрушилась ошеломляющая весть, касающаяся нашего увлечения гностицизмом. Это был настоящий удар. Вот как было дело. Обычно мы дважды в неделю наведывались в греческий квартал, где был салон парикмахера Аккада, роскошный,

который с удовольствием посещали и дамы, и господа. Клиентов там всячески ублажали, предлагали кофе, трубку, газеты, доставленные по морю из Европы. А в случае особой спешки — проглотить пирожное прямо в кресле, пока опытный цирюльник делал свое дело. Короче говоря, Пьер стал завсегдатаем салона. И вот однажды он разложил на коленях какой-то старый журнал, решив почитать, пока цирюльник занят его головой. Там он и наткнулся на статью об обманщиках, мошенниках и прочих египетских жуликах, фигурировали карточные шулеры, фальшивомонетчики, сутенеры. Потрясенный Пьер с ужасом обнаружил и подробное описание так называемых религиозных посвящений, которые преступники устраивают, чтобы поживиться за счет легковерных туристов. Там говорилось и о разных ступенях посвящения, из которых первая — посвящение в члены тайного общества, коих в Египте — тысячи (и все до единого фальшивые, с точки зрения журналиста), вторая — присутствие на соответствующей церемонии инициации и в конце концов… Пьер не стал читать дальше. Сердце его бешено забилось, он даже стал задыхаться, и удивленному парикмахеру пришлось отпустить своего клиента недобритым. Пьер бросился

к телефону и позвонил Аккаду в контору, однако секретарь ответил, что Аккад уехал на несколько дней и вернется только к концу недели. Отчаяние и смятение, охватившие Пьера после чтения статьи, были просто неописуемыми. Но, что самое ужасное, в журнале среди прочих имелась фотография, сделанная во время церемонии (точь-в-точь такой, как наша) в мечети Абу Мануфа, и вел эту церемонию Аккад с хитрым и в то же время невозмутимым видом — по крайней мере, так показалось моему расстроенному другу. Он не знал, что делать, куда бежать. Мир словно перевернулся. Записав название и выходные данные журнала, Пьер по дороге домой заказал себе экземпляр. В голове у него царил полный сумбур; друг мой был на грани нервного срыва, настолько глубоко он погрузился в идеи Аккада, всецело ему поверив. Неужели это сплошной обман?

После ланча я пришел домой и увидел Пьера: закрыв лицо руками, он лежал на кушетке. Бледный, притихший, он выглядел так, словно у него высокая температура, но жутко разъярился, когда я попытался посчитать пульс. Да, вероломство Аккада ранило его в самое сердце. Я протянул ему стакан с виски, который он взял дрожащей рукой и выпил, не заметив даже, что пьет — до

того был поглощен злосчастной статьей, которая поставила под сомнение честность Аккада и *bona fides*[77] секты. Я так за него переживал, что он все-таки поднялся и стал рассказывать, протянув мне журнал с уличающими фотографиями.

— Я заказал еще один экземпляр, — печально произнес он. — Хочу потребовать у Аккада объяснений, а этот надо вернуть Фахему.

Он со стоном опустился на кушетку и подпер ладонями подбородок. Я внимательно прочитал статью. Автор предполагал, что поначалу дешевыми трюками собирались заманивать американских туристов, однако сразу стало очевидно, что суеверны не только американцы: чтобы принять «посвящение», со всего Ближнего Востока стали приезжать верующие, и из Египта тоже… Трудно описать чувство, которое я испытал: отчасти это было изумление, отчасти облегчение, отчасти недостойное желание сказать «я ведь тебе говорил», хотя, конечно же, я ничего не говорил и даже ни разу ни в чем не усомнился. В сущности, то, что происходило в мечети, произвело на меня не меньшее впечатление, чем на остальных. А теперь все было

---

[77] Примечания: 77
Порядочность, совестливость *(лат.)*.

поставлено под сомнение…

— Что ты думаешь? — со слезами на глазах спросил Пьер.

Стараясь сохранить спокойствие, я пожал плечами и тоже сел.

— Нас обманули. Ну и что? По крайней мере, Аккад ничего с нас не взял.

— Представляю, как он в душе веселился, — Пьер яростно ударил кулаком по колену. — Я хочу вызвать его на дуэль — послать к нему секундантов.

— У тебя нет секундантов, и вообще дуэли давно вышли из моды. И потом, что скажут в посольстве? А если ты убьешь его?

Пылая злобой, Пьер метался по комнате, как тигр в клетке. Очень театрально.

— Вот они, друзья! — с горечью произнес он, почему-то обращаясь к картинам на стенах. — Друзья!

От меня не укрылось презрение, проскользнувшее в его голосе, и я сказал:

— Пьер, сядь на минутку и подумай. Что, собственно, произошло? Статья убила твою веру? Зато ты исцелился! Или ты предпочитаешь верить в ложь?

— Но мне она нужна, — жалобно, как ребенок,

произнес он. — Мне нужна эта вера. Нет, Аккад не мог нас обмануть. Не мог. Не мог он так поступить.

Казалось, он вот-вот расплачется.

Однако делать было нечего и оставалось стоически принять неизбежное, сравнимое лишь со смертью друга или с провалом грандиозного проекта, сулившего замечательное будущее. В тот же вечер, по дороге в лазарет, я вернул Фахему журнал. Мне хотелось думать, что постепенно все утрясется, и Пьер найдет себе другое занятие, какую-нибудь философию, которой сможет увлечься со всей присущей ему страстностью. Однако признаюсь, надежда на это была слабой, и я с беспокойством ждал возвращения Аккада. Мне не хотелось разрыва с ним, ибо Аккад был для нас олицетворением Египта, всей этой страны и ее просторов — в этом человеке воплотилась ее поэзия. Двое суток Пьер не находил себе места от отчаяния, словно похоронил собственную мать; и спал только благодаря прописанному мною снотворному. Потом ему принесли заказанный журнал, и он положил его на подоконник — дожидаться Аккада, чей приезд, как ни странно, застал нас врасплох. Обычно он всегда звонил перед приходом, а тут вдруг заявился к нам пе-

ред ланчем, в самое неподходящее для визитов время, и, потоптавшись у порога, робко попросил разрешения войти, теребя в руках зеленую шляпу. Пьер подскочил и бросился ему навстречу, переполненный яростью и любовью.

— Аккад! — вскричал он, — зачем тебе это понадобилось?

Аккад, растерянно моргая, смотрел на нас с явным изумлением.

— Макабру, — продолжал Пьер. — Твое вранье. Зачем?

С мольбой и возмущением он протянул к нему руки, и Аккад, тоже протянув руку, спросил:

— Но как ты догадался? И когда это случилось?

В ответ Пьер схватил с подоконника журнал и стал пихать его чуть ли не в лицо Аккаду.

— Вот! — крикнул он. — Тут написано!

Наш друг все еще изображал крайнее изумление, и я, не выдержав, взял журнал и стал отыскивать статью. Поверите ли? Ее там не оказалось! Я мрачно переворачивал страницу за страницей и не мог ее найти. Оторопев от ужаса, Пьер буквально онемел, Аккад же, усевшись у камина, принялся разглядывать нас со странным выражением робкого счастья на лице, словно во всей этой нелепице таилось нечто радостное. Я

все сильнее злился на Пьера, который вел себя, как глупый мальчишка, возмущаясь неизвестно чем.

— Ну, нашел? — нетерпеливо крикнул он.

Аккад, поджав губы, без тени улыбки следил за происходящим. Я продолжал с досадой листать страницы, но статьи в журнале не было. Тогда я внимательно прочитал содержание. Тоже ничего похожего. Пьер с яростным воплем вырвал у меня журнал и сам стал искать. И все без толку. Статья исчезла. Тогда Пьер с мрачным видом уселся в кресло и, подперев кулаками подбородок, со злобой уставился на нашего друга, который отвечал ему взглядом, полным невинного смирения, но не пытался объяснить странное происшествие.

— Она была тут, и тебе это известно, — задыхаясь, проговорил Пьер.

Аккад, видимо, не желая больше мучить его, кивнул.

— Ты прав, мой дорогой Пьер. Она тут *была*, Я знаю, что была, потому что сам поместил ее сюда — абсолютно осознанно. Некоторое время назад я попросил Сатклиффа написать статью — для подобных оказий. Журнал лежит у Фахема, и он подсовывает его тем клиентам, которых я ему называю. Ну, вот! Теперь ты знаешь.

Пьер слушал его с открытым ртом, щеки его горели от злости и радости. Когда Аккад умолк, он восторженно завопил:

— Я знал! Я все время знал!

Я еще никогда не слышал подобного ликования в его голосе. Неудивительно, ведь только что пережитое разочарование заставило его мучительно страдать. К чему было затевать это безумие? Я рассердился на Аккада за то, что он посмел играть чувствами моего друга.

— Ради всего святого, зачем тебе это понадобилось? — не выдержал я.

Аккад улыбнулся, не скрывая своего удовлетворения:

— Я очень рад, что наш маленький заговор сработал. Видишь ли, Пьер, это была очень важная, чрезвычайно важная проверка. Теперь ты понимаешь, мой дорогой друг, что, несмотря ни на что, продолжал верить в *якобы* неправду? Твоя вера не пошатнулась, ведь так?

— Так, — подтвердил Пьер.

— Кстати, речь идет не просто о вере, а об убежденности, скажем, научной убежденности. Я не сомневался, что ты один из нас, но все-таки хотел получить подтверждение. Вот и попытался посеять в тебе сомнение. А если я пойду дальше

и скажу тебе, что статья вовсе не лживая, в ней все *правда*...

Пьер расхохотался и отвернулся, принимая нарочито хмурый вид.

— Опять дурачишь, — сказал он. — Наверно, я это заслужил. Правда, теперь ты лучше знаешь меня, поэтому не надо повторяться.

— Не надо, так не надо, — отозвался Аккад, — но только обещай подумать о том, что мы идем очень узкой тропинкой между реальностью и иллюзией. Это удивительно только для тех, кто привык к другому образу мышления.

— Ничего удивительного, — сказал Пьер, но как будто самому себе, и, взяв со стола письмо, которое начал писать, включил свет. — Человек находится в ловушке, если верить Аккаду, и в наше время ему уже не поможет никакое добро, — прочитал он. — Всем на все плевать. Добро и зло, пессимизм и оптимизм зависит от группы крови, а не личного расположения небесного ангела. Кто бы ни следил за нами прежде, кто бы нас не опекал, кто бы ни думал о нашей судьбе и о судьбе нашего мира, его уже нет — его сменил другой, и он упивается нашим послушанием и преданностью самым низким инстинктам нашей природы. — Пьер замолчал и вопрошающе по-

смотрел на Аккада, который, кивнув ему, закурил желтую сигарету. — Мне продолжать? — спросил Пьер, но не стал ждать ответа. — Самого же человека от полного осмысления своей собственной природы и, соответственно, законов реального мира защищает твердая чешуйчатая оболочка, что-то вроде катаракты, напластование на живой душе, твердое, как рубероид. Такое почти невозможно прорвать. Мы отгорожены от реальности. Если не сделаешь над собой усилие, то не сможешь увидеть истину в истинном, так сказать, свете — примерно так выглядит солнце, если смотреть на него сквозь закопченное стеклышко.

Это была выдержка из письма к Сильвии; они частенько обменивались подобными посланиями. Пьер положил письмо в конверт, а конверт — в толстую тетрадь в зеленом сафьяновом переплете, лежащую на подоконнике. Это был дневник его сестры.

— Будем осмыслять.

Аккад был счастлив, он весь сиял.

— Нельзя слишком часто говорить об этом, слишком часто пытаться определить предмет, уж очень деликатная тема, и не стоит самому лезть в петлю, однако каждая такая попытка для

нас благотворна. Мы нуждаемся во все более и более точных определениях, чтобы не поддаться грубому воздействию окружающего нас мира, уберечься от навязываемых им ценностей, мы как можем, стараемся сопротивляться. Похоже, тебе лучше многих других удалось схватить суть — наверно, помогло французское образование? Ты правильно понял, что вселенная у гностиков далека от стабильности, что втискивать ее в некие модели и методы дело рискованное. Она не подходит для изобретения причинно-следственных связей, хотя некоторые мнят, что такое возможно. Стоит это осознать, иным становится восприятие смерти, оно делается все более глубоким, набирает силу, и тогда человек начинает *импровизировать*, перестает жить в соответствии с заранее определенным планом. И это уже совсем другая жизнь, в высшей степени ненадежная, тревожная, беспокойная, но зато осиянная той истиной, которую ты даже не мечтал познать.

Они рассмеялись и, неожиданно для самих себя, обнялись, сподобленные на этот порыв общностью мыслей и представлений. Пьер сразу отмяк и повеселел, не скрывая, что исцелили его слова Аккада.

— Просто тяжесть свалилась с плеч, — по-

вторил он несколько раз, наливая себе вино и приглашая нас сделать то же самое. — И все ж ты только представь, Аккад, что я бы не узнал правду, ну, что журнал поддельный…

Аккад внимательно на него посмотрел:

— Так, собственно, и было задумано, но мне стало тебя жалко, в идеале нужно было оставить тебя один на один с сомнениями, чтобы они постоянно жгли тебя и отравляли твою веру в нас. Однако я человек мягкий, мне неловко смотреть на страдания друзей, потому и решил сказать тебе правду. Но, если желаешь, то могу показать те места в статье, которые соответствуют действительности. Короче говоря, у тебя могло возникнуть много вопросов насчет нашей ассоциации, на которые я не в состоянии дать убедительные ответы. Например, иногда спрашивают, зачем нужны все эти изрядно отдающие фольклором ритуалы с мумией — с настоящей, должен заметить. Какой в них смысл? Но ведь церемония пришла к нам из древности, и сегодня никто не может это объяснить — мы лишь стараемся в точности повторять ее. Что же до истоков, то они, по всей видимости, относятся ко времени гораздо более давнему, чем наша эра. Мы подготавливаем мумию с великим тщанием, строго по

рецептам бальзамирования, дошедшим до нас из Верхнего Египта. Очень любопытно на редкость точное замечание в шекспировском «Отелло» — где он говорит о том, что платок, подаренный им Дездемоне, был окрашен составом из «мумий, который умелец приготовил из девственных сердец». Но если ты скажешь, что тут всего-навсего доброе колдовство или безобидное поверье, я вряд ли найду, что тебе возразить.

Аккад опять сел, но на сей раз явно приготовившись к отражению атаки, и, действительно, далее последовал своеобразный интеллектуальный марафон, длившийся до десяти вечера. Можно было подумать, что друзья встретились после столетней разлуки. Приходили слуги, звали нас к столу и удалялись с обиженным видом. Мы не желали думать о ланче, пока суфле бедняги Ахмеда не испустило дух. Тогда мы все же взялись за еду, но как бы между прочим, потому что продолжали что-то выяснять, спорить, соглашаться, а иногда даже нечестиво хохотать.

Сильвия отправилась на верховую прогулку, и мы неистовствовали втроем. Признаться, мне стало гораздо проще следить за мыслью Аккада, он показался мне обаятельным и остроумным собеседником, несмотря на некоторую монотонность

его рассуждений о секте и вере. Лишь отдельные куски сохранились в памяти — естественно, те, что заинтересовали меня более других.

— Пьер, ты говоришь об обществе, но твое представление о нем основано главным образом на отношении к сформировавшей его человеческой психике, ибо оно — ее воплощение. Для нас же уравнение вещь-грабеж-добыча-капитал и уравнение цена-ростовщичество-отчуждение, в общем-то, отражают современное положение вещей, противоречащее природе, той идеальной природе, власть над которой была узурпирована низшим демоном Мухой.[78] Конечно, марксист оперирует экономическими терминами, стоимость рабочей силы и прочее. Фрейдист — терминами импульса-подавления, ориентируясь на экскременты и, в основном, застопорившись на этой анальной стадии в своем образовании.

— А мы? — спросил Пьер. — Чем оперируем мы? Я имею в виду секту?

— Мы воспринимаем общество примерно так же, как Артур и Рыцари Круглого Стола, цеховое сообщество в лучшем своем воплощении. Вероятно, ты почуял это сходство, оно и привлекло

---

[78] Примечания: 78
Демон Муха — Вельзевул: Vaal-Zebab — повелитель мух.

тебя к нашей секте, ведь ты из рода Артура, по крайней мере, по крови. Пьер, рассмеявшись, помотал головой.

— Увы! — воскликнул он, глядя то на меня, то на Аккада и снова качая головой. — Увы!

— Почему? — удивился Аккад.

— Потому что предатель де Ногаре — вот кто был первым и самым знаменитым моим предком. Тайный агент короля, посланный шпионить за тамплиерами, он обманом затесался в орден, чтобы в подходящий момент выдать его. В общем, пращур мой весьма преуспел в роли Иуды. Некоторые говорят, что его дедов (они были катарами) осудили и сожгли на костре, вот он и отомстил за них. Если так, то я его понимаю. Однако факт остается фактом: Филипп Красивый щедро заплатил ему землями, усадьбами, реками и деревнями, поэтому не исключено, что причиной предательства были банальные тридцать сребреников. Возможно, так оно и было, под конец он совсем выжил из ума, и об этом всем было известно. Потом его наследники, подтверждая сугубо поэтический закон возмездия, потеряли все, что он заработал предательством — уцелел только старый шато в Верфеле, который с каждым годом становится все более обременительным.

Пьер замолчал и долго сидел, не сводя глаз со скатерти, словно перед ним проносились картины из далекого прошлого его семьи. Я знал, как мучительны для него подобные откровения, он тут же впадал в тоску. Даже когда он помогал Тоби в изысканиях, касавшихся тамплиеров, ему пришлось себя пересилить, чтобы рассказать правду. Это был храбрый поступок, в конце концов он мог просто уничтожить документы в домашнем архиве, чтобы его тайна навсегда осталась тайной, а он этого не сделал.

— Я — потомок Иуды, — тихо произнес он, глядя на Аккада, — и не знаю, как это воспримет общество, которое…

— Свои Иуды были и у Рыцарей Круглого Стола, — сказал Аккад, улыбаясь заметно погрустневшему Пьеру. — Не огорчайся. Тебе было бы куда тяжелее, будь ты сыном и наследником Артура. Знаешь, мы считаем, что боги — это псы, только имена этих псов читаются справа налево.[79]

Уже почти стемнело, когда Сильвия вернулась домой с покупками, и ее нарочитое спокойствие встревожило Пьера, который тотчас подошел к ней, чтобы взять пакеты.

---

[79] Примечания: 79
Игра слов: «god» (бог) — «dog» (пес) *(англ.)*.

— Ты сегодня читал газеты? — спросила она Аккада. — Я купила одну. Посмотри первую страницу.

Не узнать актера Казимира Аву было невозможно — фотография, сделанная профессиональным фотографом: Казимир в костюме Гамлета с кинжалом в руке. Заголовок сообщал о его гибели — автомобильная катастрофа неподалеку от Каира. Взорвался бак, верно, от перегрева, хотя о подобном мы слышали в первый раз; машину так быстро охватило пламенем, что актер не успел выскочить. Пораженный Пьер прочитал это вслух, страдальчески наморщив лоб, — Ава очень ему нравился — хотя Сильвия на дух его не переносила. Взглянув на непроницаемое лицо Аккада, я подумал: или он предвидел нечто подобное, или знал о случившемся. Неужели знал? Ну, конечно же, подобные новости будоражат весь город, и телефон разносит их моментально; он легко мог узнать. И все же…

Странное дело: несчастный случай произошел при свидетеле — и при каком! Сам Жан Макаро, шеф городской полиции, ехал следом за зеленой «лагондой» Авы и все видел. Меня это насторожило, поскольку они оба участвовали в бдении в честь Абу Менуфа, я уже было открыл рот, что-

бы поделиться своими мыслями, и тут Аккад, обернувшись к Пьеру с самым невинным видом, произнес примечательную фразу:

— Теперь ты понимаешь, что мы не шутим? — вставая, спросил он, после чего погасил сигарету и взял шляпу.

Сколько времени прошло, а я отлично помню эту сцену, как и все остальное, что было пережито в Египте — его миражи мы никогда не забывали, куда бы ни забрасывала нас судьба.

Какое счастье — отыскать правильный путь в лабиринте скрытых мотивов; собственно, это и хотел сделать Сатклифф, берясь за свою последнюю книгу. Однако то ли материал показался ему слишком скучным и противоречивым, то ли отступничество Пиа лишило его сил, столь необходимых для творчества, в результате книга осталась незаконченной. Чем талантливее художник, тем очевиднее его эмоциональная слабость, тем непреодолимей его инфантильная зависимость от любви. Естественно, я всего лишь перефразирую то, о чем он сам постоянно твердил. А теперь он ушел, оставив венецианские дневники и корзинку с письмами, чужими и своими; дело в том, что письма он всегда писал от руки в двух экземплярах и тщательно хранил

копии. Потому я и узнал так много интересного о его взаимоотношениях с Пиа. Ведь он сберег и ее робкие, нерешительные, но иногда и грубые послания, держал их в особой бархатной папке ярко-зеленого цвета.

— В наше время предпочитают работать с документами, — обычно повторял он.

Когда я выплеснул все пережитое на бумагу, стало легче, хотя нетрудно заметить, что сам процесс записи понуждает вас как-то упорядочить материал, тем самым, внося в него некую фальшь, будто бы вы все же ищете причину трагедии… Тогда как именно случайности, неожиданности сыграли столь огромную роль в наших судьбах, что немыслимо доискаться до первопричины — не исключено, из-за этого Роб проиграл сражение со своей последней книгой. Он был страшно подавлен, поняв, насколько существенно случай определял его жизнь и поступки. Если бы не встреча с Тоби, говорит он, он не узнал бы нас, но еще более удивительной игрой случая тогда, в Венеции, было его знакомство с Аккадом.

К тому времени (я цитирую) Сатклифф лишился «своего особого тембра» в творчестве, он сравнивал это с неожиданной потерей верхнего регистра у сопрано. Ему отказал голос. Скорее

всего, это стряслось из-за неудачного лечения Пиа у корифеев психоанализа, и еще из-за ее связи с негритянкой. Великий Сатклифф понял, что остался один на один со своим искусством, когда несся на громыхающем поезде через Ломбардскую равнину в направлении Венеции — в направлении неврастенической печали фиолетового гниющего города. Все потеряло для него вкус, но желая остановить фонтан слез в своем сердце, который будто вобрал в себя все фонтаны Рима, он изобразил ощетинившееся легкомыслие, Высшее Равнодушие, и литература получила роман, до сих пор считающийся у сливок пишущей братии забавно пикантным; его жутковатый смех был сродни самосожжению. Как ни парадоксально, но Сатклифф не мог отогнать мысли о том, что если бы Пиа *умерла,* было бы лучше для него, как-то бы все определилось. А тут… Бросить его ради «дорогой Трэш», ради негритянки… Смешно быть жертвой любовной измены, а если человек, к тому же, знаменит и весьма высокого о себе мнения, то он впадает в ярость. Конечно, подобные эмоции чаще свойственны женщине, но если хорошенько их позондировать, то можно добраться до самой глубины, откуда все начинается и где обитают первые комплексы.

Прекрасная Трэш — с ее голосом великолепно настроенной скрипки, с ее пахнувшей, как мускатная дыня, кожей и неисправимым акцентом южанки — ленивая чувственная тореадорша любовных схваток — была надежно защищена от всяких идей, включая постулаты психоанализа и Романтическую Любовь, ибо услышав слово, состоящее больше, чем из одного слога, мгновенно засыпала.

— Ох, ох, — проникновенно лепетала она, лениво поворачиваясь на бок и проваливаясь в сон, похожий на кому. — Ты меня убиваешь, любовь моя.

Подумать только, что Сатклифф даже не подозревал о том, что все это происходило еще до его знакомства с Пиа.

Чудовищно.

— Любовь моя, Робин до смерти расстроен.

Правильно, Робин был до смерти расстроен, когда сидел, выпрямившись, в купе первого класса и сочинял длинное плаксивое письмо бледной девушке — которая, надо отдать ей должное, страдала не меньше него. *Пиа любит Роба,* написала она губной помадой на стене *vespasienne*[80] на

---

[80] Примечания: 80
Общественная уборная *(фр.)*.

Рю-Коломб, когда ждала его, чтобы навсегда с ним расстаться, и заодно прогуливала свою балованную борзую. Трэш в это время брала урок английского языка у французской шлюхи с самым длинным языком во всем христианском мире. Пребывая в неведении, Сатклифф наслаждался счастьем и гордился своей девочкой с узкими губами и порочным, грациозным, худеньким телом. А Трэш была вроде бы любимой американской подругой из не помню какого университета, умевшей массажем вылечивать ревматизм, прострел в шее и все прочее. Узнав правду, он почему-то сразу ощутил ужасную боль в пояснице, достойную дюжего лесоруба, но рядом уже не было Трэш с ее длинными шоколадными пальчиками, будто созданными для фортепьянных импровизаций регтайма, ночью, глубокой ночью.

Итак, Сатклифф писал о себе; и из путаной кутерьмы венецианских заметок вырисовывается нечто похожее на автопортрет, хотя, сколько он ни испробовал интонаций, ни одна не совпадала ни с темой, ни с настроением. Ему хотелось изобразить себя центральным персонажем новой книги, однако втиснуть выдуманного Сатклиффа в привычную для прообраза реальность ока-

залось не так-то просто. Поэтому в рукописи столько загадок, ибо, не успел автор приняться за работу, как его «герои», то есть Пьер, Тоби, Сильвия и я, начали заглядывать ему через плечо и подсказывать слова. Его радовало то, что он нашел подходящую импрессионистскую форму, но раздражали сумбур и непоследовательность нашей жизни. Строптивые персонажи никак не желали четко формулировать свои мысли — особенно о любви, то есть о предмете, который более прочих занимал нас. Отношения нашей троицы он склонен был трактовать как несчастный случай, которого, будь мы осмотрительнее, можно было бы избежать. Но по неотвратимой ассоциации ему вспоминалось его собственное (пусть и неведомое) многолетнее пребывание «третьим» в троице столь же несчастливой: он, Пиа и прелестная Трэш. Что же делать с книгой? Насколько он вправе отступать от фактов? А что если подать все таким вот манером? И после долгих раздумий…

«Сатклифф — нет предела его величию — прославился и даже несколько разбогател в тот год, когда умерла его жена. Вот тогда он и принялся безотлагательно переиначивать свою жизнь, удушающе затхлую от забот и болезней. Отныне,

думал он, каждую весну буду ездить в Венецию. Его лучшим другом был беспутный оксфордский преподаватель Тоби Годдард, изучавший крестовые походы в шато близ Авиньона. Стало быть, после Венеции — на все лето к нему. Такие вот планы. И не на один год; программа на всю оставшуюся жизнь. При чем тут Венеция? Вульгарный выбор — отовсюду смрад, каналы кишат крысами. Возможно, тяга к дешевой романтике. Да нет, судя по его книгам, он был по-настоящему талантлив. Ура! Оба — Робин и Тоби — неуклюжие великаны, друзья прозвали их Гогом и Магогом. (Возможно, Сатклифф и гений, но уж точно не красавец.) Оба ходили в мятых твидовых костюмах, и у обоих были светлые, похожие на паклю волосы и белесые ресницы. Оба страдали близорукостью и носили очки с одинаковыми диоптриями, часто на что-то натыкались, садились мимо стула и наскакивали друг на друга, когда, не переставая разговаривать и жестикулировать, неловко топтались по комнате. Оба умели ходить на руках и однажды даже устроили соревнование, обойдя таким манером собор Святого Петра. С небольшим отрывом победил Тоби. Итак, Венеция и гений — что еще надо? Сатклифф оправдывал свои довольно дорогие путешествия тем, что пи-

сателю недостаточно башни из слоновой кости. Ему нужны пространство, изящество и плотный концентрат вековых ностальгии по идеальному прошлому, выраженному в камне и металле. И к черту Рёскина.[81] Итак, весьма объемистый господин в твидовом пиджаке, от которого пахло как от вымокшего пса, отправился в 19… году наслаждаться весной на легендарных каналах. Гог покинул Магога в Париже, бесконечно вздыхая и заверяя в почтении и сожалении; но этой бесподобной парочке предстояло в скором времени воссоединиться на юге в Авиньоне.

При Сатклиффе всегда был черный кожаный портфель с акварельными красками, ручками, китайской тушью, японской сепией, гуашью и т. д. Оттого его письма, навеянные одиночеством, украшены великолепными рисунками в розовато-лиловом, алом, желтом, зеленом тонах… Он нашел способ обмануть писательскую неврастению: садился на балкон над тем местом, где канал делал петлю, и писал письма, а потом иллюстрировал их цветными палочками пастели или гуашью.

Хотите спросить, кому предназначались пись-

---

[81] Примечания: 81
Рёскин, Джон (1819–1900) — английский писатель и критик.

ма? Скажем, нескольким друзьям, разбросанным по всему миру, например, брату жены, туповатому врачу, до ужаса откровенному. Его сходство с сестрой ограничивалось только формой тонких, изящных рук — но это было не так уж важно, ведь Сатклифф писал и жене тоже — длинные многословные письма, желая держать ее в курсе своих чувств и переездов. Эти пробы пера он или уничтожал, спуская в унитаз, или — если в них были удачно написанные куски или воспоминания о значимых и прискорбных событиях — посылал Тоби, а то и брату Пиа, с требованием сохранить их в надежном месте. Когда-нибудь, думалось ему, он выудит весь этот разрозненный материал и разожжет среди олив костер, чтобы сказать последнее «Ave» своей писательской жизни, которая была так щедра на обещания, и так богата разочарованиями. Когда-нибудь он станет беззубым стариком, психопатом и бездарью — высохшим, как русло исчезнувшей реки. Что тогда? Ну, тогда, возможно, восток, маленький монастырь в горах Таиланда, обритая лысая голова, молчание. Или монастырь траппистов в Марселе, где он будет с хмурым видом целые дни просиживать на одном месте, как старик Гюисманс перед смертью. Сатклифф не

мог представить, как проведет заключительную часть своей жизни; редко кто может. Подобно всем нарциссистам, он считал старость и смерть уделом других, а сам строил грандиозные планы, хотя зеркало постоянно предостерегало его на сей счет. Зубов у него оставалось все меньше, и вскоре ему придется обзавестись искусственными, чтобы по-прежнему наслаждаться пищей. Его сексуальные потребности стали острее, но — быстротечнее. О *ejaculatio*![82] Бордели он не переносил, поэтому целиком зависел от мимолетных увлечений, нечасто баловавших его. Себя он стал видеть скорее *Sutcliffe accoucheur des dames, accoucheur d'âmes*.[83] В мечтах ему являлась идеальная проститутка в облике послушницы, исполняющей долг перед богом — через блуд, которым упивается человеческая тень, фантом мужчины или женщины. Не имело смысла спрашивать его, что значит последняя фраза. Иногда жена задыхалась от его неуклюжей нежности и ощущала себя, словно новобранец, угодивший на военную службу. Если хотите знать, как она

---

[82] Примечания: 82

Семяизвержение *(лат).*

[83] Примечания: 83

Сатклифф, принимающий роды у женщин, принимающий излияния душ *(фр.).*

умерла, читайте дальше. Это случилось в другой стране, среди серых, со стальным отливом олив. В общем-то, для писателя, у которого только что умерла воображаемая жена, в смерти столько же реального, сколько в игрушечной собачке. Вот и Сатклифф думал: жизнь дается один раз, старина. Все выдумка, что мы думаем и пишем о смерти. Теология — как растаявшее мороженое или чересчур мягкая колбаса. Лучше верить *pour l'amour a quatre pattes* — в любовь на четвереньках.

Чувственность снашивается, как зубы у старого пса. Откусишь от натурального продукта, но придется выплюнуть. Однако здесь, в Венеции, мысли о натуральном продукте вряд ли уместны, ведь город этот предан принципам цивилизации. Хочешь не хочешь, приходится пересматривать свои взгляды. Вот и Сатклифф уподоблялся бедняжке Пенелопе, которая старательно ткала на своем станке изображение желанной мечты, терпеливо поджидая возвращения, сами знаете кого. Но в наше время герой не возвращается. Нам доподлинно известно, что он никогда уже не придет… Остается довольствоваться *L'amour vache* и *L'amour artichaut*,[84] он любит меня, она

[84] Примечания: 84
Любовь коровья, любовь артишоковая *(фр.)*.

не любит меня… С падением бога нам ничего другого не остается. Возможно, оно и к лучшему. В давние времена, когда бог существовал, от его фаллоса исходило такое сияние, что смертные, боясь ослепнуть или лишиться разума, осмеливались смотреть на божество лишь со спины. Согласно Фрейду, впоследствии это привело к иррациональной боязни колбас, нападения сзади и отцовского насилия. Что еще? В один прекрасный день Сатклифф попал к каннибалам, где его мастерски окоротили; позднее, уже в Греции, на Афоне, его мучили смрадные ветры, испускаемые в монашеских кельях… зов любви старой Византии, как он думал…»

Непостижимая загадка.
Однажды запущенный, как кукла заводная,
Я был поставлен кем-то на дорогу
И много лет, послушный механизму,
Шагал без остановки.
Встречая таких же, как я сам,
Тиктакающих кукол,
С точно такими же понятьями о жизни.
Мы чинно кланялись и дальше шли,

Но мне они казались муляжами.
Не то что сам я… Неужто всем нам
Конец наступит где-нибудь на куче
Проржавленных машин? На запасном
Покрытом ржой пути, отрезанном от жизни?
Дырявые от ветхости,
Похожие на кухонный дуршлаг,
Мы станем частью
Железных всходов завтрашнего дня.

Глава третья
Сатклиф, венецианские записи

Сразу после приезда, оставив в отеле багаж и надев солнечные очки, великий человек отправился подышать воздухом Венеции, хотя и побаивался наткнуться на писателя Блошфорда, который тоже обретался сейчас в этом роковом городе и которого Сатклифф ненавидел больше всех на свете за богатство и мигом раскупаемые, как горячие пирожки, книги; последний и лучший роман Сатклиффа расходился совсем неплохо, но Блошфорд все равно шел далеко впереди и даже обзавелся двумя «роллсами»! Самое неприятное заключалось в том, что Блошфорд большую часть времени проводил в Венеции — она была местом действия во многих его инфернальных романах. Стоило великому Сатклиффу впасть в плохое настроение, как он вспоминал Блошфорда, и ругательства вскипали у него на губах. Ох уж этот лысый, похожий на грушу, фокусник, достающий из шляпы бестселлеры — апофеоз британского художника, оживший чехол на чайник!

— Погоди, Блошфорд! — то и дело приговари-

вал он.

Субъект, которого как будто поддерживают на весу мешки под глазами — каждый раз, когда он видит банковский счет, у него перехватывает дыхание, и мешки еще больше распирает. Этот субъект не пьет и не думает начинать. Он даже не умеет нормально пользоваться штопором. Задастый архимандрит британской прозы… Как только к вам приблизится этот тип — с ухмылкой костоправа, готовьтесь услышать какую-то пакость.

Однако совершая вечернюю прогулку среди горбатых мостиков и скульптур с округлыми формами, Сатклифф понемногу успокаивался, зачарованный дивной красотой опустевших каналов. Интересно, чем сейчас занимается Блошфорд? Возможно, покупает на блошином рынке ночной горшок, играющий «Auld Lang Syne».[85] И, наверняка, уже крапает новый роман… *La merde, la merde toujours recommencée*,[86] как заметил Поль Валери, не иначе как думая о Блошфорде. Ладно, сколько можно…

Он купил у лоточника несколько яблок и украд-

---

[85] Примечания: 85

«Давным-давно» — старинная застольная шотландская песня.

[86] Примечания: 86

Дерьмо обычно плодовито *(фр.)*.

кой ел их, прямо на ходу. И все это время в его голове крутились мысли об Ангкор-Вате.[87]

Чудовищный зимний упадок сил, ночные кошмары, успокоительные лекарства. После почти десяти лет брака обязательно жди какого-нибудь подвоха, короткого замыкания. Он видел себя сидящим рядом с живой, хрупкой Пиа, словно на старой гравюре — звероподобный старик Рембрандт, источающий пылко-меланхоличный протестантизм и дух реповой диеты. Сатклиффу никак не удавалось забыть о ней и ее внезапном уходе. Конечно же, он чуял, что она что-то скрывает, мучается — потом наболевшее вдруг прорвалось, выплеснулось наружу. Почему? Неврология в то время мало чем отличалась от средневековой, разве что более современными снадобьями. И вот супружескую чету отсылают на пир психиатрии в Вене, где милый старичок Фрейд наставляет увеличительное стекло на их с Пиа жизни, их сны, их надежды. Знакомство с ним многое дало Сатклиффу-мужу, но еще больше оно дало Сатклиффу-писателю, ведь скромный

[87] Примечания: 87

Анкгор-Ват — старинный храм-гора в виде ступенчатой пирамиды с богатым убранством, расположен близ г. Сиемреап (Камбоджа). Является частью грандиозного архитектурного комплекса (дворцы, храмы, водохранилища) Ангор.

старичок был отцом новой науки. Ни с чем не сравнить чувство, которое возникает, когда смотришь на мир его глазами. Писатель ликовал, ибо поведение человека старый врач рассматривал как симптом — его интеллектуальное бесстрашие в корне изменило жизнь Сатклиффа. Счастье и то, что у Пиа произошла осечка с самоубийством, ибо, благодаря старому ласковому еврею с карманами, полными снов, истинная причина ее нервного срыва была отлакирована и вставлена в рамку. А ведь Сатклиффу даже в голову не приходило, что угрызения совести могут привести к душевному расстройству. Оказалось, все дело в этом, и доктор настоял, чтобы она рассказала ему всю правду о Трэш и о себе. Срыв был спровоцирован угрозой Трэш уйти от Пиа и поселиться с другой девушкой в отдельном гнездышке. Но и это еще не все. Мы были в отеле, когда Пиа, побелев, встала напротив меня и, медленно сжимая восковые руки, словно выкручивая мокрое белье, сказала:

— Это ужасно — осознавать, что тебя тянет к женщине, потому что я на самом деле люблю тебя, Роб. Люблю всей душой. Люблю, как может любить только женщина. Поверь, я говорю совершенно искренне.

Великому писателю ничего не оставалось, как положить ее искренние заверения в трубку и раскурить ее — а что еще ему было делать?

Всю зиму он бродил под ледяным дождем по заснеженным улицам или сидел в перегретых номерах с неистребимым запахом плюша, а деньги утекали в канализацию, в сточные трубы — в притуплявшие боль, но не сулившие забвения Леты, наркотики. Настал черед Сатклиффа превратиться в страдающего бессонницей невротика. Однако в весе он не терял, наоборот, прибавлял: ну не мог он равнодушно проходить мимо венских кафе с их немыслимым изобилием пирожных, в результате стал до обидного похож на толстячка с рекламы чая «Пиквик», и заметно ухудшилось зрение. Но, чтобы до конца сыграть свою роль, ему пришлось превратиться в исповедника единственной женщины, которую он любил всем сердцем, а из ее храбрых жалких слов сделать вывод, что его тоже искренне любили — впервые в жизни. Им мешала только злополучная лесбийская природа Пиа. — Милая, Робин похож на изголодавшегося кота. Ну да, Робин действительно был изголодавшимся котом!

Только дважды я встречался со старым венским юродивым, и оба раза мы говорили о Пиа. Этого

хватило мне с лихвой. Он покорял множеством трогательных причуд, чисто еврейских — ну кому еще придет в голову назвать любовь «инвестицией либидо»? Великолепно. Все равно, что пнуть по заду бедняжку Нарцисса, заглядевшегося на свою рожицу в воде. Это было интеллектуальное пиршество — ничего более будоражащего в своей писательской жизни Сатклифф не испытал. Нахватавшись кое-каких новых идей, он отчасти понял причину своей «инвестиции» в Пиа. В этом тоже была некая смутная тяга к извращению. Его всегда возбуждала ее мальчишеская фигурка, угловатые движения. То, как она встряхивала головой, убирая с лица волосы. Хрупкая, как нежный нарцисс, она, тем не менее, была настоящим сорванцом. Ему вспомнилось, как на какой-то маскарад Пиа нарядилась солдатом и в таком виде пришла в спальню, не переодевшись — эффект был потрясающим. Никогда еще он не испытывал столь острого желания! Такое не утолишь походом к шлюхам или призвав друга барона Корво. Не дано им, не те способности, во всяком случае, в сравнении с Пиа они — жалкие статисты. Вот тогда его великая привязанность выкристаллизовалась в догмат — хм, кашлянул он в ладонь — Любви.

В весенней Венеции у него оказалось довольно времени, чтобы вновь и вновь прокручивать в памяти сцены из прошлого; при этом он шевелил губами, словно читал партитуру незнакомой симфонии — собственно, так оно и было. В перерывах между воспоминаниями он писал письма своему строптивому другу Тоби (которого угораздило стать преподавателем), чтобы повеселить себя безобидными шутками. Слушай гудение vaporetto,[88] крепче держи тонкостенный стакан с дымчатой граппой или бокал с приторной «Стрега», в котором пляшет круглый блик, оставленный умирающим солнцем, оно уже там, где лагуна сходится с небом. Ну-ка, приятель, возьми себя в руки. Как ты намерен распорядиться остатком своей жизни, а, Сатклифф? Вдруг тебя ждет смуглая вьетнамская девушка, нежная, как обещания и тончайший шелк?

Пошевелив зазябшими пальцами в огромных немодных туфлях со шнурками, он признался себе, что одинок и что ему ненавистна Венеция, по крайней мере, в этот первый вечер. Его осенило, что он может купить билет на поезд и отправиться в Прованс, гораздо менее напыщенный и

---

[88] Примечания: 88
Венецианский речной трамвай *(ит.).*

велеречивый, чем Италия, и тоже по-средиземноморски изящный на свой лад; как говаривал Тоби, «немножко Сицилии, немножко Тоскании». Но в сущности ему досаждал не пейзаж, бог с ним, с пейзажем. Ему не хватало общения, не хватало любви. Поглядите-ка на великого человека, сидящего в одиночестве за столиком и смотрящего на воду; сигара погасла, книга захлопнута из-за сгустившихся сумерек. Сгустившихся до ночной тьмы.

Труднее всего оказалось забыть. Самое лучшее, когда одна страсть вытесняет другую. Похоже, Сатклифф все-таки лукавил. В Венецию он приехал не только избавлять свою прозу от словечек «хризопразовый» или «аметистовый», но и душу — от терзавших ее призраков. Он приехал сюда ради душевного покоя, вот что он в конце концов осознал. Воспоминания все еще заставляли его стонать во сне, а когда он не спал, то накатывали с еще большей силой, и он бросал нож и вилку из-за проклятого комка, застревавшего в горле. Неожиданные мысли выталкивали этого твидового ретрограда из кресла, и он принимался мерить шагами балкон, шепотом проклиная все на свете.

Чтобы внести ясность: именно здесь, в Вене-

ции, она решилась все рассказать ему, и потому его так неудержимо сюда влекло. Словно каленым железом были выжжены у него в мозгу сцены, описанные Пиа. Например, такая: старая герцогиня-американка вводит их в свой круг. Потрясающая сцена, хотя бы своей живописностью. В особняк на Виа-Каравиа свозили разрубленные пополам огромные бычьи туши. И в этих кровавых колыбелях они занимались любовью, а вокруг стояли парни в заляпанных кровью фартуках и весело гоготали. Он точно наяву видел бледнокожую Пиа, похожую на Венеру Анадиомену, — осовремененная версия шедевра Боттичелли. Эта утомленная Венера лежала в тигле из красной плоти, а на ней — черное блестящее тело Трэш… Однажды на мокром полу ванной он обнаружил кровавый отпечаток маленькой ступни, но это было во время менструации, если Пиа говорила правду.

За что его винить, если исключительно ради своего душевного здоровья он лелеял слабую надежду на приключение, которое помогло бы ему забыться? В его сознании сформировался образ, скажем, рафаэлевского типа — много плоти, что нежнее облака. И он, в общем-то, рассчитывал на небесный облик, но ему хотелось, чтобы его

мечта была все-таки более земной, здешней, венецианской. Он воображал густые блестящие темно-рыжие волосы, непослушные, своевольные, стянутые на затылке — пышный беличий хвост, который так и тянет погладить. Хотелось одухотворенной красоты, как на картине старого мастера; только взглянешь на нее, и рот наполняется слюной. Вот чего он ждал от неторопливой венецианской весны — но мечты редко сбываются. В конце концов приходится брать, что дают, или уходить ни с чем. Сатклифф не собирался сразу отступать от цели, но был готов покориться, считаясь с реальностью, принимать любые сюрпризы, лишь бы уйти от изводивших его мыслей. Частенько ему вспоминалось одно странное приключение, случившееся тоже в Италии, в Стрезе, где он познакомился со светловолосой девушкой из Перигё,[89] у нее были ясные, как у котенка, глаза, полные однако тайного озорства. Да! Ярко сверкает летними ночами Вега, голубая звезда неопытного сердца. Неплохо иметь парочку других, приободряющих воспоминаний на первый вечер, и он улыбался самому себе, смотрясь в зеркало, мысленно повторяя ее слова:

---

[89] Примечания: 89
Перигё — город во Франции.

— «У тебя красивые зубы и очень умная улыбка».

И он «умно» улыбался самому себе, стараясь соответствовать мнению женщины, утешавшему его в печали. Жаль, приходилось надевать очки, но иначе он бы себя просто не увидел. Ну вот! Наконец-то весна, скоро совсем потеплеет, самое время для плотских радостей. Ах, Пиа!

Что ж, погляди, как он с отречённым видом вышагивает между фонтанами и мраморными львами, причудливо расположившимися на острове Лидо. Он даже стал подумывать о бегстве из холодной ветреной Венеции, но тут на помощь явилось весеннее лекарство в виде юной быстроногой девицы, то и дело попадавшейся навстречу. Выглядела она вполне зрелой в элегантном костюме из черного вельвета и в ярко-зеленой шелковой блузке с бирюзовой, под цвет глаз, косынкой на шее. Не столько хорошенькая, сколько броская. На загорелом лице темно-зеленые глаза смотрелись очень эффектно. Нос, правда, крупноватый, который она гордо задирала — лицо древних инков с тяжелой переносицей и широко расставленными глазами под арками бровей. Довольно плотная, приятно округлая, нежная, как первозданный пейзаж, обещающий ласковый

дождик иссушенной земле. Имей в виду, к пятидесяти она обзаведется разжиревшей задницей, но пока ей примерно половина этих лет. Шагает твердо, уверенно — в юности все всё знают, по крайней мере, думают, что знают.

Обескуражило его то, что девушка держала в руках книгу — увы, не его книгу, и он дал себе слово, что если вставит ее в роман, то это будет одна из его книг. Когда он столкнулся с девушкой во второй раз, то даже почувствовал озноб, увидев, что фамилия автора на суперобложке начиналась на «Б» — неужели она читает низкопробного писаку Блошфорта? Нет — какое счастье! Он мог бы поклясться крайней плотью Бога, восставшего из мертвых, что это был Бергсон. Уже завершая свой променад, Сатклифф заметил, как незнакомка, выбрав мраморную скамейку на солнечной стороне, покрывает цифрами поля в книге. Подсчитывает траты? Ему стало любопытно. Проходя мимо, он изобразил на лице равнодушие и вытянул шею, чтобы заглянуть в ее записи. Туристка поистратилась и хочет знать, сколько у нее осталось денег? Не любопытный от природы, он покружил вокруг нее, словно выбравший добычу гриф (так ему казалось), и в конце концов сел рядом. Она отодвинулась, освобождая ему

место, и улыбнулась — спокойно, невозмутимо, с достоинством. Как женщина, уверенная в себе. Чуть погодя он с ужасом обнаружил, что ее математические выкладки имеют непосредственное отношение к скорости и массе, инерции и структуре, а сама она — ученица Минковского,[90] который довольно пренебрежительно отзывался о Бергсоне, поскольку Бергсон был профаном в математике. В то время Сатклифф понятия не имел о том, что сам Эйнштейн считал Минковского новатором, однако прикинулся осведомленным, желая доставить ей удовольствие и пробить брешь в обороне. На самом деле все эти сведения мало его интересовали. Но, с другой стороны, ему нравилось, когда женщина умела читать и писать, так что расстраиваться не стоило.

Начал он с очень высокой ноты, сделав некое замечание насчет Аристотеля, в ответ она высказалась по поводу Бергсона.

— Все равно что ничего не зная изготовлять наглядное пособие, — сказала она. — Гораздо проще использовать алгебраическое уравнение. А ему приходится оперировать словами, словно он современник Аристотеля, давно устаревшего.

---

[90] Примечания: 90
Минковский, Герман (1864–1909) — немецкий математик и физик.

Сатклиффа так и подмывало прикрикнуть на нее, как на слишком резвую лошадку, однако он сдержался. Классная штучка, ничего не скажешь. Интересно, о чем она говорит в постели? Если о том же самом, он немедленно удерет в Авиньон. Почему-то ему пришло в голову задать ей этот вопрос, и она, заливисто расхохотавшись, сказала, нет, об этом она не говорит.

— И вообще, — добавила она, — вы сами виноваты, ведь вы первый начали. А я-то обрадовалась, ведь здесь ни о чем таком не побеседуешь.

Он спросил, с кем она приехала в Венецию, и она ответила, что с отцом, но, заметив, как он сразу поскучнел, сказала:

— Я совершенно свободна.

Его это подбодрило, особенно если учесть, что он ни черта не смыслил в математике, хоть и знал кое-какие заумные названия, но когда он произнес парочку, девушка вся напряглась. Осторожно, Сатклифф!

Сама весна решила подыграть ему, и солнце, казалось, отдавало все свои силы последним вечерним лучам. Из сада «Флориана» у них за спиной доносились легкие мелодии — под джаз, и стук пинг-понговых шариков. Воздух был насыщен музыкой. Девушка не отличалась

классической красотой, но ее еврейское лицо безусловно покоряло вас веселым и умным выражением, на губах играла ироническая улыбка, глаза слегка прищурены… Он повел ее в ярко освещенное кафе, где уходящее солнце тянулось к ней сквозь завесу из золотой парчи, и желтые блики вспыхивали на загорелой коже. Блестящие, как золотая крупа, пылинки плясали в переливах ее дыхания. Поскольку она сразу выстрелила из всех своих интеллектуальных ружей, то он сказал себе: ну да, так и есть, умно, правильно — подожди, красавица, пока мы доберемся до постели. Улыбаясь ей поверх дружеского бокала с мерцающим «Чинзано», он с оптимизмом внушал себе, что спать с ней — все равно, что лечь в постель с электрическим импульсом, с омом или киловаттом. Он возьмет в свои объятия теорию поля и заласкает ее так, что она заснет от усталости вместе со всей вселенной. К черту Бергсона! К Сатклиффу вернулось романтическое отношение к Венеции: это будет не совсем похоже на то, что могло бы случиться с ним в несчастной вырождающейся Англии, где на смену публичным казням пришел футбол.

Девушка не пожелала назвать свое имя, предпочитая анонимность. Так она заявила, когда

немного опьянела от солнца и легкого вина, а еще она разрумянилась и еще больше помолодела. Однако едва она, извинившись, ушла в туалет, Сатклифф заподозрил неладное. Выйдя из кафе и завернув за угол, он перехватил ее, когда она выходила из задней двери, явно вознамерившись улизнуть. Девушка ничем не выразила своего возмущения, хотя он вцепился ей в руку и с обидой тряхнул. Он потребовал объяснений, и в ответ услышал:

— Я слишком много наговорила, ну и разозлилась на себя.

Следом выбежал официант со счетом, и Сатклиффу довольно быстро удалось уговорить ее вернуться и допить вино — он был готов до бесконечности слушать об электромагнетизме и скорости света, лишь бы глядеть на нее и предаваться своим мыслям. Это была типичная стендалевская «кристаллизация» любви, и он стал срочно вспоминать, что узнал тогда в Вене об «инвестировании» проклятого либидо и потачках своему нарциссизму. И заодно все эти дурацкие истории болезни, написанные особым языком — чего стоит, например, словосочетание «ночные поллюции»? Почему не «ночные благословения», ведь они — естественное осво-

бождение от стресса?

— Чему вы улыбаетесь? — спросила девушка.

Сатклифф что-то придумал в ответ.

Они болтали и болтали, плетя кружево из блестящих мыслей, однако он понимал, что его победа над ней становится все более проблематичной. И вот настал момент, когда ему самому понадобилось отлучиться в туалет. Сатклифф заранее знал: стоит ему повернуться спиной к безымянной собеседнице, и та исчезнет в вечернем сумраке. Боже! Она была великолепна в этом своем боевом окрасе! Тогда он решил разыграть героя или философа и добровольно отказаться от нее. Извинился, заплатив по счету, поднялся из-за стола, пристально поглядел на нее и, изображая грозное величие, свойственное всякому гению, направился к выходу. Девушка ласково улыбалась, а он за несколько мгновений успел мысленно прочитать весь текст «Потерянного рая», пока, прощаясь, держал ее руку. Когда он ушел — она, разумеется, тоже ушла.

Вернувшись, он увидел опустевшее кресло. Теперь больше ничего не стояло между ним и его проклятым романом. Когда реальная жизнь не предлагала ничего интересного, Сатклифф снова впадал в тягомотные раздумья, которые

потом выплескивались в очередной его опус. На секунду ему показалось, будто этот выморочный, полный призраков город поблек. Поблекла сверкавшая множеством своих отражений старушка Венеция, похожая на старинную шкатулку, мерцавшая, как крылья тысячи павлинов, горевшие огнем под вечерним небом, где еще не совсем погасло солнце. Чертов роман, совсем как слепая лошадь — ходит и ходит вокруг колодца. Своего героя он мог бы назвать, например, Оукшот, и в нем не было бы ничего героического. Всю ночь он простоял бы у окна в мчавшемся на юг экспрессе «Париж-Авиньон», потому что получил телеграмму, сообщавшую, может, о смерти, может, о самоубийстве, может, об исчезновении Пиа. Ее прислал бы брат Пиа, который будто бы знал нечто, проливавшее свет на случившееся. Что именно он знал? Ладно, подумаем. Всему свое время. Портрет Трэш — прелестная терракотовая кожа, эмоциональные жесты. Когда она бывала счастлива, то широко раскидывала руки и кричала: «Спасибо, Боже!» Неужели Трэш выстрелила ей в спину, когда она спала? Да нет. Трэш, правда, насмешлива до жестокости — выпускница Колледжа Ужасов в Небраске, защитившая докторскую диссертацию по теме «Человеческая Нежность»

и получившая диплом по мануальной терапии и магнетическому массажу. К черту все эти пакости. Мужчина в освещенном поезде…

«С незапамятных времен мы ездили из Парижа на юг одним и тем же поездом — длинным медлительным поездом, вытягивавшимся вереницей голубоватых огней в сумеречной дали, словно гигантский светляк. В Прованс он обычно прибывал затемно, когда полосы лунного света делали все вокруг похожим на тигриную шкуру».

Что за тип этот Оукшот? Сатклифф зевнул. Может, лучше назвать его Родни Персиммоном и сделать из него издателя, причем голубого?

Он долго лелеял свое раздражение, и если быть откровенным, отчасти им наслаждался. Потом сказал себе, что надо бы сходить в бордель и нанять там малокровную и пресную, как репа, светленькую мулатку с бумажными маками над ушами, в юбчонке, похожей на соломенную подстилку. Надо бы. Однако раздражение вскоре прошло. Венеция дергала его за рукав — горячка цветов на лотках, ветерок, вспышки солнца, которое всегда тут как тут, гигантский музей с белоснежными дворцами, дивная весна, янтарные женщины… он быстренько убедил себя, что вылечился, и сердце у него теперь невесомое,

как перышко. Его больше не пугало вечернее одиночество. Ура! Одиночество! Сначала немного послоняться, потом, попозже, обед — под полосатым навесом у самой кромки иссеченной гондолами неспокойной воды. А что Оукшот заказал бы на обед? Наверное, нечто солидное, например, мелкую рыбу. В отличие от Персиммона, который только и делает, что высматривает мальчишку побойчее. Сатклиффу же хочется морской рыбки. Он сделал несколько пометок на обратной стороне меню и спросил официанта, где бы ему лучше сегодня пообедать. «Пункт первый. Ты не должен нагонять сон на читателя. Но если, Оукшот, ты похож на Брюса, скука гарантирована. Может быть, на нашего мыслителя Тоби? Нет, его не прожуешь». Сатклифф неторопливо курил и пришел к выводу, что скучает по юной даме, да-да; а ведь она могла еще много чего рассказать о детерминизме в науке и о современных трактовках причинно-следственной связи, о которой уместно вспомнить в связи с его намерениями… Хватит, слишком все это громоздко, а у тебя роман, не лекция. Что же Оукшот? Плевать на Оукшота. Стоило Сатклиффу закрыть глаза, перед ним маячила мрачная фигура в твидовом пальто, этот тип жевал сэндвич и качался из стороны

в сторону в качающемся вагоне. Что же он за человек? Наверное, она сочла его неискренним и разочаровалась. А вот если бы он действительно наплел ей кучу всякой ерунды, она бы влюбилась по уши, до гробовой доски. В науке понятие масштаба… Ладно. Его внимание переключилось на юную англичанку, которая ела мидии, хватая их тонкими пальцами, и приговаривала:

"Ужасные эти итальянцы — такие грязные". Ее ущипнули за зад в vaporetto. Неплохо. Очень неплохо.

Не желая множить банальности, он стал прикидывать план первых глав. Хорошо бы назвать роман «Tu Quoque»[91] — О Боже! Ему уже слышались вопли издателя. Ну, почему бы тебе ни выбрать нормальное *terre à terre*[92] название, например, «Путешествие сыщика»? Блошфорд, наверняка, написал бы «Оукшот приезжает вновь» и не стал бы ничего выдумывать. Сатклифф понимал, что это безрассудство, однако роскошный город настраивал на легкомысленный лад и заставлял забыть про всякую ответственность. Пожалуй, он напишет что-нибудь модное, а если

---

[91] Примечания: 91
Ты тоже (часть выражения: «И ты, Брут»; *лат.).*

[92] Примечания: 92
Приземленный *(фр.).*

Персиммон начнет фырчать, то можно оттащить рукопись в другое место, где ее оценят по достоинству. Клянусь геморроем Лютера, *molimina excretoria*[93] буду стоять на своем!

При мысли о геморрое он вспомнил — опять не положил во внутренний кармашек туалетную бумагу на случай всяких неожиданностей или отсутствия бумаги в нужниках кафе. Ничего, до отеля рукой подать.

А вот шарманка, и на ней — прелестная обезьянка в шапочке с кисточками, которая отбивала такт простенькой мелодии «Solo Per Te».[94] Он и сам хрипловато помурлыкал немного, с тоской вспоминая безымянную математичку и отбивая такт вилкой. Нескончаемый калейдоскоп рыбных прилавков поражал неистовой сверкающей жизнью, на все лады подмигивавшей ему: раки, моллюски, береговички, всякие китообразные — все они бились и трепетали, стремясь вернуться в рай вонючих лагун. Тут же стоял, облокотившись на прилавок, разбойничьего вида старик, словно с картонов Микеланджело. Впрочем, если прищуриться, то его легко представить малень-

---

[93] Примечания: 93
И никаких церемоний *(лат.)*.

[94] Примечания: 94
Только для тебя *(ит.)*.

ким разодетым мандарином, на ксилографии раболепного японца. Цехины на ее загорелой шее плавно покачивались, как стая тропических рыб. Черт, почему она сбежала?

Уплетая рыбу, он сказал себе: а теперь «Tu Quoque» и Оукшот. Представим человека, который везде побывал и от всего устал, который всю жизнь рыскал в поисках философии и своей женщины… Хм. Женщина умерла. Но ему-то, обошедшему весь Ближний Восток, выпала-таки встреча с племенем Друза-Бинависа. Они там кормили его на листе лотоса, вроде бы, но точно был какой-то лист, и знакомили со своей верой — сплошной пессимизм, просто экстремальный. Впрочем, слова искажают суть, ибо истина не может быть ни пессимистичной, ни оптимистичной, если вдуматься. Это пришло ему в голову после знакомства с молодым александрийцем, которое произошло в Париже. Этот малый довольно забавно лепетал по-французски, верил в экзотический и малопонятный гностицизм и при этом был представителем самой печальной профессии на земле — банкиром, и, разумеется, весьма деловым человеком. Между приступами язвы, которую этот богач предпочитал лечить в Париже, он жил в Александрии и пригласил туда

Оукшота. Звали его Аккад.

— Космическое зло волнует меня гораздо больше, чем финансы.

Приглашение томного человека с огромными ланьими очами заинтересовало Оукшота (Сатклиффа). «А что дальше-то? Не знаю».

Он усердно пытался вообразить человека, ехавшего в ночном поезде и державшего сэндвич. На вокзале его встретит брат жены, врач; ему что-то известно о её смерти. Или туда примчится Трэш на белом спортивном автомобиле? «Робин, солнышко, я должна тебя увидеть — ради нее». Брюса он старательно изгонял из своих мыслей: больно уж нудный, на драматическую роль не тянет. Впрочем, человек он неплохой, хоть и банальный. Пиа любила его; и на нем есть немного ее пыльцы, отчего Сатклифф тоже питает к нему родственные чувства. Все равно Брюс — редкий зануда и не может ни на что вдохновить.

Аккад настаивал на том, что вселенная обрела свой печальный статус в результате какого-то космического ляпсуса — ерунда, учитывая колоссальные масштабы, а вот поди ж ты. Всего-то ничего, ну, неосторожное слово или секундная невнимательность — со стороны Бога — но отозвалось на всей хитро сплетенной паутине. Ошибка

памяти, велосипедной цепи воспоминаний, и все сломалось, изменились понятия времени и места. Человеческий мир стал преддверием ада, населенным призраками, и вселенная вступила в войну со стоящим у кормила духом преступления, духом зла, рулевым, которого толкают к разрушению низшие демоны. Вот она, работа космического правосудия, одна ошибка — и разверзлась Преисподняя. Человек стал ê*tre-appareil, être-gnome*.[95] Он не смеет смотреть в лицо реальности. А гностики говорят, посмотри и заживешь другой жизнью. (Оукшот поддакнул по-филистерски и подумал, что за такие речи надо отрубать руки выше запястий). Оукшота глубоко задело это небольшое рассуждение, и ему показалось, будто оно имеет непосредственное отношение к его жизни и несчастному браку, который он носил в себе наподобие мертвого ребенка, погибшего в материнской утробе. Его манила другая жизнь; хотя новые верования не сулили счастья, нет, в них не было ничего радостного. Зато они обещали правду. Оукшот вздохнул и закурил трубку.

Оставив Оукшота наедине с его вонючей трубкой, Сатклифф, фигурально говоря, покинул

---

[95] Примечания: 95
Живая машина, карлик *(фр.)*.

корабль и отправился гулять. Мысли перекатывались в голове, как мускатные орехи в жестянке, но великий писатель даже не попытался упорядочить их. Вместо этого он дал себе слово несколько дней кряду шататься по художественным галереям, чтобы промыть мозги в цветах и оттенках и искупать душу в радугах. Воспоминания гнали его вдоль прихотливых каналов; пребывая в восхитительном трансе от архитектурного изобилия, Сатклифф шел туда, где в своем маленьком магазинчике, словно античный мотылек, порхал среди изысканных пергаментов и сафьянов Габриэлли. Он заканчивал миниатюрного Тассо, отнявшего у него много лет — и предназначенного Пиа в качестве подарка на круглую годовщину свадьбы. Работа практически подошла к концу, и Габриэлли собирался отослать свое творение Сатклиффу, который ничего не сообщил ему о Пиа, лишь сказал, она будет просто счастлива. Сатклифф вдруг ощутил неодолимое желание взять морщинистую руку мастера, поднести к губам и почтительно поцеловать. Заглядывая в тусклые старческие глаза, он думал: мы — остатки вымершей, как сосцевидный отросток, цивилизации. Несомненно, те, что в пустыне, правы — зло стоит у штурвала, и корабль движется все

стремительнее. Уже слышен шум водопада, к которому мы приближаемся — далекая канонада смерти. А маленький старичок, который всего навидался за долгую жизнь, хрупкий, как листок, спокойно трудится над цветными блоками и золотым обрезом. Небольшая книжка, как огненный опал, сверкала у него в руках. На корешке золотом выведено название. Габриэлли живет в мире с собой, потому что он — мастер своего дела. Вот ключ к счастью. Но почему он сам не чувствует того же, когда пишет свои книги? Оукшот ненавидел книги с подробными описаниями и топорными диалогами. Сатклифф, кстати, тоже.

Вернувшись на набережную, он вдруг подумал, что ему наплевать, есть Бог или Его нет — заходящее солнце было фантастически прекрасным, и он забыл обо всем на свете. Лучшего доказательства не найти — он имел в виду существование Бога. Потрясающе все продумано, а как тщательно исполнено! Представить только, что венецианцам каждый вечер дано видеть такое… Не слишком ли? Лишь благословенная неспособность различать цвета может спасти их от безумия или, по крайней мере, от экзальтированности.

— Гляди! — кричал он гондольеру, который

вез его в отель по темнеющему каналу и, когда наклонялся, напоминал летучую мышь. — *Che Bello!*[96] — Как сумасшедший Рёскин, он махал руками, показывая на запад, где умирало солнце… (место для десяти строк звучного и яростного описания) — *Che Bello,* проклятый слепой крот.

Гондольер задумчиво посмотрел на параболу, описанную тростью Сатклиффа, пожал плечами и пробормотал, соглашаясь:

— *E bello, signore*.[97]

От великого человека не укрылось раздражение в его голосе.

— Так я и знал, — сказал он. — Дальтонизм.

Вернувшись в свой номер в отеле «Торквато Тассо», Сатклифф первым делом почистил зубы. Агент прислал письмо с газетной вырезкой, в которой с некоторым высокомерием поругивали его последнюю книгу. Он вновь отправился в ванную и принялся сосредоточенно мазать мешки под глазами мгновенно впитывавшимся кремом. Не хватало еще походить на Блошфорда. Кстати, у Оукшота глаза голубовато-стального цвета, и он почти никогда не моргает, отчего его

---

[96] Примечания: 96
Красиво *(ит.).*

[97] Примечания: 97
Красиво, синьор *(ит.).*

собеседникам становится не по себе, словно их в чем-то уличают. Если человек часто моргает, он наверняка глуп, а Оукшот не глуп. Возможно, немного заторможен — на уровне эмоций, но это из-за отсутствия сексуального опыта. С тех пор как он поднимался с Туфтоном на Эверест… Ночью шерп оказался в его спальном мешке, и он не решился отправить его прочь. Ведь они так страдали от холода. Оукшоту пришлось потом забыть о львиных сафари, потому что он лишился пальца, которым жмут на курок. Отморозил. Ладно, к черту Оукшота.

День никак не кончался; во всяком случае, этаж Сатклиффа был все еще освещен заходящим солнцем. Писатель открыл ставни и вышел на балкон. То же самое сделала обитательница комнаты в доме напротив, и они едва не столкнулись нос к носу, во всяком случае, могли бы запросто обменяться рукопожатием над узкой улочкой, веселившей взгляд сохнувшим бельем всех цветов и размеров. Он ошеломленно уставился на девушку, а она — на него. Потом оба расхохотались и покорно развели руками. Сатклифф словно говорил: «Ничего не поделаешь. Судьба. Очевидно, нам свыше было велено встретиться и, возможно, всегда быть вместе».

— «Пожалуй», — словно бы безмолвно соглашалась она.

Расхрабрившись благодаря неожиданной милости судьбы, Сатклифф позволил себе изобразить обиду и спросил, зачем она, да еще так коварно, бросила его и обрекла на одинокий и слишком ранний обед.

Девушка, похоже, смутилась и довольно долго молчала.

— Я была знакома с вашей женой.

У Сатклиффа от неожиданности перехватило дыхание.

— Не очень хорошо, — продолжала она, снова помолчав. — Но все-таки я знала, кто вы, вот и подумала, что правда рано или поздно выйдет наружу и вам будет неприятно. Поэтому сбежала.

— Вы были знакомы с моей женой, — произнес он, не столько для нее, сколько для себя самого.

Странная тень легла на едва завязавшийся флирт, в котором пока участвовал только разум.

— Мы с вами не встречались, а с ней столкнулись как-то летом в Авиньоне. Она была с братом. Я живу недалеко от вашего дома в Верфеле.

Сатклифф опустился на стул и закурил сигарету.

— Потом мне попалась на глаза газета с вашей

фотографией, — сказала девушка.

И как будто снова разбередили подживающую рану. Девушка отвернулась и стала вешать на протянутую вдоль подоконника веревку постиранные вещички.

— Напрасно вы испугались, — печально произнес он. — Я бы с удовольствием поговорил о ней — с кем угодно, кто ее знал.

Такая балконная встреча хороша для Оукшота; но девушка должна быть другой — оборванкой, взятой в публичном доме. Всю ночь они плыли бы в гондоле к морю и, завернувшись в плащ, слушали душещипательные серенады гондольера, точно такого, как у Гольдони. И Аккада стоило бы назвать иначе, может быть, Варнавой или Порфирием? Пусть он в отчаянии скажет Оукшоту то, что когда-то сказал мне — то есть Сатклиффу:

— Меньше всего мне хочется излагать эти мысли вам, потому что ваш интерес к религии чисто эстетический — ~ а это страшный грех по отношению к Святому Духу.

Оукшот был бы озадачен великой стратегией гностиков, зловещими правилами секты, которая… и, конечно же, все рассуждения, результатом которых является идея самоубийства или отказ от деторождения в духе катаров, он

воспринял бы как откровенное сумасшествие.

Девушка снова повернулась лицом к Сатклиффу и теперь казалась то ли растерянной, то ли печальной, словно корила себя за болтливость.

— А где был я, когда вы познакомились с Пиа? — спросил он.

В Париже, ответила она, но в Авиньоне его ждали со дня на день. Сатклифф более или менее сориентировался — по-видимому, это когда у Пиа назревал нервный срыв. Он же в ту пору только и делал, что пьянствовал, пропадал в цыганских борделях, наконец, подхватил триппер. Теперь он грыз себя за то, что вел себя столь безответственно, ведь Пиа тогда нуждалась в его помощи. Девушка не сводила с него задумчивого, почти сочувственного взгляда, как будто раскаиваясь в том, что заговорила о его жене. Сатклифф молчал. И она спросила:

— Не хотите зайти на чашку кофе? Папа пошел в оперу, и я одна.

Когда он понял, о чем она говорит, сердце подпрыгнуло у него в груди… Он встал, подтянул брюки и сказал:

— Буду очень рад, но при одном условии. Вы не станете жалеть меня и злиться на себя. Иначе я заскучаю, а пока все замечательно.

Она кивнула и назвала ему номер комнаты. На душе у Сатклиффа было легко и в то же время грустно (тень Пиа), когда он переходил маленькую площадь и отыскивал отель «Лютеция». Из любопытства он заглянул в регистрационную книгу — чтобы узнать фамилию девушки. Банко. Ему пришло в голову, что она, наверное, из той самой семьи банкиров. Да, скорее всего, отец девушки — тот самый знаменитый финансист, о котором ему не раз рассказывали.

— Папа называет себя знаменитым призраком, — немного погодя ответила она на вопрос Сатклиффа.

На девушке было зеленое, с хризантемами кимоно, и она сидела в старомодном обитом кретоном кресле. В розовом свете стандартной лампы с алым бархатным абажуром ее шея и руки казались по-цыгански коричневыми, а на ногах с покрытыми лаком ногтями он заметил афинские плетеные сандалии. Она предстала ему спокойной, любопытной, в общем-то, хозяйкой положения и, уж конечно собственной персоны. Уверенность вернулась к ней, и симпатия к нему — тоже. Оценив его с милой, но вполне искренней самонадеянностью, она словно говорила всем своим видом:

— Сэр, мужчина для меня явление вторичное.

Сатклиффу стало ясно, что это милое и очень обаятельное создание, блестящее и высокомерное, и в то же время немного грустное. И еще загорелое и терпко-ароматное. В их коричневой мускусной любви будет много мудрости, разочарования и печальной непредсказуемости; хотелось бы, чтобы она длилась вечно. Защищенные своими объятиями, они будут смотреть на презренный мир, словно из высокой обсерватории. Ее теплые умелые руки коснулись его рук. В качающемся на волнах, романтическом городе зазвонили колокола, языки памяти, и смутные человеческие голоса нанесли на темный ночной фон неясный рисунок песни. Они сидели тихо, ничего не говоря и спокойно разглядывая друг друга невинными глазами, внимая рассудку. Это был подходящий момент побеседовать о Пиа, ибо то, что она знала, было чрезвычайно важно и для мужа, и для писателя. Ему поведали об одном признании: Пиа рассказывала, как проснулась однажды и вдруг поняла, что любит этого грубого, неопрятного мужлана. По некой иронии жизни свойственны такие парадоксы, он как раз в это время сорвался с катушек и вел себя как последняя свинья. (Утром Сатклифф записал все, что

рассказала девушка, на обратной стороне меню.)

Если учесть неизбежное для искусства искажение, то это читалось бы примерно так: «Она решила убежать хотя бы на несколько недель — из-за его мерзкого поведения, из-за обидного равнодушия и вульгарных замашек, как будто повязка неожиданно упала с ее глаз. И вдруг в огромном, разжиревшем, неприятном мужчине она разглядела художника, обожествлявшего свое эфемерное, высокое ремесло, которое и убивало в нем мужа, любовника, банковского служащего, священника. Даже человека. Ей во что бы то ни стало захотелось выйти на улицу, так она растерялась, застигнутая врасплох лавиной новых, неведомых ощущений. Ну вот, наконец-то пришла любовь, сказала она себе; но почему сейчас, почему он? От злости она едва не завыла по-собачьи. За что ей такое? Только бы ему не проговориться. Пиа, как заведенная, бродила по темным улочкам Авиньона, пока к ней не подбежали какие-то мужчины и не привезли ее в то самое кафе, где он только что получил пощечину от официанта. На полу валялось много мелочи. Бармен отнял у него трость и даже замахнулся. Кто-то уже звонил в полицейский участок, а он все сидел, белый, как простыня, похожий на глу-

пого испуганного зверя, на бородавочника, он не желал уходить, не получив извинений. Это было ужасно, могло закончиться еще ужасней.

— Пошли, давай-давай.

Она дернула его за рукав, пытаясь поднять. Сильно шатаясь, он поплелся за ней на улицу, и там его вывернуло наизнанку. Хрипло всхлипнув, он согнулся пополам.

— Завтра добью книгу, — сказал он.

Пиа плакала, таща его по пустынным улицам, тихие слезы, слезы страха, ручьями текли по ее бледным щекам. Она дошла до предела. Теперь она поняла, что значит «пока нас не разлучит смерть».»

А где-то за тысячи миль от Авиньона Аккад писал: «Они отказываются доверять интуиции. Им нужны так называемые доказательства. Что это, как не рабская вера в причинную связь и детерминизм, давно рассматриваемые нами как нечто временное и весьма относительное». В другом же конце, в Европе, Фрейд выявлял склонность художника к безнадежному нарциссизму, его неспособность любить и отдавать. Старый ублюдок отлично понимал патологическую основу художественной натуры. Как-то он сказал Сатклиффу: «Люди, наделенные сильными эмо-

циями, но обделенные чувствами, опасны для окружающих.» Но ведь в идеальном мире, где каждого вынудили бы делать то, что ему больше всего нравится, был бы полный кошмар — вот уж где было бы невыносимо!

Потом, намного позднее, в порыве вновь разгоревшейся симпатии и милосердия, девушка закрыла глаза, положила руки ему на плечи и улыбнулась чуть печальной, все понимающей улыбкой. Как чудесно чувствовать себя желанным. Великий человек чуть не расплакался от благодарности, осознав всю прелесть и красоту этого юного существа. В голове мелькнуло: надо честно признаться, что его сердце пусто и что он отлично защищен от ее чар знаниями, полученными им в Вене сначала от Штекеля[98] (так похожего на пипетку), а потом от старого важного господина, прозванного Радостным.[99] И мало того, как последний идиот, он стал гадать, имеет ли вообще моральное право спать с ней — при таких условиях. А сейчас… сейчас он чув-

---

[98] Примечания: 98

Штекель, Вильгельм (1868–1940) — врач, психоаналитик. Соратник и последователь Фрейда.

[99] Примечания: 99

Речь идет о докторе Зигмунде Фрейде, фамилия которого означает «радость».

ствовал себя как лунатик, подвластный только зову света. Как чудесно любить ее и все же… ниже световой зоны, там где таращат на тебя свои глазищи на стебельках огромные рыбы, совсем как неприрученные неврозы: там властвует щёлк-прищёлк, классический *declic*[100] подсчитывающего наличность сознания, закоснелой думающей души. Сатклифф слишком хорошо все это знал, однако закрыл глаза и мысленно соединился с нею, стараясь обо всем забыть. И забыл. Даже об Оукшоте не вспомнил. Сатклифф как будто затеял флирт с самой сутью жизни: он знал, что все встречи предопределены, даже если (а возможно и «потому что») охотишься за существом, которое тебе непременно суждено встретить. За тем существом, с которым можно создавать разные модели желаний, и давать им волю, а потом снова ловить их и гнать прочь.

Они были хищниками, и в глазах их отражались сотни постельных фантазий. Она искоса наблюдала за ним, словно бы «инвестируя»… *mot juste*[101] дядюшки, которого называют Радостным. Какая дивная тюрьма, эти саморазоб-

---

[100] Примечания: 100
Стопор, защелка *(фр.)*.

[101] Примечания: 101
Точное выражение *(фр.)*.

лачительные поцелуи; они сами, как кипарисы, себя сеют, и их срывают наудачу, едва они созревают. Сатклифф решился на трюк, который узнал когда-то давно от своего учителя-йога. Чтобы пробудить в партнерше страсть, надо войти в ритм ее дыхания, вдыхать и выдыхать одновременно с ней, сделать ее ритм своим. Закрыть глаза. Думать о ней, и только о ней, с неистовым благоговением. Дать приказ члену, нежно проникнуть в нее и ритмично двигаться вперед-назад, пока она не ощутит чувственный напор и не примет его. Легко коснись ее грудей, начни сбоку, потом гладь соски, пока они не затвердеют, пока она не откликнется, не задышит тяжело, не побледнеет, не откроет глаза. Говори с нею тихо, ласково… Ни намека на вульгарное насилие. Главное — девушка, ее «да» или «нет» решают все. Умоляй ее, возбуждай и подчиняй мыслями, словами. Еще, еще!

Сатклиффу повезло, потому что партнерша действовала точно так же. В результате они сошлись в лобовой атаке такого накала, что даже испугались от неожиданности. Ах, до чего же умен человек! Сколько он всего знает!

Приди и снова припади,

И все себе дозволь:
Из боли радость извлеки
Из радости же — боль.

Эта иудейская странница, с ее даром чувствовать пространство и эпоху, с ее особой исторической памятью, хранящей эхо многих испытаний чад израилевых, с ее безграничным сладострастием, была прекраснее всех его женщин. Ночь пропиталась ее ароматом, и все будто замерло, едва умолк ее глубокий нежный голос. Ах, этот голос, музыка, хватающая за сердце всякого нееврея, как хищница-барракуда. Печальный кокон — спящая девушка, полная восточной прелести. Звали ее Сабиной. Сабина Банко. Любовный акт с такой девушкой сродни каннибальскому обряду поедания уха. Сабина отлично понимала, что мужчина и женщина — одно животное, трагически разделенное Платоном; что это произошло по милости Муз. Крепкие узы соединяли их от двух ночи до половины четвертого — это было незабываемо и неповторимо. И ведь он даже был почти трезвым. Главное — вести себя так, словно не происходит ничего необычного. Но все равно это не любовь, ибо любовь иррациональна. А тут имеются все части уравнения. Никаких неизвестных.

— Ты ведь не хочешь сломать себе жизнь? — спросил Сатклифф, уберегая их обоих от бездны своего горького опыта.

Потом пришел сон — мы были в пределах печали, намного глубже световой зоны, населенной гигантскими рыбами с выпученными глазами, где реальная цель схожа с фосфоресцирующей во тьме тропой, иначе говоря, наглядно обозначена дорога самопознания. И совсем необязательно быть художником, чтобы распознать властный инстинкт, заложенный в каждом человеке. Но как поступить? В этом пространстве главное — здоровый секс, он добывает чувства из отравляющих изобретений, выдаваемых писательской шкатулкой идей за умные мысли. Это он превращает иссушающие разум воспоминания в беззаботный, нежный, как облако, смех и улыбчивую страсть. Боже! Скольких же страданий стоит гению переплавить эти переживания в слова… Писатели, бесполые проститутки с накладными волосами, просиживают штаны, чтобы выбить из своих машинок несколько корявых страниц — что увидели бы они в этой встрече? Сделанных точно на заказ, лишенных каких-либо опор евреек, чьи божественные сердца превращают их в черных, парящих, как птицы, вестниц и

хранительниц истории?

Он понятия не имел, в котором часу пришел ее отец и с тихим астматическим присвистом осторожненько открыл дверь. Тут же проснувшись, Сабина натянула Сатклиффу на голову одеяло.

— Спишь? — шепотом спросил отец.

— Почти, — ответила она с милой любящей интонацией.

В зеркале отражалась ущербная луна. Старик был при полном параде, во фраке, на груди поблескивали ордена, в руке — складной цилиндр. Легко, будто не касаясь ногами пола, он пересек комнату и остановился перед зеркалом, заполненным белым лунным светом и отражением водных улиц. Вроде бы старик был не пьян; нет, видимо, просто боялся наступить на нетвердую половицу и наделать шума. Очень долго его счастливый робкий взгляд не отрывался от образа в зеркале. Ничего не говоря, старик всматривался в свое отражение, словно боялся упустить хоть какой-нибудь недостаток в костюме и прическе. Он вел себя так, как будто был один, и в то же время ни на миг не забывал о сонном присутствии дочери.

— Как музыка? — в конце концов спросила она по-французски.

И он ответил, тяжело вздохнув:

— Mortelle, ma fille.[102]

Сказав это, старый банкир подался вперед и дотронулся в зеркале до своего правого уха, после чего резко выпрямился и недовольно покачал головой.

— Я останусь на несколько дней, — сказал он. — Заем для лондонского Сити.

Неожиданно Сатклифф понял, что сейчас чихнет, и, всерьез задумавшись о том, какую музыкальную комедию или пьесу Саша Гитри разыграет сейчас экспромтом, стал вжиматься носом между ее теплых грудей, пока не исчезло желание чихнуть.

— Годы проходят, нельзя впустую коптить небо, — проговорил мужчина в зеркале. — Надо поставить себе цель.

— Да, папа, — произнесла примерная дочь и зевнула.

— Я не тебя имел в виду, — отозвался старик.

Он повернулся и неслышно вышел в растворенную дверь, прошуршав на прощание бархатным «спокойной ночи». Как только дверь бесшумно закрылась, Сабина со вздохом облегчения

---

[102] Примечания: 102

Смертельно скучная, дочка *(фр.)*.

повернулась на спину. И заласканный ею, обезоруженный колоритной наружностью старика — вылитый Дизраэли![103] — Сатклифф, вновь уткнувшись в уютную нишу, старался покрепче заснуть, а она с открытыми глазами, но вполне умиротворенная лежала рядом. О чем она думала? Он терялся в догадках.

Уже почти рассвело, когда, так и не сумев заснуть, она включила лампу на тумбочке и достала из ящика колоду карт. Раскинула их на покрывале, потом разложила, как полагается, веером, и начала безмолвно вопрошать разномастный веер. Неожиданно Сабина вся напряглась, и любопытство ее сделалось таким горячим, что Сатклифф проснулся.

— Понимаешь, о чем они говорят? — с улыбкой спросила она. — Ты кого-то убил, очень близкого человека. Думаю, свою жену.

Естественно, сон окончательно развеялся. Удивительная вещь произошла с Оукшотом, тем более захватывающая, что эта женщина все время изображала реалистку, а теперь вела себя как Ньютон в воскресный день!

— Намеренно или случайно? — спросил он,

---

[103] Примечания: 103

Дизраэли, Бенджамин (1804–1881) — премьер-министр Великобритании в 1868 и 1874 — 80 гг.

желая проверить, как это сообщение может подействовать на его героя.

— Намеренно.

— Расскажи поподробнее, — попросил он, хотя любые предсказания считал враньем.

Но что поразительно… Сабина довольно точно излагает сюжет книги, в которой он и впрямь как бы случайно разделался с Пиа. Она словно «читала» тот вариант, который помог ему избавиться от реальных агрессивных чувств по отношению к жене — от желания ее убить. На всякий случай он спросил, не попадался ли ей роман, но услышал, что нет, не попадался. И тем не менее, в ее медлительном, то и дело прерывающемся рассказе было все: два человека, затерянных в просторах Индийского океана, безмятежное ночное море, тропическая луна, похожая на плывущий в облаках призрачный плод манго. Дама в вечернем платье; широкие рукава, блестки, настоящая мемсахиб. Какой из многих, но неотвратимо трагических вариантов? Сабина неожиданно рассмеялась.

— Не могу ничего сказать наверняка. Я недавно стала этим заниматься. Это карты Таро. Тут целая система.

Система! В романе он и Пиа выходят после

обеда на палубу, чтобы подышать воздухом — чистейшим воздухом. Ссора возникает внезапно — они бросают друг другу в лицо обидные слова, которые нельзя взять обратно, простить, забыть. Вытаскивают их из-под руин своего брака, своей любви. Какая же она была бледная! Потом они вместе идут на корму и смотрят на пульсирующую белую кильватерную струю, протянувшуюся в лунных лучах до самого черного горизонта. Он отчаянно пытается придумать что-нибудь умное и целительное, однако с его губ срываются только ругательства.

— Теперь я все поняла, — тихо, с невыразимой горечью произносит она.

А потом с небрежным изяществом и одновременно важностью, как балерина, вступающая в танец, перепрыгивает через палубное ограждение и исчезает. Он даже не успел слова сказать.

Ударили в колокол; и несколько часов корабль с включенными прожекторами кружил на одном месте. На воду неловко спустили шлюпки, несколько неслаженных взмахов весел, едва не задевших чьи-то головы, и так далее. Спасательные круги, пробковые жилеты, летели в воду, трещали радиоголоса, раздавались вопли. Никого не нашли. А ведь она была отличной пловчихой

и завоевала много кубков и медалей. В баре первого класса, куда он, измученный, в конце концов приплелся, чтобы выпить коньяка, тактично приглушенный граммофон напевал «Прощай, мой дрозд, прощай». Его удивляло, что он не чувствует ничего, кроме досады; и стыдно было, что он недостаточно остро переживает неожиданную смерть жены. В книге Сатклифф изобразил себя англиканским священником Хардбейном.

Сатклифф все же задремал, не оправившись от легкого изумления, а когда проснулся, рассвет уже простер над городом свою левую руку. Нет, он не толкал Пиа, хотя кто-то из романных персонажей и намекал на это, чтобы его помучить. Ну конечно. Ведь об их скандалах кто только не сплетничал. Сабина сбросила карты на пол и стала тихим голосом рассказывать о том, как бродила с цыганами по центральной Европе, чтобы получше изучить их язык. Сатклиффу было тепло и уютно с ней, однако он преодолел дрему и заставил себя пойти в ванную комнату, а после одеться. После чего нежно обнял ее и заставил дать обещание, что она придет вечером в их кафе на набережной. Заручившись ее согласием, он твердым шагом направился к себе в отель и по-королевски заплатил сонному ночному портье.

Вернувшись в свою нору, он открыл дверь на балкон, чтобы быть поближе к Сабине, и с удовольствием заполз в постель, словно в материнские объятия. Что может быть благословеннее утреннего сна, в предвкушении жаркого дня на венецианских каналах? Он встанет поздно, погуляет, позавтракает среди каменных галерей, ставших вдвойне прекрасными благодаря встрече с Сабиной. Однако в отличие от нее, Сатклифф не обладал даром ясновиденья, и для него было полной неожиданностью, когда в залитом солнцем кафе официант подал ему конверт. Он догадался. И, увы, не ошибся. Сабина сообщала, что должна вместе с отцом покинуть Венецию. (Неужели забыла, что ее старикан говорил зеркалу?) Довольно небрежно выразив надежду на встречу в будущем, она грозно приписала: «Я не позволяю себе ни к кому привязываться».

Если бы Сатклиффа спросили, почему он горько рассмеялся и ударил шляпой по колену, он бы процитировал Флобера: «Je ris tout seul comme une compagnie de vagins alterés devant un régiment de phallus».[104]

Именно там и тогда он решил, что Венеция

---

[104] Примечания: 104

Я смеюсь в полном одиночестве, как рота алчущих влагалищ при виде полка фаллосов *(фр.)*.

— сплошные развалины, и нужно немедленно ехать в Авиньон. Не оставляя себе шанса передумать, он послал Тоби телеграмму и отправился нанимать машину.

В маленькую красную записную книжку Сатклифф записывал мысли, приходившие в голову, безостановочный музыкальный поток. Перечитывая записи, он часто не улавливал их смысла, тем не менее продолжал твердо стоять на своем: писатель должен быть мужественным и записывать даже то, что не очень понимает. Где-то ведь это «понято».

Например, что-то в таком роде.

…Великолепный урок щедрости. Ясно, что я для нее не вариант — слишком стар. Курдючный писака.

В голосе Трэш отзывается обжорство обильно проканифоленных смычков. Куря сигарету, она кашляет, как туба. Лунное мерцание ее теплоты, эмфизема радушия. Сказала: «У Робина хватит чувства сострадания, чтобы вести корабль, милое дитя». Увы.

Мы сидели с Сабиной на набережной в ресторане «Квартила» и наблюдали за падающими звездами — наши любящие сердца воспламенялись одновременно. «Смотри!»

Как в смерти, так и в снах люди стареют с разной скоростью, и нелегко математически точно рассчитать нахождение *vis-a-vis* со смертью в каждый определенный момент. Человек то приближается к ней, то уходит от нее, если он художник. Мне известно только это племя.

Ее смех всегда звучал болезненно, а объект должен был быть исключительным (Пиа).

Пахнущая мускатной дыней кожа и маленькие невидящие глазки с катарактами (цыганская шлюха), как церковь с окнами из перламутра или (Каир) из промасленной разноцветной бумаги.

Несчастные сердца заперты в телах из золотого праха, позаимствованных у нимф.

Слепая женщина, которую забила до смерти ватага детишек, игравших в жмурки. Мне поведал о ней врач, а когда я стал выпытывать подробности (его вызвали к ней), он сказал: «Она была очень толстой, а если принять во внимание *cor bovinum*,[105] то у нее наверняка случился разрыв сердца».

Эпистолярная альфа бета фита… милая гримаса прикушенных экзотических губ.

---

[105] Примечания: 105
Бычье сердце *(лат.)*.

Трэш — Президент!
Робин — Бескрылая Победа!
Пиа — Папа Иоанн

Подавляемая любовь этих двух женщин вызывала у него безумную зависть. Он умирал от голода, нет, калечил себя собственными фантазиями. Его приводила в ужас мысль, что ему придется воспользоваться грозным оружием болезни.

Глубокая рана от консервного ножа на руке официанта — артериальная кровь, высыхая, становится пурпурной, как чернила императоров и пап.

* * *

Через пару дней удивительный человек сел за руль небольшой машины, и она, гудя, бурча, хрипя, покатила по Ломбардской равнине в сторону Прованса. А удивительный он, потому что все еще живой и все еще способен улыбаться. Удивительный, потому что он — величайший из великих!

СТРАННОЕ ПИСЬМО

Изумительное путешествие в маленьком ту-

поносом «моррисе». Остались позади и плюмаж из белой благоухающей пыльцы на цветущих оливах, растущих вдоль дороги из Ломбардии в Прованс, и неприятности с мотором, и никчемные разговоры с промасленными механиками, новыми хозяевами нашей цивилизации. Так Сатклифф и ехал…

Покрыт рябью…
Унесен светом…
Рассеян молвой…
Сохранен по недосмотру…
Повешен, утоплен, четвертован с Общего Согласия…
Такой путь прошел бедняга Сатклифф…

Чего только не наслушаешься от бывалых механиков, заматеревших и много в чем понаторевших, которые окружают работающий на бензине мотор страшной тайной. Бензином благоухали пыльные дороги в Верфель, где я рассчитывал, встретившись с младшим братом, обновить чувства, привязывавшие меня к его старшей сестре, которую он обожал. (Милая, грустит Роб, как кот.) Разве есть на свете большая радость, чем лечь под машину с человеком, кото-

рый может объяснить, как работает маховик, и что при этом происходит?

> Благословенная грязь гаража,
> Крепкие парни все в масле и мыле
> Любовно оттирают шестеренки, -
> Как матери когда-то — их пеленки,
> Сыночков милых от мужей постылых.
> Они все те же, хоть давно не дети.
> И потому так любят игры эти
> С машинками, от коих — ни на шаг.

В своей новой книге я должен написать что-нибудь во славу мотора.

— В грязи лежит думающая машина! — восклицает Рочестер.[106]

— «А ведь машина эта Гамлет», — в загадочном «первом кварто» Гамлет кричит Офелии…

Пожалуйста, никаких литературных аллюзий.

Прошло несколько дней, и меня немножко огорчают натянутые отношения с юным Брюсом; мы учтивы и доброжелательны друг с другом, но все же легкая напряженность напоминает мне, что я много старше этой троицы. Никто вслух не

---

[106] Примечания: 106

Рочестер, Джон Уилмот (1647–1680) — английский поэт, фаворит Карла Второго.

вспоминает о Пиа. Несмотря ни на что, юный Тобиас полон жизни и внушает мне надежду. А вот троица — не знаю почему, производит странное впечатление. Они поглощены своими отношениями, которые со стороны выглядят на редкость романтичными, но на самом деле невероятно осложнены путаницей в их чувствах. Но о них я писать побаиваюсь, не уверен, что смогу до конца осмыслить ситуацию, которая даже для них самих загадочна и двусмысленна — аномальна. Сдается мне, что по сути вся эта романтика отдает фальшью — ведь любовь, какая бы она ни была, неизбежно порождает ревность к сопернику. В этом я уверен. И все же, судя по пространному объяснению, которое Тоби вырвал у них и передал мне, в этом треугольнике никто никого не ревнует. Брат и сестра… на редкость красивые и страстные! А Брюс — этакий белокурый крепыш, он совсем никакой рядом с ними. А те словно сошли со страниц поэм старика Лафорга.[107]

Утренние часы я провожу на высоком балконе, с которого видна оливковая роща на повороте. Юный Пьер в это время сидит в позе лотоса перед небольшой деревянной беседкой, увитой розами.

---

[107] Примечания: 107
Лафорг, Жюль (1860–1887) — французский поэт.

Каждое утро он медитирует, как индиец и говорит об этом с нежностью и важностью. Девушка тоже занимается медитацией.

Средиземноморье поначалу, пока не очень его знаешь, кажется каким-то ненастоящим, словно иллюстрация к сказке, но это быстро проходит, стоит лишь немного ближе познакомиться с его жителями. Начинаешь понимать душу Прованса: насколько он древний, замкнутый и неиспорченный, и насколько он не похож на остальные районы Франции! Пожалуй, средиземноморцы — это совершенно особая нация. На эту мысль наводит их бесстыдное язычество и продукты из оливковых рощ. Прованс менее развит, там суше и жарче, чем на севере; он следующий после Валенсии, где растут оливы и где впервые вдруг замечаешь, что исчезли сметана и сливочное масло, а их место заняло оливковое масло, которое придает Средиземноморью характерную особенность. Верно, чтобы подтвердить мои неожиданные открытия, здешние жители неизменно улыбчивы, по-старомодному учтивы и никогда не спешат. Время принадлежит им, потому что в Провансе время определяют не по часам, которые правят жизнью нас, северян.

Сам Авиньон грязноват и постепенно чахнет,

здесь потрескавшиеся тротуары, копающиеся в отбросах кошки, обглоданные веками стены — в некоторых местах бастионы стерты чуть ли не до фундамента, как зубы у древнего старца. Беспорядочные груды веток на крышах — вороньи гнезда; ощущение неприбранности и запустения из-за них усиливается. Более того, место со звучным названием Авиньон — обыкновенная деревня, которая при определенных погодных условиях и при определенной фазе луны напоминает затерявшееся в степи селение. Это я цитирую Тоби — он рассказывал мне, как провел в Авиньоне зиму, и, естественно, не забыл упомянуть речку с позвякивающими льдинками. Не один век миновал с тех пор, как всем тут заправляли папы. Их богатства и безудержный разврат диктовали совершенно особый стиль жизни, которая и создала довольно грязную репутацию этому городу. Порок и преступность расцветали в Авиньоне так же пышно, как торговля шелком и колоколами. День за днем длинные, овеянные шелковыми стягами процессии прокладывали путь между монументами. Звонили церковные колокола, гремели ружейные салюты — их грохот, да еще шелест птичьих крыльев нарушали покой реки со знаменитым мостом. Все исчезло,

а неизбывная вульгарность и претенциозность архитектурных сооружений остались, и они бьют по глазам, лишенные прикрытия из шелковых знамен и множества сверкающих свечей.

Целая вечность отделяет нас от Петрарки, который, вздыхая, плача и дряхлея, писал стих за стихом, и были они сдержанно-бесстрастные, похожие на удары метронома в черепе, обтянутом усыхающей кожей. И все же я верю в великую любовь, мгновенно сразившую его, как она сразила Данте. И пусть Фрейд заткнется со своей сигарой. Музой настоящего поэта должна быть совсем юная девушка, хотя кое-кто считает, что ему следует пылать нелепой страстью к *allumeuse*[108] из среднего класса; не дай бог такую судьбу! Представляете, он берет ее в жены и понимает, что это все равно, как носить, не снимая, промокшие ботинки? Хороший писатель, наверняка, оценил бы этот сюжет.

Прогуливаясь в компании юного Тобиаса, я был очарован обычной для Средиземноморья роскошью флоры и фауны, норовящих отвоевать каждый дюйм пространства. Беседки утопали в розах и жимолости, зеленый плющ обвивал ста-

---

[108] Примечания: 108
Кокетка *(фр.)*.

туи, оставляя для обозрения разве что щиколотку, в трещинах на стенах птицы вили гнезда, и от их беспрерывных полетов туда-сюда начинало казаться, что ты попал в самую глубь девственных джунглей. Соловьи — сразу в дюжину голосов — распевали во влажных рощах, где по зеленому мху струились ручейки, выплескивавшиеся из переполненной чистыми весенними водами реки. Благодатное счастье, даруемое щедрыми опекунами — нимфами и речными богами. Когда-то богиней была и Рона. Воздух тут шелковистый, прохладный. Тишина в уединенных меловых и известняковых долинах с фиолетово-красной землей — признак большого количества бокситов, как мне сказали умные люди. Дороги присыпаны летучей пылью — мельчайшими крупинками глины, высохшей под жарким солнцем. Высокие изогнутые небеса напоминают об Аттике и, словно огромные паруса, то наполняются, то никнут под ритмичным дыханием хулиганистого ветра, мистраля, который сплющивает оливы, превращая их в серебристо-серые ширмы, который гнет кипарисы, будто былинки, и провоцирует взрыв налитых бутонов миндаля и слив, этот весенний артиллерийский залп. Стены покосившейся студии, в которой меня поселили (на случай,

если я захочу побыть в одиночестве и заняться работой), увешаны пожелтевшими фотографиями, которые и побудили меня насладиться кратким описанием пейзажа — в общем-то на них то, что я вижу из своего высокого окна, когда смотрю поверх парка в сторону Альпия или красных черепичных крыш Авиньона. Эти побитые временем бордово-коричневые терракотовые ступени плавно спускаются к белой, похожей на шрам, реке. Погода стоит великолепная, солнечная; совсем не холодно. Работа? Почти все время мы — Тоби, Брюс и я — просиживаем перед огромным камином, жуя каштаны. Натянутость, которую я ощущал вчера, сегодня почти исчезла; на душе у меня легко — свидетельство того, что сюда меня пригнало одиночество. Таковы издержки преимущественно «бумажной» жизни; лучшие мои друзья — это мои корреспонденты, которых я обожаю, поскольку редко вижу, а то и не вижу совсем. К примеру, почтенная герцогиня Ту почти каждую неделю присылает мне многостраничное письмо, в коем излагает суть своей философии, которая сводится к приятному и аморальному разочарованию. Она курит длинные зеленые сигары и когда-то играла на банджо в посольском джаз-оркестре. Меня завораживает

ее как будто рассеянный тон — очаровательная старая дама пытается писать мемуары в нарочито бессвязной манере; когда поток воспоминаний перехлестывает через все плотины, излишки она выплескивает на страницы, которые посылает мне. Таким образом, я вижу, как выстраивается ее книга, и наслаждаюсь рассказами о путешествиях и разочарованиях, накопившихся за долгую жизнь. Больше никто из моих знакомых старушек не торчит каждое лето в маленьком чешском городке. Тем самым она отдает дань своей десятилетней любви, конец которой положила смерть. Чехия! Соловьи в рощах и колдовской певучий язык.

Я часто писал ей, пока жил в Вене, и произвел на нее впечатление, главным образом тем, что забавлял курьезными деталями психоанализа. Например, во сне все телесные отверстия считаются равнозначными. На немецком языке влагалище — ухо между ногами, и в некоторых кругах девушек побуждают слушать клитором! Милая старушка этого не забыла.

Вот так я понемногу объясняю себя самому себе — кто еще будет слушать? Возможно, другая часть моего «я» появится в каком-нибудь списке жизнеспособных «я»; та часть, которую мне хотелось

«инвестировать» в мою бледную прелестную Пиа. Ничего нет глупее таких инвестиций! Радостный старик-доктор «инвестировал» в меня особый, еврейский пессимизм и мономанию.[109] Мы имеем дело с гибнущим рынком, и наши скромные вложения год от года обесцениваются. Иногда меня одолевает искушение разразиться риторикой о фондовой бирже, описать фонды или капитал как, скажем, «зрелый» или «плодоносный», словно речь идет о садовых культурах. Чем неудобен личный дневник? Тем, что его единственная функция (как скрипичных гамм) — тренировать руку пишущего, и определить, кого именно ему предстоит развлекать, практически невозможно. В другой жизни бедняга Сатклифф, наверняка, посмеется над своими одинокими остротами. А пока они заполняют время перед ланчем: дни перед смертью.

Среди обитателей Верфеля самые замечательные — его владельцы, брат и сестра. В них чувствуется благородство, и в облике и в речах; в аристократах всегда есть что-то беззащитное, хрупкое, нежное. Мы знаем, что ничего не можем для них сделать; и остается только радоваться

---

[109] Примечания: 109
Болезненная склонность к одиночеству.

им, а это бывает трудно, потому что частенько они настоящие исчадия ада.

Тоби рассказал мне про их тайну, и, если честно, для нашего пуританского времени их отношения весьма необычны. Кстати, в них чувствуется незавершенность, неопределенность. Меня всегда пугает и настораживает слово «любовники». В последней моей книжке начала было вырисовываться похожая парочка, но пришлось от нее избавиться, потому что постепенно она лишилась всякого правдоподобия. Интересно, почему? Пьер и Сильвия не лишены эгоистической осторожности, детьми предпочитают не обзаводиться. Они сами немного напоминают заблудившихся в лесу малюток. Застряли в этом огромном доме, в своих обширных владениях, которыми они пренебрегают по незнанию сельской жизни. Третий малыш — Брюс, он и придает ситуации уникальность, хотя все трое ведут себя очень естественно, никакого зажима, словно ничего не может быть банальнее. Я думаю то о Брюсе, то о Пиа — об их извращении; и потихоньку разжигаю в себе огонь ревности, ведь они благодаря этому извращению познали счастье. И тем не менее… Как усомниться в искренности горя Пиа из-за ее разбитой любви ко мне? Я наблюдаю за юным

студентом-медиком, который неторопливо курит трубку, играя в шахматы с Пьером, а ведь они соперники. Девушка гуляет, читает, плавает в реке, играет на огромном рояле. Однако старый шато живет нерадостными предчувствиями; очень скоро из-за катастрофической нехватки денег его обитателей ждет разлука. Пьеру, скорее всего, придется служить, и от этого он печально-задумчив. Тонкокостный, хорошо сложенный юноша, истинный француз по характеру, он горяч, как породистая лошадка, и пылок во всем, включая дружбу. С тех пор, как я приехал сюда, у меня есть все. Мне легко с ними обоими, потому что Пиа они знают лишь по имени. Рассказывая о нежном отношении всех троих к Тоби, Брюс употребил довольно интересное сравнение — со свободной от сексуальной компоненты дружбой геологов или альпинистов, путешественников, связанных общей целью.

Прекрасно, но…

Каждый вечер, по заповедной традиции, человек тридцать сходятся в огромной центральной зале на патриархальный обед. Столы по-монастырски сдвинуты в длинный ряд, что придает помещению вид монашеской трапезной. С нашей стороны один стол поставлен поперек; но едва

сидящие в дальнем конце слуги или расположившиеся во главе стола доны, то есть хозяева, приступают к еде, как за разговорами и добрым вином все постепенно начинают перемещаться. Вот Брюс отправился к старой даме, насколько я понимаю, домоправительнице, и тут же косматый старик-лесничий занял его кресло и принялся с жаром что-то втолковывать Сильвии — насчет фазанов. Вокруг снуют дети, словно в неаполитанском соборе. На покрытом циновками полу чешутся собаки и скачут блохи.

Голоса вольно, словно голуби, летают по зале. И поскольку все говорят с сильным местным акцентом, то мой аккуратный французский язык звучит здесь неестественно. Каждое утро во время бритья я практикуюсь в здешнем произношении — повторяю *«une sauce blanche»*,[110] словно в каждом слове по два слога: этот латинизированный выговор пришел из населенных нимфами рощ, и в нем слышится отзвук Италии и Испании. Конечно же у средиземноморцев свой, достойный гордости, фольклор и много примитивной народной поэзии, всякие тили-бом-кошкин-дом, никаких отвлеченных понятий, отчего явление

[110] Примечания: 110
Белый соус *(фр.)*.

по имени Валери кажется неразрешимой загадкой. Что же до остального, то добавлю: здешняя природа нас поглощает, а здешние обычаи и суеверия напоминают о языческих истоках великолепного моря, которое, так или иначе, влияет на нашу жизнь, этакая грандиозная бухта.

Здесь (в отличие от Италии) у тебя нет ощущения, будто рядом постоянно маячит католический священник, и надо отдать должное священникам местным: вид у них виноватый, словно они просят прощения за свое присутствие в этом краю олив. Но есть и духовные утешения, например, засветившийся в ночи остроугольник семизвездных Плеяд. Пьер рассказал мне, что местное население считает, что звезды (как на гравюре) — «напрысканы» на небо. Долгими вечерами мы играем в большие кегли на лужайке перед главным крыльцом, и к нам с важным видом присоединяются старый лесничий и управляющий. Поздно ночью, наверное, ближе к рассвету, в лесу начинают истошно кричать павлины. На рассвете загорелая девушка, взяв ружье, тихо идет в окутанную туманом рощу, а в это же время в нижних слоях тумана приходит в движение невидимая отара агнцев. Почему здесь так все спокойно? Почему все острее чувствуешь? Может,

оттого то я горожанин? Во дворе Тоби совершает торжественный ритуал мытья головы. Завернувшись в белую простыню, он сидит на скамеечке, и доярка, успокаивающе приговаривая «ш-ш-ш», трет ему затылок и макушку, как будто скребет лошадь, *savon de Sauveterre,* это то же мыло, которым стирают белье, оно медового цвета. Потом в ход идет уксус, от которого волосы Тоби становятся легкими и пушистыми и вздымаются, словно ангельский нимб. Он даже вынужден просить у Пьера берет.

От бессонницы, боли в животе, даже от красного носа тут пьют травяные чаи — поистине чудодейственные, однако юного Тоби явно влекли иные снадобья; после проведенной в Авиньоне ночи он выглядит так, будто старческая осень до краев наполнила все его клеточки дождем и туманом. Ему удалось отыскать цыганский бордель, совершенно колдовской, с музыкой и дамами, у которых волосы, как вороново крыло. И теперь он намерен отвести туда меня, чтобы избавить от мук долгого воздержания.

Традиционные наряды Арля стремительно выходят из моды, но пожилые дамы с гордостью продолжают их носить; заплетенные в миллион крысиных хвостиков и украшенные монетами

волосы они покрывают высоким плиссированным чепцом из белоснежного льна, похожим на корону критской королевы, надевают обязательную темную юбку, белоснежный фартук и *fichu* — яркие ленты. (Этот портрет домоправительницы взят из жизни.)

Любить, а потом спрягать этот великий и простой глагол… У некоторых отлично получается и то, и то. Вот если бы можно было насладиться привилегиями трубадура, который имел право любить королеву и, наверное, недурно проводил время в отсутствие господина. *Droit du jongleur*.[111] Говоря откровенно, именно таков удел Брюса в его безмятежных отношениях с Пьером и Сильвией. Правда, сам он воспринимает это иначе. Позднее, когда я все еще размышлял о несвятой троице, на меня вдруг снизошло озарение. Неожиданно в этом союзе троих детей я увидел воплощение всеобъемлющего и единого *«я»*, или символ этого понятия. Традиционно двойственной фигуре нашей космологии я противопоставил тройственную фигуру, составленную из двух партнеров-мужчин и одной женщины, по-моему, именно так принято у гностиков. «В

[111] Примечания: 111
Право жонглера *(фр.)*.

жизни романтиков случаются только романтические события». Эта цитата навела меня на неприятные воспоминания о моих собственных романах с тщательно выписанными декорациями и любовной мотивацией действующих лиц. Полагаю, я еще не созрел, чтобы писать о Другом, что я мысленно поместил в регионе, на демаркационной линии которого стоит слово «Бог». Наверное, поэтому мне то и дело слышался отзвук Аккадовых рассуждений о мертворожденном Боге, о выкидыше. Вообще-то я всегда ощущал тяжесть в той части меня, которую символически называл сумкой, примерно, такой как у кенгуру, — своей маткой, если угодно. Там находится что-то мертвое и кляклое, как рождественский пудинг, что никак не родится на свет. Сколько отрав я перепробовал, чтобы спровоцировать необходимое сокращение сумки — даже мертворожденное чадо лучше, чем ничего. Увы, когда я иду, это качается во мне как непереваренный рождественский пудинг, начиненный шестипенсовиками и украшенный падубом и крошечными британскими флажками — наша лютеранская, так сказать, кишечная культура, наша нутряная копилка, хрюшка с презренными накоплениями… Уже поздно, но крепкая наливка, которую

мы пили после обеда, спровоцировала в моем мозгу неистовый мыслительный процесс, и вот до чего я додумался.

Очевидно, жестким разделением полов в нашей культуре мы обязаны моногамии, моносексуальности и связанными с ними табу. Свершилось надругательство над природой. Типологической парой, которая с тех пор доминирует в нашей психике, стал сотворяющий младенца дуэт, муж и жена, основатели города. А теперь грядет великая революция — хвала Мари Стопс,[112] которая, благодаря открытию противозачаточных средств, освободила женщину от сексуальных пут и восстановила ее уважение к себе и свободу. Размыта граница между полами, мужчина становится женственным, а женщина — мужественной. В этом контексте мое трио любовников, возможно, прототип новых биологических отношений, которые предвещают появление другого общества, основанного на свободе женщины. Матриархат?

Интересно.

Но — сомневаюсь.

И что важно-то: они глубоко раздражают меня, заставляя думать об очень важных для писателя

---

[112] Примечания: 112

Стопс, Мари (1880–1958) — доктор биологии, организовала первую в Англии клинику контрацепции.

проблемах: в частности, как убедительно их изобразить, сделать их реальными и доступными для читательского восприятия. Ничего не получится. Победит романтический стереотип, потому что они есть то, что есть — юные и прекрасные. Мне необходимо их понять, чтобы избежать фальши — а они все время ускользают, ставят меня в тупик. Может, их как-то изменить, и тогда в целом картина станет более натуральной? Например, сделать из Пьера тучного низенького крестьянина с мокрыми губами и бегающими, как у пьянчужки, глазками. Сильвия пусть останется красавицей, но глухой, и чтобы высохшая нога. Что же до Брюса, деревенского врача — ему бы волчанку на лицо и шею, бордовые отметины… Да, так, пожалуй, неплохо. Увы, это скорее в духе Золя.

Вечером Сильвия и Пьер музицировали в четыре руки, а Брюс, не отрываясь смотрел в огонь, слегка опечаленный разговором за обедом, когда Пьер упомянул о надвигающемся кризисе, из-за которого возможно кардинальное изменение их жизни и даже разлука. А я… я втайне им завидовал — казалось, у них здесь, в Верфеле, есть все, чего можно желать. Моя троица владела философским камнем. Или я просто завидовал

их юности?

Весь день бушевал ливень с ураганом, отчего заметно похолодало, и в зале зажгли камин. Именно здесь меня угораздило прочитать им «удивительное письмо из Александрии», как потом его называл Пьер. Оно пришло, разумеется, от моего друга Аккада, и в нем было много доводов в защиту гностической веры, вот только зачем ему понадобилось писать об этом мне? Ведь он знал, что я насмешник и скептик, и ни за что не ввяжусь в какую-то ересь, полюбившуюся кучке чумазых азиатов. Думаю, Пьера несколько шокировала моя многословная тирада, когда я откровенно изложил ему свои взгляды. Ему-то самому письмо доставило несказанную радость; похоже, мысли Аккада совпали с его собственными. Итак, в письме говорилось о сладостной жизни до Падения, то есть до Потопа: до того, как началось фатальное движение в сторону смерти, ставшее реальностью наших дней.

Аккад писал: «Да-да, некоторые моменты в прошлом можно вообразить с такой же точностью, с какой мы можем утверждать, что после сегодняшнего дня непременно настанет завтрашний. Происходили радикальные смещения акцентов — не менее значимые, чем в другие историче-

ские периоды, отмеченные, скажем, сожжением Коперника или падением Константинополя, когда равновесие нарушалось не в пользу духа. Намеки на это можно отыскать в старых мифах. Изменилась ось человеческой восприимчивости — словно где-то растаяли полярные льды, невидимые и неведомые. На смену древней растительности пришла наша новая металлическая растительность, расцветшая бронзой, потом железом, потом сталью — началось постепенное затвердение артерий. Таблица сущностей уступила место таблице элементов. Философский камень, Святой Грааль древнего сознания, уступил место агрессивному золотому слитку, который стал новым правителем души; и раб, возомнивший себя свободным, начал оценивать свою силу монетой, капиталом, давая волю всей своей сатурнианской сущности. Воссияло сладкое темное ростовщичество. А свобода, которая есть всего лишь право тратить — прототип оргазма — была взята в кандалы сначала мысленно, а потом и физически. Способность к накоплению, к ростовщичеству проникла в сперму мужчины, вот он и принялся возводить культуру на соответствующем фундаменте — способности собирать, удерживать, запасать. Все это сродни насилию.

Потом начались периодические кровопускания в виде войн с их символикой стального оружия — выточенное на станке яйцо смерти так же просто для понимания, как пенис и влагалище. Эта жаждущая смерти культура могла быть доведена до совершенства и пресуществлена только через самоубийство. Новое причастие требует крови, а не спермы, оплодотворяющей вселенную. Теперешний императив — копить золото и проливать кровь, против этого и восстает наше маленькое братство гностиков; не поднимая шума, мы делаем свой выбор, где можем и когда можем, отправляя наших детей даже на смерть. Сперма против монеты.

Кардинальное смещение акцента в сторону крови и золота повлекло за собой многие другие, иногда ужасные. Двойственность, например, стала основным принципом не только в философии, но также в языке, основной элемент которого, слово, оказалось во власти могущественной дихотомии. Когда изменились все соотношения и связи, смерть стала обязательной, неизбежной и не зависимой от выбора, каприза или психического состояния человека. Прежде у него был, так сказать, свой кусок пирога, который он помаленьку и жевал. Зачем умирать, если знаешь,

как жить, не мучая себя — можно было перейти временной барьер и впасть в глубокую спячку самоотвержения, которая известна мудрецам Востока, отчасти, ибо и они не знают бессмертия. Однако то, о чем я говорю, — не плод человеческих усилий, не результат медитации и не достижение гения. Это так же общедоступно, как необязательно. Нам, совершенно раздавленным нынешней перевернутой системой ценностей, трудно вообразить тогдашнюю свободу. Я слышу, как с макиавеллиевским ехидством хмыкает месье Князь, читая это из-за моего плеча. Вы скажете, будто в качестве временного победителя Бога он живет лишь в нашем воображении: на самом деле, это карнавальная маска или тотемный символ, которым тамплиеры, по-видимому, заменяли крест. Но разве то, что мы с такой ясностью воображаем, не достаточно реально? Всегда полезно иметь наглядный образ для обладателя смятенного и неразборчивого ума — отсюда иконы и алтари, святилища и гермы.[113] Итак, мой милый Роб, если вы встретите на улице ангела, будьте повежливее и снимите шляпу, как Све-

[113] Примечания: 113

Гермы — в древней Греции груды камней или столбы, которыми отмечались места погребений (в честь Гермеса — проводника душ умерших).

денборг;[114] а если он опустится, как голубь, на вашу голову, скептик, то имейте в виду, это ангел Блейка или Рильке и его должно кормить поэзией, манной первых посвященных. Да-да, Роб, был другой мир! Иногда его видишь слишком ясно. Те, кто тогда отказывались от жизни, делали это с молчаливым облегчением, как рулевой, который бросает тяжелый штурвал и счастлив возможностью уйти с вахты. Другими словами, ключевым посылом было *оправдание* смерти, которая всегда, так или иначе, живет в нашей душе, она может быть осмыслена и использована, как электрический заряд или двигатель — философский. Неспособность найти смерти оправдание иссушает душу. Сегодня же смерть для нас — это преддверие ада, заселенное живыми существами.

Итак, мы верим, что мир, благотворными силами которого так часто злоупотребляли, который уже больше похож на собственную тень, все еще возможен в изначальной своей сути для немногих счастливцев, для меньшинства, чей долг защищать свое дело, сражаться за Фермопилы духа до тех пор, пока некий благословенный

---

[114] Примечания: 114

Сведенборг, Эмануэль (1688–1772) — шведский ученый и теософ-мистик.

разворот вспять не расставит все по-прежнему, и тогда появится надежда на то, что человек не превратится в соляной столб, если посмеет обернуться и взглянуть на правду. Можно ли воочию увидеть правду? Да. Мы в это верим. По другую сторону тьмы и бездны нашего сегодняшнего отчаяния горит слабый свет, хотя вечно кажется, что он вот-вот погаснет. В мире существуют две противоборствующие силы, и преимущество на стороне черной, которая может добиться окончательной победы. Когда я впадаю в отчаяние, подобный исход кажется мне наиболее вероятным. Что может изменить ситуацию? Ничто, скажете вы. Однако есть такое «ничто», которое, если отнестись к нему творчески, даст живительный кислород, а не отнимет его, которое скорее плодотворно, чем бесплодно. Но сначала надо храбро посмотреть в лицо правде: Бог либо умер, либо изгнан, и власть узурпирована злом. Такова наша позиция».

Меня поразил энтузиазм Пьера в отношении этого идеализма, сулящего райское угощение, однако он вычитал в послании Аккада гораздо больше, чем я сам. Неужели духовная лень и праздное любопытство застили мне свет? В любом случае, от всего этого мне не по себе, и я

вспоминаю слова Пиа: «Если всерьез во что-то веришь, ни за что не будешь об этом говорить».

Вчера, сегодня, завтра — куколка времени, которая превращается в бабочку движения и смерти. Связи просматриваются в снах куда яснее, чем наяву. На этой неделе я написал длинное письмо Пиа и отправил его на адрес кафе «Собор» на Монпарнасе. А вдруг? Два или три раза она привиделась мне, но в реальных ситуациях, которые, проснувшись, я попытался всерьез проанализировать. По-видимому, подобно многим женщинам, в области чувств она осталась ребенком. Во многих отношениях — типичная девочка-жена. Иногда все дело в физической недоразвитости, которая влияет на психику. У подобных женщин обычно маленькая, узкая, эластичная матка, как у девочки; великолепной формы груди, но маленькие — лишь намек на материнское начало. Бедра тоже не по-женски узкие; худенькие изящные ноги и руки; выражение лица и весь облик определенно инфантильные. За столь невинной внешностью и поведением может скрываться любая патология. Как за невинным пристрастием к криминальным сюжетам — склонность к насилию.

Среди прочего я зафиксировал историю боль-

шой театральной корзины, которую мы много лет всюду таскали с собой. Мало того, что Пиа запрещала в нее заглядывать, но нельзя было даже упоминать о ее существовании, жена моя только краснела и бледнела, если я вдруг начинал ворчать из-за ее размеров или веса — например, когда мы отправлялись в морское путешествие. На ней была бирочка «белье». Я послушно молчал и никогда не спрашивал, что в корзине, тем более никогда не заглядывал в нее. Я же человек чести. А потом, когда наши отношения дали трещину, и в постели Пиа стала какой-то заторможенной (я не знал, что она уже познакомилась с Трэш), старая ивовая корзина сама себя выдала. И как вы думаете, что в ней было?

Если честно, куда-то уходя, я почти не сомневался, что Пиа тут же откроет ее, ведь корзина эта вечно маячила посреди спальни. Ладно, говорил я себе, если ей так нравится копаться в белье, пусть, меня это не касается. Один раз, дело было после скандала, у меня сгоряча вырвалось, мол, уезжаю до понедельника. Но на вокзале мне стало невмоготу, и, схватив такси, я помчался домой мириться с моей любимой мучительницей. И знаете, что я увидел?

Пиа сидела на полу перед ярко горевшим ками-

ном. Корзина стояла рядом — открытая. А вокруг на бархатных разноцветных подушках сидели большие и маленькие куклы в ярких народных костюмах. В прелестных миниатюрных чашечках был настоящий индийский чай. Мое театральное появление — я едва не плакал от раскаяния и любви — ужасно смутило ее, она побледнела и не в состоянии была говорить. Увидев кукол, я понял: вот они мои истинные соперники… меня охватила лютая ярость.

— Вот оно что, — прошипел я.

К горлу подступила горечь всех наших прежних бесплодных ссор. Я и сам толком не знал, что меня поразило в ее детских играх, но был твердо уверен в необходимости избавиться от маленьких гомункулов, которые стояли между нами. Схватил одну куклу, бросил ее в огонь, потом другую, третью. Я увидел себя в зеркале — суровый немецкий профессор. Пронзительно закричав, Пиа лишилась чувств, а я продолжал жечь ее кукол, в которых, как я теперь понимаю, была заключена память о прежней жизни, о детстве. Это было хуже убийства. Я вел себя, словно маньяк, ничего не соображал, весь во власти сжигавшей меня ревности. Наверное, так ведут себя завоеватели в отданном на разграбление

городе. Бедняжка смотрела круглыми от ужаса глазами на великана-людоеда, который рвет на куски ее воспоминания и бросает их в камин; и не выдержала, упала в обморок… Я осквернил самые заветные мечты ее детства.

Всю ночь она пролежала неподвижно, а когда утром очнулась, у нее открылась такая злая горячка, что местный врач заподозрил тиф или менингит. Бледный, с потными ладонями, я сидел возле ее кровати и молил простить меня. Однако она не обращала на меня внимания и не размыкала веки, проваливаясь все глубже и глубже в горячую тьму, которая убаюкивала ее и могла, если бы не выдержало сердце, унести в вечную тишину. Вот так я внес свою лепту в ее болезнь — возможно, стал самой главной ее причиной. Неуклюжий громадный увалень Сатклифф, собственной персоной, он, я.

Когда Пиа пришла в себя, сразу бросилась в глаза резкая перемена. Ее ничто не интересовало, она стала вялой и говорила только о старости и смерти. И как будто в самом деле постарела лет на десять. Вокруг глаз неожиданно появилось множество морщинок, я решил, что это из-за успокоительных таблеток. Однако и ее характер тоже изменился — отчасти из мести, отчасти из

тоски по сожженным игрушкам — ее «я». И это состояние длилось довольно долго. Кожа у нее стала жирной, а прекрасные светлые волосы — тусклыми и почти перестали виться. Появились периоды клептомании, потребовавшие усиленного медицинского вмешательства. Они-то и привели нас в Вену, где (слава Богу!) мы много узнали, но все же недостаточно, чтобы спасти наш брак, наверное, подвергавшийся опасности с самого начала, благодаря дару доброй феи, которая разделила нас на мужчин и женщин… Я вдруг остался один, совершенно один. Правда, потом как будто все стало по-прежнему — на самом деле, совсем по-другому. Нельзя вернуть прошлое. И как раз тогда мне стали бросаться в глаза те черточки ее характера, на которые прежде я не обращал внимания. Помог новый взгляд на вещи, обретенный благодаря доктору Радостному. Скажем, вот такая: Пиа никогда не могла пролежать в моей постели до утра. После любовных ласк она обязательно уходила на свою кровать. Пустяк, мелочь, но и это, и многое другое стало важным после Вены, откровения которой не только меня воодушевляли, но и вгоняли в уныние. Думаю, потому, что я понял, насколько ограничена система старого доктора, хотя в небольших пределах она

срабатывала изумительно. Из нее не могла и не может получиться философская доктрина, определяющая человеческую жизнь. Зато как рычаг, как средство воздействия она великолепна и не уступает такому замечательному изобретению нашего времени, как двигатель внутреннего сгорания. Такая вот история.

Легко ли узнать свою даму на портрете под множеством несмытых детских ее изображений? Под первым, вторым, пятым слоем белил? Может потребоваться вся жизнь, а там… или умрешь, наконец, узнав, или будешь как-то жить дальше.

Ну да, из-за наших несчастий мы отправились в Вену и нашли старого доктора с его мудрыми и прекрасными формулировками, который не позволял себе лицемерных утешений, вторгаясь в глубины подсознания. Мы быстро учились, но чем больше узнавали, тем меньше надеялись, тем больше отдалялись друг от друга. Меня покоробило, когда Пиа сказала, будто влюбилась в меня, потому что мой запах напоминал ей отца, а потом я вспомнил, как она хватала мою мокрую от пота рубашку (я любил греблю, я и теперь иногда беру лодку, чтобы потренироваться) и, закрыв глаза, прижимала ее к носу, изнемогая от восторга. Ничего лестного для меня в этом не

было. Ее отец, старый и глухой как пень, посол на пенсии, жил в Танжере, иногда ездил на своей машине, но в основном проводил время за кункеном или бриджем. Доброкачественная опухоль в организме дипломатии, по службе продвигался, благодаря закону тяготения и льстивым любезностям. Бедняжка Пиа! Мне помнятся и другие, куда более трогательные мелочи. Когда я ругал ее за что-то, сильно обременявшее ее совесть, она вставала лицом к стене и, закрыв ладошками глаза, плакала. Далеко не сразу я понял, какая длинная цепь детских проступков стоит за этим. В другой жизни, в давние времена, няни или родители, наказывая, ставили нас в угол, и стоило ей заслышать злые слова, она тут же признавала свою вину и шла в угол. А у меня комок застревал в горле, такая она была несчастная…

Наверное, мне захотелось умиротворить богов и успокоить виноватую совесть, когда на прошлой неделе я выложил все это старой герцогине. А потом жутко злился на себя: ведь явно хотел этими откровениями добиться ее сочувствия! Ей, впрочем, хватило мудрости, отвечая мне, написать совсем о другом, об уроках игры на банджо, которые герцог заставил ее брать; и об его отчаянном страхе перед скукой. Почему-то он

решил, что светские беседы это великий грех, и когда приезжали гости, уходил в дальний конец сада, велев сказать, что молится. Вот почему его стали считать набожным католиком…

Своего рода искуплением было и то, что я принял приглашение Тоби и поехал к цыганам, чьи грязные вонючие таборы окружали Авиньон снаружи — вход в город им был запрещен. Лежа на гнилой соломе в объятиях цыганки, я смог четче сформулировать свое представление о прошлом, — о котором мне напомнила пришпиленная к подушке, будто для колдовского обряда, цыганская кукла. Она отсылала меня снова к Пиа и странным мыслям о близости, которые пробудил во мне терпеливый волшебник по фамилии Радостный. В коробке с куклами (как в коробке с шоколадными конфетами) прятались некрофильские мысли и настроения, вызывавшие преувеличенный страх перед могилами, трупами и т. д. Эти страхи сублимировались в любовь к статуям, восковым фигуркам, портретам, то есть к любым мертвым объектам, притягательность которых в их беззащитности. Труп не может себя защитить.

— Послушай, — кричал я спящей цыганке, — если труп не может себя защитить, то и спящий

тоже не может!

На кострах варили еду. Здешние цыганские поселения так давно лепятся к городским стенам, что, кажется, вросли в них. Цыганки, эти хищные вороны, одеваются, как райские пташки, и ведут пещерный беспутный образ жизни, не давая себе труда выучить хотя бы слово по-французски или уча ровно столько слов, чтобы суметь предсказать судьбу под мостом, хотя их главное занятие — быстрая и приятная случка с клиентами.

Итак, я в Авиньоне; серая городская ночь опускается на пыльные, утоптанные призраками бегавших тут днем детей, площадки для игр… Я иду между пустых скамеек и проволочных ограждений, на которых не желают расти розы. Здешние сады не похожи на ухоженное великолепие на мысу, откуда к тому же открываются прекрасные виды. Но сейчас они казались мне приятнее — они были более современными.

Окаймленные столетними крепостными стенами, вздымаются черные крыши, но, улавливая под разными углами свет, чешуйки черепиц становятся то терракотовыми, то табачными, то фиолетовыми: временами город очень похож на коричневый, с корочкой, пирог на каменном блюде. А теперь покоричневел и воздух, разные

оттенки бурого мерцают в тенях на траве, и, точно веснушки, коричневые пятнышки испещряют лимонную кору неподвижных платанов. И всю эту картину обрамляет быстрая река, которая торит извилистую дорогу к некрополю Арля. Когда-то, судя по словам историка Тоби, трупы с похоронной мздой бросали в стремительный поток, а возле Алискана их вылавливали и, как полагается, предавали земле. На берегах Роны, где я прогуливался, стояли шатры и палатки бродячих торговцев игрушками, цветными лентами, леденцами, соломенными шляпами, шалями, а также товаром, необходимым в крестьянском хозяйстве: веревки, колокольчики для овец, решета, упряжи, вилы, удобрения, опылители, плуги. Одежду тут продавали старинную, синего цвета, какую издавна носят виноградари, не забывали о шляпах от солнца и больших ивовых вилах, для производства которых в деревнях делают ивовые шпалерники, например, в Сове.

Естественно, цыгане тоже были тут, шныряли повсюду в своих живописных лохмотьях и звенящих побрякушках, ловя зазевавшихся клиентов, суеверно осенявших крестом их грязные ладони; воровали или совокуплялись прямо под кустами на речном берегу. Хотя мы сравнительно далеко

от моря, машины и поезда привозят свежий улов к нашим дверям, и в Авиньоне можно полакомиться средиземноморскими деликатесами. Правда, старые пыльные дороги отпугивают современный транспорт, так что в сравнении с более цивилизованными приручеными пригородами Ниццы и Монте-Карло мы наверняка производим впечатление отсталых, погрязших в пыли веков. Ну и пусть. Зато здесь все достовернее, у всего есть основа и стиль. Да и места тут красивее, благодаря своей относительной непричесанности и неухоженности.

Во время праздников и гуляний под знаменитым разрушенным мостом, который обитатели Верфеля воспринимают как некое символическое сооружение, танцуют вполне реальные профессиональные танцовщики, на праздники и в отпускное время. Устраивают здесь и знаменитые игры с быком: «сорви-кокарду», в точности такие, как на критских вазах, кто-то недавно это обнаружил. Это развлечение гораздо более гуманно, чем испанская коррида, ибо быка не убивают; опасности подвергается человек, весь в белом. Буквально за минуты огораживают цыганскими повозками круг — вот вам и арена, и места для зрителей. За лето мы успеваем

вдоволь наглотаться красной пыли и выпить столько красного вина, что оно удержало бы на плаву целую канонерку. Иногда, при вечернем освещении, кажется, что Средневековье было не так уж и давно — и скорее это реальность, а не абстракция. Стены с бойницами смеются беззубыми ртами, гримасничают, словно деревенские увальни Брейгеля. Высоко поднимаются в ночное небо массивные, безобразные фабрики Бога, похожие на сломанные лобзики. В зеленых водах большого фонтана в В., который пульсирует в ритме петрарковской поэзии, безмятежно играет и плещется блестящая форель, пока не попадает под багор юных бездельников. Темнеет. Я ищу среди палаток юного Тоби, который не перестает изумлять меня своими возлияниями; наверняка околачивается возле какой-нибудь винной лавки, где потчуют бесплатно, рекламируя местные вина и заключая прямые сделки. Тоби уже перебрал. Он едва держится на ногах, но стакан из своей лапищи не выпускает. Под мышкой у него последний Персворден, довольно потрепанный и весь в песке (мы утром купались). Хоть я и тщеславен, но не держу на него обиды, ибо П. единственный в сегодняшней Англии приличный писатель, и я с радостью, как

говорится, отдаю ему пальму первенства. Тоби замучила икота, и он пытается избавиться от нее единственным известным ему способом — льет себе в глотку вино.

Иногда достаточно одной-единственной спички, чтобы поджечь стог сена, и одного слова — чтобы воспламенить мозги. Пьер непременно хочет повидаться с Аккадом, когда тот в следующий раз приедет во Францию, хочет расспросить его о тайнах секты. Кстати, и Тоби после нашего обсуждения вдруг понял, как ему подступиться к своей работе. В сущности, я не сообщил ему ничего нового о гностических верованиях, однако он усмотрел в них ключ к решению старой наболевшей проблемы с тамплиерами — в чем их грех, почему они погибли? Тоби вдруг осенило: ересь, которая довела их до могилы, как раз и есть гностицизм. Эта гипотеза придала некую форму и осмысленность разрозненным документам, скопленным в верфельском архиве. От одного только предположения, что он на пути к теории, достойной докторской диссертации, Тоби охватил такой восторг, что он беспробудно пил трое суток. Выбравшись в город, мы то встречали его, то теряли из вида; и при каждой следующей встрече он выглядел все более пьяным, все мед-

леннее передвигался, и все вдохновеннее чудил. Когда Тоби напивается, невозможно предугадать, что он сотворит. Например, может остановить единственное в городе такси и крикнуть:

— Гони вон за тем неврозом!

Или продекламировать нелепый стишок:

Яблочко мое налилось-поспело,
Проказница-Ева, давно пора за дело.

Ну и конечно же Байрон — он считал, что похож на Байрона, и постоянно разговаривал с воображаемым Флетчером — правда, как правило, в постели.

— Флетчер!

— Слушаю, милорд.

— Отрекаюсь от себя.

— Да, милорд.

— Флетчер!

— Слушаю, милорд.

— Передай герцогине мои наилучшие инстинкты.

— Слушаю, милорд.

В его взбаламученных мозгах одна мысль налезает на другую, но ни одну ему не удается додумать до конца.

— О мудрейший, я не вижу смысла быть самим собой, — произносит он нараспев.

А потом добавляет:

— Огромную тушу британского мяса и хрящей по имени Сатклифф надо держать в собачьем ошейнике. Он преступно напился и примкнул к инженерам греха. Чума на эту вечно шляющуюся задницу и потрескавшиеся лапы. Свобода воли — это иллюзия, дорогуша, так же, как абстрактное эго, скажем, тамплиеров. Кто заставил их такое учудить? До последнего мгновения они не знали о гневе нимф.

Или он просто растягивается на уличной скамейке и засыпает, словно какой-нибудь бродяга, вместо подушки сунув под голову «Эссе» Персвордена. И только предрассветным холоду и сырости удается разбудить этого заросшего щетиной охальника и отправить в «Принц-отель» или назад в шато.

— Мой совет Робину Сатклиффу таков, — говорит он и декламирует, чертя пальцем решетку в воздухе:

Увидел утку — и стреляй,
Постели ради — вирши оставляй,
Ведь наказанье-то пойдет

Потомству бедному в зачет.

— Флетчер!

— Слушаю, сэр.

— Заклинаю тебя пуповиной Воскресшего Господа, принеси мне соды.

— Сию минуту, милорд.

Далеко-далеко, под бамбуковой кровлей, там, где летают пестрые тропические птицы и где отдыхают великие филологи, она, возможно, все еще ждет меня. «Милый, Бирма — это ловушка, — было в письме. — Мне кажется, я схожу с ума».

Слоняясь по старому городу, возле рынка я наткнулся на несколько тележек с книгами, и среди них отрыл очень старое жизнеописание Петрарки (MDCCLXXXII), которое я читал и перечитывал в общественных парках их преосвященств. Лучшего прощального подарка для Сильвии не придумаешь. Я не настолько очерствел сердцем, чтобы не преисполниться внезапным сочувствием при словах анонимного биографа поэта:

J'ai cru d'ailleurs que dans un temps où les femmes ont Fair de ne plus se croire dignes d'être aimues; où elles avertissent les hommes de ne pas les respecter; où se forment tant de

liaisons d'un jour et si peu d'attachements durables; où l'on court aprus le plaisir pour ne trouver que la honte et les regrets, on porrait peut-etre rendre quelque service aux Moeurs, et rapeller un Sexe aimable a l'estime qu'il se doit si l'on offrait a ses yeux, d'aprus l'histoire, le module d'un amour dùlicat, qui se suffit a lui-même et qui se nourit pendant vingt ans de sentiment, de vertus et de gloire.[115]

Бедняжка Пиа! Неожиданно я перенесся мыслями на берег Женевского озера, где в первый раз встретился с бледной худенькой девочкой в белых перчатках на пуговичках. Зонтик, ботинки с узкими носами, соломенная шляпка. В Женеве она заканчивала школу, и по воскресеньям ее вместе с другими девушками выводили гулять парами по набережной. Она была очень бледной и очень худенькой, поэтому даже чересчур зауженный в талии костюм висел на ней, как на

---

[115] Примечания: 115

Впрочем, я подумал, что во времена, когда женщины, похоже, больше не считают себя достойными любви, когда они уведомляют мужчин, что не уважают их, когда завязывается так много мимолетных связей и так мало длительных привязанностей, когда все ищут удовольствий, находя лишь стыд и сожаления, можно было бы оказать услугу нравам и призвать прекрасный пол к уважительному отношению к самому себе, явив его очам образец нежной любви, самодостаточной и живущей в течение двадцати лет чувством, добродетелью и славой, а такие образцы истории известны *(фр.)*.

вешалке. У меня было назначено свидание, уж не помню с кем, и я сидел в маленьком уличном кафе, когда она, улыбаясь подруге, проходила мимо, но в ее взгляде было что-то еще, более сложное, пробудившее мой интерес — интерес, который усиливался, пока я наблюдал, как она, лакомясь, словно кошка, ест мороженое. Потом, сколько бы я ни узнавал о ней, меня ничто не удивляло, — словно я с самого начала понял все: как грустно и одиноко ей жилось в больших посольствах, где ее окружали только гувернантки и учителя и совсем не было детей ее возраста. Младший брат еще не мог составить ей компанию. После прозябания в посольстве даже строгая женевская школа казалась ей восхитительной, а предоставляемая воспитанницам скромная свобода — почти опасной. Я отправился следом за девушками, и из случайной реплики узнал, в какой церкви они молятся по воскресеньям. В следующее же воскресенье я туда явился, дабы вместе с ними отдать долг Всевышнему, а через воскресенье передал ей записку с приглашением на обед, сообщив название моего отеля. Для пущей важности я приписал, что в скором времени приму монашеский постриг, но ни на одно мгновение даже мысли не допускал, что Пиа примет

мое приглашение. Однако Пиа, приходя в себя после всего пережитого, наслаждалась карнавалом свободы в степенной и мрачной Женеве. Лишь однажды в своей жизни она проявила не свойственную ей, почти отчаянную храбрость: воспользовавшись черным ходом, она тогда перелезла через невысокую изгородь… Я не поверил своим глазам и был совершенно выбит из колеи, не хуже старика Петрарки.

> *Le Lundi de la Semaine Sainte, a six heures du matin, Pétrarque vit a Avignon, dans l'église des Religieuses de Saint-Claire une jeune femme dont la robe verte était parsemée de violettes. Sa beauté le frappa. C'était Laure.*[116]

Такие приключения всегда кажутся поначалу простыми и незатейливыми. А потом приходит беда. Но может быть, кому-то везет. Может быть.

Старый доктор в Чехии как-то сказал герцогине:

— Я всегда думал о себе как о запасном ребенке,

---

[116] Примечания: 116

В понедельник на страстной неделе в шесть часов утра Петрарка увидел в церкви женского авиньонского монастыря Сен-Клер молодую женщину в зеленом платье, усеянном фиалками. Ее красота поразила его. Это была Лаура *(фр.)*.

запасном голосе, запасной шине. Люди обращаются ко мне только в горе. Счастьем с врачом никто не делится.

— Флетчер!

— Слушаю, милорд.

— Подай мне лиру.

— Сию минуту, милорд.

— И чего-нибудь бодрящего. Мне немного не по себе — то ли сплин, то ли обыкновенное похмелье. Немного метилового спирта, пожалуйста.

— Сию минуту, милорд.

Лосося мы коптим живого,
Живого жарим каплуна.
Со мною милость Христова,
За веру она мне дана.

(Тоби не мог сдержать рвавшихся из него стихов, когда стоял перед папским дворцом.)

Пир одиночества — слишком жирная диета для такого человека, как я. И все же пришлось к ней привыкать. Пьер сказал:

— Люди, утратившие способность влюбляться, могут ослабнуть, изнемочь и подсознательно выбрать болезнь, которая заменит пистолет.

Он прав. Несмотря на новейшие свободы, взаимонепонимание в любви остается неизменным. Акт — часть духовной жизни, и плоть лишь подчиняется его целительным судорогам и амнезии. Ну да, теперь вообще лечись — не хочу, благодаря Мари Стопе. Воистину молодые заполучили ключ от кладовой, они могут каждое утро лакомиться на завтрак яблочным пирогом и сливками, а всю ночь — пирожками и пивом. Какого черта я предъявляю непомерные претензии жизни, ведь у меня под боком все цыганки Авиньона? Одно слово — дурак. Помнится, мне хотелось кричать:

— Я люблю тебя.

Но она закрыла мне рот, и я чувствовал свое дыхание в ее ладошке…

Вечерами я подолгу мылся в своей комнате с зажженным камином; кстати, большая сидячая ванна пригодна для чего-то более современного, чем просто мытье. Медленно выжимая губку, я согревал свое тело. После — бродил в освещенном лабиринте старого дома, определяя нужное направление по далеким звукам рояля. Свет играл на бокалах с вином. Сколько еще продлится для них эта жизнь — в унисон с равномерным биением верфельского пульса? После обеда мы играли в карты или читали. Я чувствовал, как меня за-

вораживает тяжелая дремотная пассивность и что мне приятно подчиняться инерции здешней жизни. Тоби обвинял меня в эгоизме за то, что мне было плевать на социальные проблемы, но ведь эти пресловутые социальные проблемы не подскажут, как утишить боль, как избавиться от одиночества, как избежать отчуждения, удовлетворить потребность в любви. Когда-то я пару месяцев был без памяти влюблен в грязную, немытую, постоянно зевавшую француженку, от которой несло, как в метро в разгар лета. Из-за перенесенного в детстве менингита у нее были замедленные реакции — она растягивала слова, и непослушные мускулы в уголках рта придавали ей необыкновенную прелесть и тайнственность. Комитет по спасению чего-то там не может любить, общество — тем более, а та девица одарила меня невероятным счастьем, которое давало ощущение нежданного чуда. Я рассказал о ней Пиа, и она с терпением, свернувшимся внутри нее, словно котенок, слушала меня, не произнося ни слова. Потом я снял с нее новую соломенную шляпку и благодарно перецеловал все украденные у солнца веснушки. В те дни у меня было легко на сердце, и свои письма я подписывал: «Всего хорошего, наилучших мучений, Роб». До

чего же я был наивен!

«Моя философия такова: люди, которые причиняют слишком много беспокойства, должны быть взяты под стражу и пущены на мыло». (Тоби. Последние три слова он проорал, стукнув увесистым кулаком по столу.)

Что до Трэш, то ее терракотовая красота говорила сама за себя, что этот пудинг хорош, было ясно и без пробы. Те места, где ее кожа отливала сливовым цветом, она слегка припудривала — и была похожа на греческую вазу, присыпанную костяной муки. Утром, еще не одевшись, она занималась тем, что называла своей Распевкой, вставая при этом на цыпочки и вздымая руки к небу:

Кто самая лучшая?
Кто лучше лучшей?
Кто из самых самая?
Кто из особых особая?
Все вместе: «Ты, Трэш,[117] *ты!»*

Маленькую болонку в одежке из алого бархата назвали в честь Пиа. Она с удовольствием ходила на задних лапках, и стоило показать ей хлыст,

---

[117] Примечания: 117
Тут обыгрывается буквальное значение имени Трэш: хлам, отбросы.

немедленно возбуждалась. Когда же она умерла, то ее, расслабив сфинктеры, со слезами хоронили при луне. Ах, прелестное колдовство темной дамы рыданий![118]

Пытаюсь объяснить Пьеру, что поток сознания состоит из слишком болезненных фрагментов осознанного, связи между которыми подчас весьма слабы, когда свободные ассоциации скачут от одного фрагмента к другому, наподобие квантов. Он не верит, что искусство больше не дневник, а история болезни. В любом случае, «поток сознания» — некорректный термин, ибо он предполагает нечто текущее между берегами. Млечный Путь — это уже точнее. Сознание — это нечто липкое и вязкое. Послушай, Трэш, дорогая моя, прыгни на луну, сверкни черными ляжками! Любовь Пиа поможет тебе, она спасет обе твои прелестные ямочки.

Бедняжка Робин по ночам молчит
И думает, увы, мой разум спит.

На пустынных плато своего одиночества он чувствует, как у него на щеках высыхают холодные морские брызги. Не отрываясь, он вглядывается

---

[118] Примечания: 118
Явный намек на «смуглую леди сонетов» Шекспира.

в глаза бурана, но ничего не видит за медленно падающим снегом.

— Тоби, как только ты начинаешь думать о сиюминутном, художник в тебе уступает место гражданину. Делай свой выбор.

Но я злюсь на себя за то, что попался в сети ненужного спора. Никогда не надо ничего объяснять, достаточно намека.

Брюс сказал:

— Когда мы были моложе, книги даже физически воздействовали на нас. Помню, «Серафита»[119] так разволновала Пьера, что он, задыхаясь, отбросил ее и убежал на улицу, а там стал кататься по траве, как пес, чтобы избавиться от настигшего его видения совершенной любви, соединившей его с сестрой.

Да уж, когда человек молод, нужна трепетная поэзия. Это потом начинаешь понимать, что в любви не меньше костей, чем в рыбе — красота бесстыдна и сладостна или спокойна и скучна, как Пиа:

en pente douce
au bout portant

---

[119] Примечания: 119

«Серафита» — рассказ Бальзака, написанный под влиянием идей Сведенборга, в основе сюжета — миф об андрогине, двуполом существе.

glisse glisse chérie pourtant
vers bonheur béchamel[120]
любовь всегда полна сюрпризов
и удручающих капризов.

Поцелуй похож на интервал между двумя математическими точками, на кончик горящей в темноте сигареты. Однажды, когда мы пили обыкновенное земное вино, я попросил Пиа рассказать, как ей с Трэш. Сильно покраснев, она долго молчала, не сводя с меня глаз и в задумчивости морща лоб. А потом сказала:

— Тело Трэш пахнет свадебным тортом.

[120] Примечания: 120

Скатываясь по пологому склону, скользи же, скользи, дорогая, прямо к счастью цвета бешамель *(фр.)*.

Глава четвертая
Жизнь с Тоби

Если бы не Тоби, у меня никогда не хватило бы смелости вернуться в шато, а то, что он с небывалым рвением взялся за работу, придало невероятную значительность новому этапу нашей жизни. Он штудировал средневековые записи о нескольких поколениях рода Ногаре, ну а я мало-помалу разбирал документы более позднего времени — записные книжки Сатклиффа, письма от Пиа, от герцогини и вообще все письма, которые он сохранил. Теперь в моем распоряжении оказалась старая студия Пьера, а Тоби оккупировал все три комнаты для гостей — между делом. Итак, подобно парочке вышедших в отставку холостяков, мы выступили единым фронтом против терзаний одиночества. Пару раз по делам, связанным с собственностью Пьера, в Верфель приезжал нотариус, а однажды я видел неподалеку аббата, который не поздоровался со мной и не заглянул в шато. Довольно долго проговорив с одним из старых слуг, он послал спросить, нельзя ли ему посетить усыпальницу,

в которой столетиями хоронили его предков. Разрешение он получил незамедлительно и исчез в лесу, а через час-два вновь появился в комнатах слуг, вернул ключи. Наступило лето, и мы стали совершать долгие прогулки по благоуханному пропыленному Провансу.

Великий труд, озаглавленный «Тайна тамплиеров», приближался к завершению; Тоби потратил на него много лет, а если к процессу написания прибавить годы размышлений и штудирования всяческих источников, лет наберется еще больше, и намного. Постепенно став главным делом жизни, «Тайна тамплиеров» могла либо укрепить, либо разрушить репутацию Тоби как историка. А для меня это было странное время. Мы почти не говорили о трагедии Пьера и раз в неделю ездили в Монфаве, чтобы провести несколько тихих часов с Сильвией. Но, главное, мы рано вставали и много гуляли, и меня почти не мучило ощущение сиротства.

Тогда-то Тоби и решил прочитать мне несколько страниц своей книги в соответствующей обстановке — в заброшенной крепости тамплиеров, которая высится над крутым обрывом оврага позади акведука Пон-дю-Гар, бронзового чуда римлян, водопроводной системы, сооружен-

ной наподобие медового пирога и встроенной в крутую скалу над медлительным Гардом, впадающим в Рону. Мы провели ночь в крепости, и бронзовая луна, словно откликаясь на наш зов, поднялась над нами. Романтическая обстановка как нельзя лучше располагала к чтению труда, который должен был превзойти сочинение Гиббона[121] в велеречивости и сладкозвучии — сам автор претендовал на это, правда, когда пребывал в легком подпитии. Органично вписывался в этот антураж и большой костер из терна и дрока, сложенный возле стены внутреннего бастиона. Огненный великан рычал и сверкал на фоне тихого неба, освещая, как днем, мрачные пределы — и выгоняя из щелей учуявших тепло ящериц и змей. Мы расстелили в темном углу одеяла, и, водрузив на нос очки в золотой оправе, Тоби принялся разогревать наш обед и откупорил большую оплетенную бутыль красного верфельского вина, мерцавшего в освещенных луной стаканах, как тускнеющие угольки воспоминаний о полузабытых путешествиях и приключениях нашей юности. В конце концов он уселся на камень и взял в руки толстую рукопись — труд всей своей

[121] Примечания: 121

Гиббон, Эдуард (1737–1794) — английский историк, автор популярной книги «История упадка и разрушения Римской империи».

жизни.

«Даже после шести веков замалчивания это слово будоражит душу — беспокойное и загадочное, оно тревожит память трагедией, в которой все неопределенно и сомнительно. Тамплиеры! В чем их грех? Что стало причиной их неожиданной, почти необъяснимой гибели? Пыль толстым слоем лежит на манускриптах, которые должны были бы дать ответ на эти вопросы, но которые, на самом деле, напускают еще больше тумана чудовищными двусмысленностями и откровенной ложью. Чем дольше изучаешь имеющиеся свидетельства, тем меньше им веришь: разгадка скрыта намеренно, так называемые факты — вранье, сохранившиеся документы предназначены для того, чтобы запутать. Значит, тайна останется тайной? Неужели нам никогда не выйти за рамки не выдерживающих критики домыслов и косвенных доказательств?

По всей Европе и всему Средиземноморью, начиная от северных дождей и туманов и до солнечных апельсиновых рощ Сирии, Португалии, Марокко можно найти печальные реликвии ордена — брошенные крепости и разрушенные замки, которые своей недоброй тишиной, словно все еще хотят убедить нас в том, что в пятницу

тринадцатого числа тысяча триста седьмого года случилось нечто неожиданное и трагическое. Один из самых могущественных в мире религиозных орденов был уничтожен в одну ночь, разрушен до основания, разрознен и сожжен на кострах Инквизиции при подстрекательстве слабака папы[122] и преступного французского короля. Из их уст прозвучали фантастические обвинения, которые повергли в растерянность самые светлые умы и самые чистые сердца ордена, а ведь его членов так долго восславляли за благочестие, самоотречение и верность долгу. В те времена тамплиеры представляли собой, используя термины военной науки, передовую боеспособную армию, которой было по силам подчинить себе всю Европу. Более того, если смотреть с политической точки зрения, то тамплиеры были не только рыцарями, но и банкирами, державшими в руках золото королей…

И все же в пятницу тринадцатого числа тысяча триста седьмого года в соответствии с *lettres de*

[122] Примечания: 122

Имеется в виду Климент V, который под давлением короля Филиппа IV Красивого в 1309 г. перенес свою резиденцию из Рима в Авиньон.

cachet[123] короля Филиппа Красивого, разосланными всем сенешалям Франции (которые им запрещалось вскрывать и читать до двенадцатого октября), пять тысяч старших членов ордена тамплиеров, включая самого Жака де Молэ, Великого Магистра, и шестьдесят рыцарей его личной охраны, были арестованы при активном содействии Гильома де Ногаре, канцлера Франции. Их всех, словно кроликов, переловили за одну ночь. До нас не дошло ни одного документа, рассказывающего о возмущении или сопротивлении тамплиеров. Главный удар был направлен на центр распространившегося по всему миру ордена — на Парижский Тампль. Почему?

Предъявленные обвинения, даже если сделать поправку на обычаи того времени, поражают своей несообразностью. Создается впечатление, что рыцари тоже были сбиты с толку и не могли оправиться от изумления. Всемирно известный религиозный орден, считавшийся образцом бережливости и целомудрия, обвинили в содомии, в отправлении тайных обрядов, в ереси, в приверженности религиям, враждебным христианскому учению. Молниеносность удара,

[123] Примечания: 123

Королевские приказы об изгнании или заточении без суда и следствия *(фр.)*.

точно рассчитанное время и небывалые масштабы предъявленных претензий не позволили тамплиерам опомниться, перегруппироваться, подготовиться к защите от чудовищной несправедливости. Можно сказать, вся Европа сначала онемела от изумления, а потом встревожилась и испугалась из-за тяжких обвинений против рыцарей, поддержанных весьма шаткими свидетельскими показаниями. Мучительные процессы тянулись бесконечно и стали символом жестокости. Чем меньше оснований находили инквизиторы для осуждения, тем многословнее становились их приговоры, тем выше вздымалось пламя костров, на которых сгорали рыцари. Никто не верил в их греховность, и однако же все молчали.

Увы, ни недоуменное молчание, ни откровенное презрение не могли помочь тамплиерам разрешить страшную религиозную дилемму. Они не понимали, сомневались, шли на компромисс. Неужели король затеял все это всерьез? Или это всего-навсего вульгарный грабеж, учиненный вечно нуждающимся в наличных деньгах расточителем? Но зачем он выбрал такой рискованный способ, ведь в распоряжении ордена имелось пятнадцать тысяч боеспособных и пол-

ностью вооруженных воинов? Возможно, если говорить про оснащенность и профессионализм бойцов, это был самый мощный орден в Европе. Но рыцари не оказали сопротивления. Началось долгое изматывающее инквизиторское дознание «еретиков» — в Тулузе, Авиньоне и прочих городах остались горы документов, несказанно разочаровывающих своей неопределенностью и бессвязностью. Но факт остается фактом: в одну ночь пятнадцать тысяч человек на площади в сто пятьдесят тысяч квадратных миль были взяты под стражу. Ни о каких стычках нигде ни слова. Почему рыцари сдались без боя? Надеялись на свою чистую совесть? На то, что правда победит? Или их застигли врасплох? Тамплиерам было, где и чем защищаться. Их крепости, настоящие мастодонты, были неуязвимы, их армии умели воевать. Позднее король Филипп попытался переложить ответственность на инквизицию, заявив, что действовал по наущению святых отцов. Однако это не так, ибо инквизиторов оповестили, когда аресты уже совершились — чтобы они вели дознание в лучших религиозных традициях. Ногаре разослал двенадцать шпионов собирать компрометирующие улики. Не забывайте, его родителей-катаров сожгли те самые тамплиеры,

которых он помогал уничтожить. Как бы там ни было, костер сложил он — при подстрекательстве короля. Огонь полыхал долго и жарко, но тем не менее в деле тамплиеров и поныне много загадочного и непонятного. Истина ускользает. Например, из многих тысяч рыцарей, которых пытали и допрашивали более семи лет, лишь трое признались в гомосексуальных связях…

Нужно, однако, ясно представлять традиционный взгляд на тамплиеров, ибо его придерживаются академические исследователи, создавая более или менее правдоподобную картину происшедшего. Главный приверженец этой точки зрения — профессор Оксфордского университета Бэзил Бэбкок — пишет:

«В реальном грехе тамплиеров нет ничего загадочного — хотя о нем ни разу не упоминается в длинном списке из ста двадцати семи вопросов, заданных инквизиторами всем без исключения рыцарям. Этот грех был грехом ростовщичества, и в нем единственное разумное объяснение обрушившейся на тамплиеров беды. Нам необходимо помнить, что именно тамплиеры были самыми могущественными и многочисленными представителями в «цеху» ростовщиков и банкиров средних веков, а свое непомерное богатство они

обрели, финансируя крестовые походы и активно участвуя в них, чтобы защитить и проконтролировать свои вложения. Парижский Тампль был фокусом и центром мирового золотого рынка. Папы и короли считали тамплиеров надежными хранителями своих богатств — тех богатств, которые не запирают в сокровищницах, а реинвестируют под гарантии и неплохие проценты. После шестидесяти лет усердного накопительства под защитой мечей и крепостных стен, возведенных во всех уголках цивилизованного мира, тамплиеры могли поспорить богатством с королями и папами. Это не могло не сказаться на экономической жизни Европы. С богатством приходит жадность, с властью — высокомерие. Таким образом была подготовлена почва для будущего падения ордена».

В основе нашего подробного исследования лежит предположение, тамплиеры все же не обошлись без ереси, подхваченной, вероятно, на Востоке, и с узкохристианской позиции ересь эта оправдывает их разгром. Служа Кресту *outremer*, то есть за морем, тамплиеры познакомились с тайными гностическими верованиями, которые наложили отпечаток на их понимание добра и зла, на их верность папе и христиан-

ству. Они стали тайными сектантами и, в сугубо теологическом смысле, слугами Антихриста. На первый взгляд, это объяснение может показаться слишком смелым, возможно, дерзким. Но у нас достаточно доказательств, и мы надеемся с помощью скрупулезного исследования имеющихся свидетельств убедить всех в своей правоте — хотя, конечно же, далеко не все рыцари имели представление о том, что происходит на самом деле. Орден трансформировался изнутри, и знания распределялись в зависимости от уровня посвящения — структура ордена очень напоминает масонскую, что вполне естественно, ибо даже думать о вещах, ставящих под сомнение христианство как таковое, было чрезвычайно опасно. Тамплиеры проиграли — их изничтожили, всех до последнего человека, вырвали с корнем. Обвинения наверняка потом подверглись пересмотру, так называемые доказательства были перепутаны и перемешаны. Без причины такое не делается, и автор надеется это доказать».

Тоби отложил рукопись и подбросил в огонь веток. Я молчал. Несмотря на некоторую риторическую тяжеловесность, вступление звучало совсем неплохо. По крайней мере, в нем был вызов почившим на лаврах авторитетам. Я смотрел,

как, хлопоча над обедом, Тоби ходит взад-вперед, и языки пламени играют в золотых дужках его очков. Странная дремота, одолевшая меня возле жаркого костра, почему-то подстегнула мою память. На стенах плясали силуэты наших теней, и я вспомнил о Платоне,[124] потом об Аккаде. Затем стал размышлять о наших жизнях, о путешествиях, которые казались теперь жалкими и блеклыми и обернулись для нас преддверием ада, нам нечего было больше ждать в этом мире. Горел костер. Весь Прованс (родная земля) спал в лучах меркнущей луны. У Тоби пробилась на висках седина, у меня тоже. А умершие? Они покоились в мире, ожидая, когда и мы к ним присоединимся. Обедали мы в умиротворенном молчании — в глубокомысленном молчании: то, что написал Тоби, возвращало нас прямиком в нашу юность, к Аккаду, в Александрию, к приключениям в пустыне. Теперь я понял, каким образом Тоби собирался развить тему, и, если он осмотрительно распорядился материалом, то будущую книгу его коллегам довольно трудно

[124] Примечания: 124

Имеется в виду философская притча Платона о пещере («Государство», гл.7). В пещере — узники, прикованные к стене таким образом, что им видны лишь свои тени и тени предметов и людей, проходящих снаружи.

будет не заметить. Сидя возле костра, он долго листал страницы, а потом заговорил своим зычным голосом, не желая читать по написанному.

Я лежал, подремывая. Кое-что мне было известно, кое-что — нет. Под воздействием вина на меня снизошло приятное полузабытье. Ну да. В тысяча триста девятом году Авиньон стал Римом, как раз во время процессов над тамплиерами. Тоби сказал:

— Всем этим я обязан случайной фразе Роба и письму Аккада. Помнишь?

В памяти всплыли отрывочные заметки Сатклиффа, которые я пытался сложить в хронологическом порядке.

«Милая, Робин изнемогает от печали. Его розы больше не поют. Он скорбит, бедняжка Робин, и молчит. Ему нужны подзаголовки, милая».

Трэш, с ее «изрядно хромающим французским»…

— Чтобы добираться до сути, — говорил Тоби, терзая объемистую, перепечатанную на машинке, рукопись, — надо попытаться понять, что стоит за вопросами инквизиторов. Например, по поводу содомии. В средние века она встречалась не реже, чем теперь, так что дело не в изнеженности современных мужчин. Многие крестоносцы

наверняка грешили содомией; естественно, к этому относились с возмущением. Наказания полагались жестокие, но о них почти никогда не вспоминали. Хотя пойманные с поличным должны были заживо сгореть или заживо лечь в могилу, о чем говорят законодательные акты. Кстати, евреям, например, их средневековые преследователи не предъявляли обвинение в сексуальных отклонениях. Интересно, почему? Даже в обвинениях в ритуальном убийстве нет ни намека на сексуальный оттенок. И безбожным мусульманам вменяли в вину лишь чрезмерную невоздержанность. Очень важно то, что гомосексуализм обыкновенно отождествляли с *религиозным сектантством* самого ужасного типа — вот и болгарина, или богомила, всегда обвиняли в религиозно-сексуальном преступлении, отсюда *bougre*[125] и *bugger*[126] … Понимаешь?

На его тяжелом лице играли огненные блики; теперь и он не мог сдержать зевоту. Мы лежали, глядя, как искры пронзают ночное небо. Эти обстоятельные рассуждения о гностическом грехе — о котором я кое-что слышал и кое-что

---

[125] Примечания: 125
Негодяй *(фр.)*.

[126] Примечания: 126
Содомит, педераст *(англ.)*.

читал прежде — подействовали на мои чувства, как наркотик, вызвав в памяти целую галерею ярких сценок из нашей жизни и из наших встреч с последними представителями древней ереси. Мне привиделись большие непроницаемые глаза Аккада, смотревшего на нас сквозь дымные струи фимиама. Великий змей Офис вновь, шипя, поднимался вверх — в рост человека. Тоби с сожалением говорил о том немногом, что осталось от гностицизма, о сильной вере, пошатнувшейся и погибшей из-за преследования ортодоксами. Рассеянные расколом, сломленные ненавистью и издевательствами ранних христиан, гностики ушли в пустыню, спрятались в горах Сирии или отправились цыганскими тропами в Европу, обосновываясь в разных местах, например, в Болгарии, где и получили отвратительное прозвище.

Тем временем Отцы Церкви позаботились, чтобы все аккуратно зафиксированные сведения об их жизни и вероисповедании исчезли вовсе или были искорежены и запутаны до неузнаваемости. Неужели они в самом деле настолько погрязли в пороках, как утверждали ортодоксы? В конце концов, они ведь тоже были христианами… Я почти въяве слышал, как Сатклифф кричит:

— *Libido scienti!*[127] Альбатрос безумия!

Чудом сохранившиеся жалкие остатки документов содержат лишь намеки на существование в прошлом неких сообществ, которые объединяло отношение к предмету разногласий, грамматика духовного сектантства. Ранние коммунисты, например адамиты, считали брак греховным, а всех женщин объявляли общей собственностью мужчин. Если верить их врагам, главным для них был секс. Первые моления проходили в пещерах, и религиозные службы заканчивались всеобщим совокуплением. Карпократ… Эпифаний рассказывает о секте, члены которой во время тайной церемонии приносили в жертву ребенка, втыкая в него бронзовые булавки, чтобы побольше вытекло крови. Их обвиняли в том, что они едят человеческое мясо — и у них было принято крещение огнем, который превращал человеческую плоть в золу. Ребенок, зачатый смертной женщиной и дьяволом — стариной Месье. Золой причащали при рождении и смерти… Отвратительно?

— Ты ведь знаешь, — сказал Тоби, — что я любил Сабину. Но она была для меня символом этой

---

[127] Примечания: 127
Влечение к знанию *(лат.)*.

чудовищной веры. Роб правильно называл всю эту компанию: гнусная академия самоубийц. Ничего общего с философским пессимизмом, который все же чему-то противостоит. Это хуже; какая-то бесцветная монотонная безнадежность в отношении самых основ нашего мышления, нашей вселенной. Молчаливая злость, поднимающаяся из недр небытия. Разум они привязали к дереву и яростно его хлещут, а он не сдается, не сгибается и под плетьми. Разве мог я, нормальный здоровый мужчина, клюнуть на все это? Все мое нутро возмущалось; и все же без своей секты Сабина утратила бы половину привлекательности. И потом, благодаря ей я знаю то, что знаю об условиях договора между особо доверенными членами, ведь самоубийства у них запрещены. Ни ты, ни Сильвия не были удостоены доверия избранных; ну и я не был. А вот Пьер был, и Сабина тоже.

— Так она тоже умерла? — встрепенулся я.

— Да нет. На прошлой неделе я получил от нее письмо.

— Тоби, ты все выдумал?

— Клянусь честью, нет.

— А при чем здесь тамплиеры? Главное обвинение, насколько я понял, заключалось в том, что

они молились ложному Богу, так сказать, идолу черных месс. Что это значит?

Тоби сел и довольно долго пристально на меня смотрел. Потом, наконец, произнес:

— Я долго думал о том, что ты мне рассказал. Понимаешь, таинственные идолы, которым они поклонялись на своих собраниях — похоже, это человеческие головы, обработанные окисью натрия — методика древних египтян, головы эти, возможно, из Сирии или Персии. Сейчас я жду ответ на этот вопрос либо от самого Аккада, либо от Сабины. Пока мне страшно идти дальше. Из-за Пьера.

Конечно же я догадался, что он вспомнил наш разговор о чудовищных похоронах… они потрясли его не меньше, чем меня.

— Решив-таки вступить в братство, человек дает согласие принять в должный срок (когда — определяет жребий) смерть от руки собрата, которому поручили исполнить неизбежное. Однако будущая жертва не знает, кто и когда к нему нагрянет. Представляешь, я ведь долго воспринимал это как хорошо продуманный розыгрыш, а тут… тут и не пахнет шутками. Имена на так называемой карте смерти Пьера, помнишь? На самом деле, Пьер просто хотел вы-

числить, кто и когда пожалует к нему. Получив письмо с соломинками, он понял, что его участь решена. Наверно, эти умники предупредили его за несколько месяцев — таков обычай. Однако, полагаю, его мучили любопытство, смятение и страх, наверняка. Кому ж приятно узнать, что конец уже близок — кто бы ни принес эту весть, врач или гностик.

— А тамплиеры?

— Ну, тебе ведь известно об идолах и гностическом крещении огнем — в документах есть намеки на это. Думаю, их вера — искаженное валентинианство. Идолы были вместо эонов, священных эманации, и своим происхождением обязаны скорее всего офитам[128] — об этом нам кое-что известно из первых рук.

— Понятно. А большой каменный метеорит в Пафосе, которому тамплиеры дали имя Багомет и, как известно, поклонялись? У тебя есть объяснение?

— Имя, наверно, искаженное от Магомет, или происходит от *bàphe metéos,* то есть крещение камнем. Почему бы нет?

— Гностический намек?

---

[128] Примечания: 128

Офиты — одна из гностических сект в Римской Империи, процветала во втором веке и просуществовала несколько веков.

— Да. Знаешь, Брюс, первые тамплиеры, по-видимому, самым примитивным образом рыскали в поисках рыцарей-одиночек, чтобы принять их в орден после того, как епископ отпустит им грехи. Естественно, собралась шайка разбойников, беглых людей, клятвопреступников, грабителей, святотатцев, которые следом за армиями стекались в Святую Землю за добычей и, не исключено, за спасением. В отличие от госпитальеров,[129] орден тамплиеров с самого начала был военным, с жесткой дисциплиной, образ жизни спартанский, воздержанность. Их цвет — белый. Некрашеная белая шерсть — верх, белые полотняные рубашки, кожаные подштанники. Пегие кони. В награду за присоединение к ордену, тамплиеры предлагали лишения, нищету и опасности. И, знаешь, совсем не для красного словца! Они действительно были несгибаемыми пуританами, если брать моральный аспект. Именно такие могут неожиданно сломаться при столкновении с чем-то необычным. Представь, они воевали на Ближнем Востоке, и там им пришлось столкнуться с ассасинами, персидской сектой, совершавшей ритуальные убийства под

---

[129] Примечания: 129
Мальтийские рыцари

воздействием *quat,* гашиша. Во главе секты был Старик Гор — Хассан ибн аз Саббах, которого тамплиеры знали не понаслышке. Его ассасины — вольно кочевавшие наемники — объединялись с сарацинами, с друзами,[130] со всеми, кто им приглянется в Ливане и Сирии. Но их несколько расплывчатые цели не совпадали с главной целью ортодоксального халифата в Багдаде, которая заключалась в уничтожении неверных завоевателей. Тем не менее, они сформировали нечто вроде мусульманского военного ордена, наподобие христианских орденов.

Иерархическое строение у тех и у других на удивление схоже — даже одежду они переняли: военная форма с красным капюшоном. Произошла важная встреча наркотической культуры (марихуана, гашиш, *quat)* с винной культурой — христианское вино служит заменителем крови Спасителя. Вино как заменитель крови отчасти сдерживает христиан, но так бывает не всегда. Если самообладание их покидает, как во время взятия Иерусалима, то в результате — массовое убийство ближних. Они хотели напиться крови и не могли это скрыть. Ассасины же убивали, так

[130] Примечания: 130

Друзы — приверженцы одной из мусульманских шиитских сект, основанной в XI веке.

сказать, сохраняя спокойствие, воображая, будто убивают идею, сухую, как дохлая муха.

Тоби замолчал и, сонно уронив голову на грудь, призадумался. Но вскоре заговорил вновь:

— Виноград и трава — эти две культуры неожиданно столкнулись и какое-то время воевали друг против друга. Потом одна из сторон выиграла битву военную и проиграла моральную. Один убивает, как механизм, другой жаждет крови жертвы. Именно тут тамплиеры и начали помаленьку сбиваться с пути.

Он хмыкнул и положил священную рукопись под голову вместо подушки.

— *Теперь*, Брюс, тебе понятно, как закончит свои дни бедняга Бэбкок? Во время климакса у него выпадут волосы, он ослабеет и лишится всего своего майонеза.

Однако мне было не до сплетен.

— Ну и что ты надеялся услышать от Сабины? — спросил я.

Воцарилось тяжелое молчание, потом Тоби ответил вопросом на вопрос:

— Трудно отрезать голову?

— Не очень, — сказал я, — если знать как. Сначала надо зажать большие артерии, а потом ножом мясника перерезать хрящи, вот и все.

— Не знаю, что думать о Пьере, да и письмо Сабины полно двусмысленностей. Одно точно. Пьер получил *laissez-passer*,[131] следовательно, ждал удара. Видимо, он доверился Сильвии, вот она и не выдержала, сорвалась, так как ей хотелось уйти с ним и в то же время — остаться с тобой. Этот рецидив — компромисс, избавивший ее от необходимости выбирать.

— А голова? Думаешь, какое-то мерзкое тайное общество пытается возродить традиции тамплиеров, и ему понадобилась голова последнего Ногаре?

— Мы не узнаем правды, пока не приедет Сабина. Объяснений можно придумать сколько угодно, но все они жидковаты, потому что не все укладывается в схему, один-два факта остаются ни при чем. Истина обычно проста. Могла Сабина быть тем человеком, которому поручили убить Пьера? Вряд ли он заподозрил бы ее, а нам известно, что она навещала его одной из последних, если не самой последней.

— Да. Но как он *умер!*

— Естественно, яда не нашли, однако есть много ядов, которые не оставляют следов. Например,

---

[131] Примечания: 131
Пропуск *(фр.).*

свежая синильная кислота… Вот как объяснить отсутствие головы? Кто взял ее и зачем?

— По распоряжению Журдена сделали посмертную маску, правда, для этого ни к чему отрезать голову.

— Да уж. Кстати, Сабина однажды рассказала мне об одном на удивление продуманном убийстве, случившемся в Александрии — вариация истории Юдифи и Олоферна. В голову спящего человека вбили гвоздь без шляпки… и прикрыли волосами. Под рентгеном, естественно, штырь в мозгу хорошо виден…

Вдалеке, на каменистых *garrigues*[132] в рассеянном свете полной луны слышались мелодичная перекличка волков. Прованс сонно млел, полный влажного изобилия, окутанный испариной счастливого завершения урожайной поры. Пыльные дороги прорезали колеса телег и тракторов, груженных горами винограда — синего винограда, припорошенного пыльцой вечности. На полях орудовали кривыми ножами сборщики, которых сопровождали тучи птиц.

— Тоби! — позвал я, и тот что-то пробормотал, будто во сне. — Ты действительно веришь, что

[132] Примечания: 132

Известковая пустошь, заросшая кустарником, на побережье Средиземного моря *(фр.)*.

так все было?

— И да, и нет, — не сразу ответил он. — Но если кто-то и знает правду, то это Сабина. У меня такое чувство, будто она скоро объявится и все нам расскажет. Ее везде ждут мои письма.

Когда Сабина бродила по свету, то никому не оставляла адреса, даже *Post Restante*.[133] Была лишь одна надежда отыскать ее — при помощи какого-нибудь известного кафе, где хранят письма для своих постоянных клиентов, например, «Гавелка» в Вене, «Молар» в Женеве, «Бодро» в Александрии, «Гроппи» в Каире, «Собор» в Париже… Она могла оказаться поблизости и заглянуть в одно из них.

Могла. Но тогда сразу бы ответила. Предчувствие говорило мне, что нам больше не видать Сабину, в недавнем письме она намекнула, что тоже получила предупреждение. И значит, все вопросы останутся без ответа, будут похоронены в неведомом будущем или в гниющих палимпсестах[134] прошлого. Прованс особенно богат на мифы и символы и не любит, когда от него

---

[133] Примечания: 133

До востребования *(фр.)*.

[134] Примечания: 134

Палимпсест — вновь написанная рукопись после смывания (на папирусе) или соскабливания (на пергаменте) прежнего текста.

требуют объяснений умные современные бездельники из отряда человекообразных. Это как ключ — тот старый ключ, что Ногаре оставили Пьеру. Легенда гласит, будто он от сокровищницы тамплиеров, в которой хранятся несметные богатства, не доставшиеся королю. Но где замок, к которому подходит этот ключ-пистоль? Многие годы Пьер упорно искал, скорее всего, мифический клад. Впустую! Впустую. Сейчас ключ лежит в архиве, и Тоби использует его в качестве пресс-папье. Тайна, как мне казалось, так и останется тайной. Она — неотъемлемая часть Прованса, истории здешнего края, который с древнейших времен предпочитал мечтать, придумывать и рассказывать сказки, твердо веря, что у сказок не бывает конца.

Занимался рассвет, и обильная роса легла на наши одеяла. Наверно, мы немного закоченели, и походка наша напоминала походку ревматиков, — пока мы шли к маленькому трактиру возле Пон-дю-Гар, где оставили лошадей.

ЗЕЛЕНАЯ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

(БУМАГИ САТКЛИФФА)

Комедия или трагедия? На чьей ты сто-

роне, приятель? Воистину из наших бед можно сотворить и то, и другое. Ну, например, почему бы мне не добавить мой «гомосексуальный компонент» (О счастливое умение пользоваться языком!) той возне, в которой я получил триппер? В конце концов, не кто иной, как доктор Радостный уверил меня, что выбор сексуальной партнерши мальчишеского типа, то есть Пиа, говорит об очевидных гомосексуальных наклонностях в моей натуре. Любопытства мне не занимать. Но это было похоже на совокупление с типичным импотентом. Нелепо, трагично, смешно. Пиа расстроилась, когда прочитала. Об этом мне рассказала Трэш, а от себя добавила: «Милый Роб, ну и хохотала же я, прямо до колик, когда она читала твое письмо. Ну ты даешь, ты просто гений. Почему бы нам с тобой, смеха ради, не переспать?» Всякая вещь такова, какой ее воспринимаешь, и нетрудно подхватить целительный триппер, если хочешь его подхватить. Клоуны плачут там, куда боятся приходить ангелы. Довольно долго я ничего не мог делать. Сидел один и

терзал пианино. Бедняжка Роб.

В тот вечер мы перемолвились несколькими словами в увядающем розовом саду, где посадили китайские чайные розы цвета шампанского. Слишком ароматные и желтые для даосизма. Я все еще чувствую тяжесть произнесенных слов, как прорицатель, стряхивающий с себя шизофреническую раздвоенность. Пиа сидела тихо-тихо, почти не дышала.

Вначале, боясь ее потерять, он проникся гениальной идеей. «Я должен тяжело заболеть, чтобы она полюбила меня». Он заболел, это сработало, теперь они женаты — были женаты. Могу показать их тебе, если хочешь.

Ах! Пиа, продолжай стремиться к донельзя необщему знаменателю. Трэш, строптивая дикарка, приди же, засунь ботинки мне в рот, а своей киской опустись мне на шляпу. Я сумею тебя ублажить, моя черная жирафа, и заодно научу, как лучше целоваться с Пиа.

В верфельском шато, когда в своей постели умерла старушка-горничная, как говорится, «от старости», все зеркала до самых похорон были завешаны черным крепом.

Что это значит? В каждом желании есть немного смерти. В мозгу имеется запасной выключатель, автонилот. Отсюда появляются симпатичные изобретения.

Когда я обсуждал с Тоби собирательные существительные, такие как стадо овец, прайд львов, он предложил включить в этот список «удивление» женщин.

В середине жизни нас окружает великое море смерти, о котором мы ничего не знаем. Для мудреца молчание — топливо; оно свистит в натянутых нервах с силой в восемь баллов. Время хранит молчание для нас, а мы — для времени. Я знал об этом каждую минуту, каждый поцелуй. В Инсбруке дул такой *föhn*,[135] что можно было сойти с ума. Старый пи-

[135] Примечания: 135

Сухой и теплый ветер, дующий с гор в долину, часто очень сильный *(нем.)*.

сатель доверил свою рукопись некоему путешественнику на Мальте, а тот по прибытии в Марсель заболел чумой. Все его вещи сожгли, так рукопись и пропала. (Кольридж.)

Сильвия говорит, что слово «любовь» похоже на пустую костяшку домино. Она права. Я прячу в карман мою гордость. *Ame soeur, âne sûr.*[136]

Когда одиночество, вскормленное долгими разлуками, становится нестерпимым, Пиа, родная…

У королевы был вид довольно вульгарной герцогини, игравшей роль. Будь она настоящей, как старушка Ту, то была бы еще вульгарней, зато намного естественней.

Мутноватое белое вино Арамона с голубоватым круглым бликом, намекающим на этиловый спирт.

Раздутый язык, мутная моча, энурез,

[136] Примечания: 136
Родственная душа — надежный осел *(фр.)*.

шпатель… Ух! Смерть из-за чего-то непонятного с почками. Старый поверженный священник. Я испытывал раскаянье из-за своего антихристианского настроя, когда видел его благородное страдание.

* * *

Je souffre chérie, done je suis Men portant, c 'est a dire presque humain.

Je suis ni un refoulé
Ni un cérébral
Mais un vieux Epicurean
Un peu ogival.[137]

Из-за чернил с оттиска печатник выглядел так, словно побывал в Скотланд-Ярде. Чернила камуфлирующие, симулирующие.

Кровь щебечет и трепещет, у нее нет

---

[137] Примечания: 137

Дорогая, я страдаю, значит, я здоров, то есть почти как любой другой человек.

Я, как и все порой страдаю.
Рассудка путы мне постылы,
Я лишь эпикуреец старый
В готическом немного стиле *(фр)*.

возраста;

Сквозь нас проходят мертвые корни от наших предков.

В ванной комнате на детской присыпке отпечатались

Следы ее ног, чистых и розовых, как голубиные лапки.

За окном ветер рябит гладь черного озера.

Трепещет парус, стараясь вырваться на свободу.

Здешняя красота берет за горло, когда смотришь на нее с балкона. Покорись!

Жуй черную плоть, Роб,
Твой гностицизм в пятнах
верблюжьей слюны,
Как женщина, она кажется мне
une chercheодиночество
une souffredouleur
une fauchепистолет
une полисombinable.

Ах, Боже, обыкновенной проментоленной любовнице уши заменяют телефон.

Игрушки оживают в снах детей,
Она — в моих, где плачут ангелы по ней.

Любовь покорна благовесту бытия,
Ум подчинен тебе, любовь,
Жена, жена! Скажу я вновь:
Все царство за кинжал.

Требуется: треножник, а не кафедра,
поэт, а не пастор,
пророчество, а не проповедь,
номер люкс, а не ночное бдение.

Mon cher, parler c'est de manquer de tact.[138]

Придумал Тоби С-Гор-Хассана-Старца,
У ассасинов синие, как море, яйца,
Мошонки словно в умбру опустили,
А члены — словно бревна — то-то сила!..

Я частенько забавляюсь тем, что представляю авторитетнейший консилиум, если вдруг заболею, совещание доктора

---

[138] Примечания: 138
Мой дорогой, разговаривать — значит быть нетактичным *(фр.)*.

Радостного с доктором Юным.[139] «Этот Сатклифф, страдающий жестокой тоской из-за отверженной любви, очень напоминает знаменитость у Жане.[140] Впав в тяжелую депрессию с характерными апатией, вялостью, пассивностью, он определил свое состояние как «кризис скуки» и все испробовал, чтобы избавиться от ужасной *cafard*[141] — шесть месяцев подстегивал себя алкоголем и табаком. Напрасно. Ничто не развлекало его, ничто не манило. В конце концов он решил покончить жизнь самоубийством, и, удивительно, от этого пациенту сразу стало легче, у него повысился жизненный тонус. Спровоцированное решением умереть волнение оказалось целительным. Давно он не чувствовал себя таким бодрым. Писал друзьям трогательные прощальные письма, улыбаясь

[139] Примечания: 139

Доктор Юный — обыгрывается фамилия Юнга. Young *(англ.)* — молодой.

[140] Примечания: 140

Жане, Пьер (1859–1947) — французский психолог и психопатолог.

[141] Примечания: 141

Тоска *(фр.)*.

при этом во весь рот. Настроение резко улучшилось — настолько, что он стал по-настоящему радоваться жизни. Как-то, забавы ради, выстрелил в свое отражение в зеркале, а потом действительно направил дуло на себя. К счастью, отделался легкой царапиной. С отвращением заметив, что самоубийство — штука довольно болезненная, решил не торопиться. И черная хандра вновь расцвела пышным цветом».

Какое-то время, закрывая глаза, он ясно представлял ее. Высокие шнурованные ботинки из кремовой кожи. Длинное, наглухо застегнутое пальто с медными пуговицами, похожее на шинель гвардейца. Белые кожаные перчатки. Синий шарф на шее и шотландский берет на великолепной белокурой головке. Глаза меняют цвет от морского серого до барвинкового, ярко-синего, или мягкого графитового. Эта высокая бледная девушка гуляет по берегу озера и со слезами на

глазах читает Амьеля.[142] На предплечье у нее крошечный след прививки, прелестнее любой родинки, Сатклифф так часто целовал его.

Волосы у нее густые и немного вьются, пепельно-светлые, как у черкешенки. Какое-то время они переговаривались глазами, этими биологическими лампочками, которые обо всем могут сказать без слов. Для двух людей с развитой интуицией, язык — препятствие, высокий барьер. Глаза все понимают, а словами лучше скрывать, чем открывать. Как трудно, наверное, быть слепым и — отчаянно влюбленным!

Во сне она скрипит зубами, а когда просыпается на рассвете, то взгляд у нее, будто белый огонь или натриевый свет. Голую и незащищенную коконом я заключал свою куколку в объятия, вытаскивая пустой билет в любовной лотерее. Доктор литературы с бетонными глазами. Учтивая машина психоаналитической

[142] Примечания: 142
Амьель, Анри Фредерик (1821–1881) — швейцарский философ.

говорильни. Бегаю по паркам, как ошпаренный кролик. Жирные двусмысленные зады матерей и колясок. В витринах я нетерпеливо ищу в себе привлекательные черты — но вижу грузного мужчину, явно страдающего геморроем и прячущегося в своем пальто, как утка на дальнем плане картины — в воду. Кто-то рассказал мне о старом художнике, который водрузил череп своей возлюбленной на бархатную подушку и вставил в глазницы драгоценные камни.

Сейчас ночь, глубокая ночь, и мой собственный череп полон серых смурных мыслей.

Как же я ненавижу этот город! Здесь полно негров и раздражительных косоглазых прокаженных. Здесь холодно, как в объятиях деловой жены, и много непроверенных девиц. Город-мертвец; у сумасшедших нет праздников. «Словно из улья выкуренные, чужие жизни с острым жалом».

Один важный вопрос рыдает и стонет во всех остальных: откуда мы пришли?

Куда идем?

Я ужасно себя чувствую сегодня, словно я — вставной эпизод между двумя культурами, которые ненавижу. Отклики на новую книгу ругательные или завистливые. Критик — паразит-гельминт в печени литературы.

Вспоминаю зиму. Моя первая зима в Женеве. Остался тут из-за нее. Как-то вечером отправился за ней, чтобы идти вместе на концерт. Валил снег, ветер был острый, как бритва, мороз щипал щеки; я шел, согнувшись. Чтобы трамваи не скользили, как камешки на льду, рельсы посыпали песком. Она ждала меня в холле мрачного, похожего на аквариум дома, в котором снимала квартиру. Великолепное вечернее платье и прелестная шубка отражались в освещенных зеркалах лифта. Она была *на костылях.* В *шубке.* Каталась на лыжах и сломала лодыжку. Не произнося ни слова, я упивался ее необыкновенной красотой. Едва не плакал от вожделения.

Как вы думаете, чем это кончилось? Не угадаете

даже с трех раз. Пиа провела и провезла Трэш по всем местам, где мы были с ней после свадьбы. Думаю, мной в то время владело дурацкое желание воспитать ее чувства, вероятно, то же самое она испытывала *vis-a-vis* Трэш. Но разве милая Трэш для этого годится? Она заливалась смехом в Венеции, Акрополь назвала антисанитарной клоакой, в Каире хохотала еще неистовей — из-за ослико́в… Тогда как Пиа, следуя за Учителем, усердно постигала мировую культуру. Наконец они оказались в Ангкор-Ват, но к этому времени Трэш уже подхватила опасную лихорадку: возможно, малярию. На черном лице белели стучавшие от озноба зубы. От жуткого недомогания и усталости она то и дело разражалась рыданиями, но Пиа все равно тянула свою возлюбленную дальше. Думаю, ей непременно хотелось попасть в Локасвару, где она рассчитывала разгадать тайну нашей жизни — именно там, как ни странно, мы по-настоящему любили друг друга. Известно, что китайцы верят в два рождения человека: в первый раз из чрева матери, а во второй — в любимом месте, где как бы происходит его духовное, а не физическое рождение. Наша любовь родилась на верхних

террасах Байона.[143] Выбитые в скале огромные лица цвета шпаклевки, сигарного пепла, графита, лица чудовищ, источающие невероятный покой — гул небесного прибоя на берегах разума. Она цеплялась за мою руку, как испуганное дитя. Раскосые каменные глаза, толстые каменные губы, взгляд, обращенный внутрь, на разум, погруженный в свет реальности. Осознав легкую усталость, навеянную жизнью во временной относительности, осознаешь и необязательность этой жизни. Каменные облака указывают путь, каким можно выйти из цепочки времени. Пиа сказала:

— Роб, меня пугает счастье.

И вот, бедняжка привязана к легкомысленной возлюбленной. Хохочущая Трэш вопиет между статуями.

— Чертовски здорово! Ничего такого не было после Сесила Б. де Милля![144] — скорее всего, кричит она.

А Пиа? Опять молчит и думает обо мне? Я вижу, как, отрешенная и бледная, она бродит между камней и наверняка по своему обыкновению еле

---

[143] Примечания: 143

Байон — центральный храм столицы Ангкор-Тхом (XII–XV вв), входящий в состав архитектурного комплекса Ангкор.

[144] Примечания: 144

Сесил Б. Де Милль (1881–1959) — американский режиссер и сценарист.

слышно насвистывает.

Входя в Прах-Кхан, ахаешь от изумления. Широкая дорога уставлена по краям изображениями духов в человеческий рост. Слева — дэвы со спокойными улыбками, раскосыми глазами и длинными ушами, которыми они слушают музыку внутренней тишины. Справа — холодные и важные асуры с круглыми глазами, приплюснутыми носами и сардонической усмешкой на губах. Те и другие небрежно держат гигантского змея, у которого семь голов с выступающими зубами и распушенными веером хохолками. Он выгибается, хочет уползти, но они держат его таким образом, что он становится балюстрадой, вдоль которой по большим серым плитам ходят посетители. Мне запомнился шорох сухих листьев под ногами. Очень похожие на своих ювелирных сестер, ящерицы протирают глазки и шуршат по камням, с любопытством наблюдая за чужаками.

Мы робели и прятали друг от друга глаза. Сразу за змеиной балюстрадой открывался во всей его роскоши лес; в древние времена поблизости было озеро, однако оно почти совсем высохло и настолько густо заросло водорослями и лилиями, что стало напоминать ирландский луг. После

несколько церемонного шествия по длинной аллее духов неожиданно оказываешься в лабиринте дворов, покоев, коридоров и вестибюлей. Случайный обломок статуи геройски улыбается, несмотря на свое бедственное положение. Здесь стоит тяжкий запах разлагающегося помета летучих мышей, а из темных комнат доносится мяуканье этих ночных существ, висящих вниз головой, оно похоже на плач новорожденных в клинике, где лечат тьмой и сном.

Потом, естественно, появляется сам Ангкор-Ват — неподвижное, однако захватывающее дух свидетельство великого прошлого. Пересекающая ров широкая каменная дорога свободна от паломников. Здесь праздник цветов, торчащих из воды, точно запонки. Один водоем следует за другим, их всего три, и вокруг — зеленые луга, на которых живут белые цапли и белые, как снег, пеликаны. Пятигранные башни образуют квадрат, а пятая башня посередине; в их стенах выдолблены ниши, и в каждой сидит улыбающийся Будда под сенью девятиголового нага,[145] словно под огромным пальмовым опахалом. Оказавшись рядом, ты уже не можешь оторвать взгляд от барельефов

[145] Примечания: 145

Наг — в индуистской мифологии полубожественное существо со змеиным туловищем и несколькими головами.

с трагическими сценами. Слоны со сплетенными хоботами замерли в смертельных поединках; сидящие на них воины выпускают тучи стрел; на колесницах — лучники, грозно жестикулируют; умирающие лежат вперемежку с мертвыми, победители и побежденные — в последней судороге схватки, как разъяренные тигры; корабли с драконами на носу плывут по мифической реке, кишащей крокодилами и гигантскими рыбами. Это и есть мир, реальный мир, в котором все друг друга пожирают. Твой и мой мир.

Но стоит отвернуться от мучительных картин, и твоя страдающая душа мгновенно успокаивается. С умиротворением смотришь на уходящее за горизонт солнце, благодаря которому все становится нежным, как зола, фиалка, как пористая мякоть гриба. Монахи в желтых балахонах вечером выходят из монастыря, чтобы тихо подышать временем возле голов наги. Их лица словно вырезаны из слоновой кости — безмятежны и отрешенны. Вот истинные потомки изображенных на воинственных фресках людей, у которых в руках копья, подносы, кувшины, которые без слов вступают в сражения и, толстогубые и длинноухие, маршируют между деревьями, где почти на каждой ветке — множество попугаев и обе-

зьян. Маленькие телята глупых серых буйволов играют в тенистых сумерках. Пиа рядом со мной, она держит меня за руку и больше не боится.

— Я поняла, — сказала она, когда мы отправились в долгий обратный путь к поджидавшей нас машине.

Да, я тоже понял. В каком-то смысле это помогло мне постичь и остальное — долгий печальный путь влюбленных и преследовавшую их по пятам беду. Все это живет во мне как множество перепутанных кинокадров, которые налезают один на другой. Вот ливень захватил их врасплох в джунглях. Вот сломалась машина. И целые сутки они никого не могли найти, чтобы помогли. Трэш совсем разболелась, ее трепала лихорадка, она лежала потная, похожая на уродливую куклу из черного шелка. Какие-то бельгийцы из католической миссии взяли их к себе в крытую травой хижину, кишевшую насекомыми, так как начался сезон дождей. Горела слабая свеча, и маленький священник бодрствовал вместе с Пиа, качая головой, когда она предлагала ему поспать. Дождь лил как из ведра, так что до врача невозможно было добраться, да и дорога была перекрыта — ремонт. Через два дня благородное черное сердце Трэш остановилось, когда она

спала; крест упал на циновку — так они узнали, что она умерла. Ее тело похоронили в сырой черной земле, чтобы оно растворилось в ней. Пиа, немного придя в себя, сообщила сначала обо всем брату, а после прислала мне полный отчет о происшедшем, который написан дрожавшей, но ничего не упустившей рукой. Она сделала это не для меня, не потому что ей хотелось причинить мне боль, о нет. Похоже, ей было необходимо осознать смерть Трэш, сжиться с нею и пробить свою немоту. Она написала, как маленькие часики Трэш тикали до утра, и тут уж, не выдержав, она сорвала их с ее руки. А потом Пиа босиком побежала в джунгли, смутно надеясь, что ее укусит ядовитая змея. Однако в непрекращающемся дожде были лишь белые пиявки с человеческий палец. Когда она приплелась обратно в миссию, то была вся облеплена ими. Ей не позволили их отодрать, чтобы не образовались ранки, в которые легко могла попасть инфекция, и вообще могло начаться заражение крови. Миссионеры принесли соль и стали сыпать ею на тошнотворных тварей. Результат превзошел все ожидания. Исторгая кровь, которую они успели высосать, пиявки отваливались, скукоживались, будто сдувшиеся шарики. Вскоре на Пиа не осталось ни

одной, но она была вся в крови — в своей крови.

— Я тогда выпила очень много виски, чтобы успокоить нервы.

Но это не помогло. Это никогда не помогает.

Я понял, пока читал письмо, что для меня краски не потускнели, и она жива в моей памяти. Говорят, если любишь, то никакая разлука ничего не меняет, пока не ломается главный механизм — Память. Ложь! Софистика! Жалкое изобретательство! Прочитав длинное письмо Пиа, кончавшееся словами «Больше писать не буду. Твоя Пиа,» я почувствовал себя старым слепым псом, утратившим все ориентиры, кажется, Улисс часто такого вспоминал.

Сначала я в ярости разорвал листки надвое, но потом вдруг осмыслил, что это последнее послание Пиа, и начал их склеивать, чтобы затем положить к остальным, которые хранил в ее кожаном несессере. Медленно перечитал письмо еще раз. Сколько же у нее моих привычек! Тоже здорово нервничает (как случалось мне, когда я корпел над очередной книжкой), словно погружается в море запретов и не может писать слитно — вместо скорописи сплошные печатные буквы. Меня охватила еще большая ярость, и я бросился с письмом в уборную, чтобы навсегда

избавиться от него, утопить в унитазе, однако, повинуясь нелепому импульсу, разорвал его на мелкие кусочки и съел.

Ну вот, опять нагрянула ночь, и опять я в разрушающемся городе на берегу петляющей средневековой реки. Да, иногда я прогуливаюсь по берегу, изнемогая от скуки и брезгливости. Мужчина сидит возле открытой двери и играет на скрипке. Седые раскаявшиеся грешники омываются в вечной воде. Старик-могильщик копает землю, чтобы заглушить крики мертвых. И совсем древние старики, как на изящных гравюрах, в складчатых одеждах. Невольно начинаешь думать о прежних эпохах, когда с половой зрелостью обращались тактично, не принято было выставлять интимные переживания напоказ, раньше понимали, что это драгоценный дар природы. Я сидел на тенистой площади возле Памятника Погибшим, и с каждой рюмкой *pastis*[146] женщины становились все желанней и желанней. Пожалуй, пора стать педерастом и найти себе грациозного курчавенького негритенка из ласковых африканских джунглей.

Женщина — самое болезненное существо среди

---

[146] Примечания: 146
Анисовый ликер *(фр.)*.

позвоночных, но куда как выносливее мужчины; где-нибудь в королевстве ископаемых составят опись всего, отпечатанного в глине и отраженного в камне, чтобы медленно вгрызаться в это еще многие века. Большие несчастья ранят настолько глубоко, что на поверхности не видно ничего, кроме улыбки. Но, увы, лишь единожды в жизни происходит что-то по-настоящему большое!

Как ни старайся, второго раза не будет. Приходит долгая ночь, и становится темно, хоть глаз выколи. Ночь пьет, как тигры, украдкой.

Если доживу до завтра, напишу герцогине.

> Эта мысль не принесла мне утешения, однако я все равно записываю ее. Акт сексуального соединения как фактор развития духа и вынашивания идей есть источник всех наук, всех искусств, всех знаний, которые нужны духу как пища. Психическое развитие тоже подпитывается соитием. Половой акт очищает разум, оттачивает интуицию, определяет будущее. Но для этого он должен быть обоюдным, гармоничным актом. Эффективнее всего тот, в котором изображают зверя с двумя спинами. Я не шучу — по-

глядите на всю эту армию сексуальных извращенцев. Поглядите на Роба. Мы, импотенты, являемся великими собирателями *objets de vertu*,[147] табакерок, музыкальных шкатулок, безделушек. «Вот в чем загвоздка!» — восклицает Гамлет.

А потом появляется дядюшка Радостный и сообщает о великом отделении от материнской груди, отзывающемся долгим эхом, словно рыданием в темной комнате. Бедняжка Роб стал чемпионом по ожиданию на запасных путях, в пустых вокзалах, на автобусных остановках, в безлюдных кафе, в полночных аэропортах… Ожидание в затянувшемся приступе апатии и раздумий о Трэш: с ее тощими ногами она разгуливала как высший микроб.

Искусством прозы правит синкопированное размышление, ибо мысли свертываются в сердце, если их вовремя не высказать. Мысль похожа на редкую птицу, которая не показывается на глаза.

---

[147] Примечания: 147
Предметы добродетели *(фр.)*.

Успеваешь заметить лишь трепещущую ветку, когда птичка уже упорхнула.

Говорят, если беды начинают докучать слишком сильно, то человек смеется. Комедианты ближе всех к самоубийству.

Беда одета в дни, часы,
В места и вещи, и дела,
Беду кидают с поезда,
Выбрасывают в мусоре
С судов и лодок в море -
От глаз, от уст, от рук
Скользит как уголь в печь,
Беда, ненужная нам всем,
Чтобы вернуться вновь
И с мусором воспоминаний,
И с горечью разлук,
С тленом последнего желанья
Под сводом вечного молчанья.

На черном озере луна освещает лодку, груженную тенями — сверкающими курганами винограда. Откуда-то с гор, белых от весеннего снега — звуки охотничьего рога. Я вспомнил о мистере Вальдегуре, учителе музыки Пиа, неудачливом рус-

ском князе, который постоянно играл с ней в четыре руки. В общем-то, он музицировал, чтобы заглушить тревожные подозрения. Позднее говорил, будто это было как погружение в податливую толщу звуков, все равно как в снег, в воду, в облака. Рак простаты и так далее… А если и правда он, супостат, супротив *суппозиториев*, а, доктор?

— Жизнь, — сказал маленький нудный священник, — всегда укажет верное направление; она — всегда на стороне благодати, главное — знать, как ее достичь.

Может быть. Может быть. Но чтобы вкусить благодати, прежде надо научиться жертвовать и отдавать, а этому научиться сложно.

Ах, эта специфическая доброта натуживших христианских фарисеев, *les pincefesses*,[148] из которых исторгается такой треск, будто скрипят колышки палаток.

---

[148] Примечания: 148
Жеманные задницы *(фр.)*.

Пиа, последнее Рождество, елка с потускневшим убранством. Трэш в меховой пелерине была похожа на стоящего на задних лапах медведя из бродячего цирка, а Пиа — на пришпоренную маленькую львицу. Та ночь — мертвенный спазм… а потом потрясающая депрессия из-за упреков, раскаянья, стыда. И все же, когда я заболел, она ухаживала за мной, как за своей инвестицией. Нежность охотничьей собаки.

Есть некая тайна в том, что долго повторяемая бессмыслица постепенно обрастает значением, как обрастает пылью иголка, бегущая по пластинке. И в конце концов становится *мантрой.*

Я всем говорю, что грыжу Блошфорда оперировал французский хирург, оставивший у него в животе пару садовых перчаток — по крайней мере, так он выглядит. Иногда, при определенном освещении, он похож на театрального полицейского, проглотившего горошину в свистке.

Долгий литературный процесс? Представьте, каково было Мелвиллу в годы полного молчания.

Блошфорд совершает почти невозможное — он упрощает реальность. У него нет потребности в однообразии, необходимой творческому человеку. Наверно, я очень ему завидую. Блошфорд! Гр… Гр… Гав! Гав!

В торговом флоте есть на редкость выразительное словосочетание, означающее «сойти с ума»: «Войти в штопор».

Высокая и гибкая, как лоза, она была из тех прелестных шведок с узеньким устьем, опроставшись в которое, надеешься, что наконец-то сможешь нормально уснуть. (Королева.)

Глядя на себя в зеркало: «Даже бог может стать жертвой бинокулярного зрения».

Ненавидящие плоть зилоты, вперед! Я за любые мягкие столкновения. Из меня сделали отвар. Мягкий, как боксерская

перчатка в лунном свете. Гурии! Слушайте мой призыв на молитву!

Рохейм[149] утверждает, что в Центральной Австралии мать съедает каждого второго из своих детей, подкармливая этим чадом чадо старшее. К этому он прибавляет, что «все они герои» и «счастливы, как волки», а потом объявляет причиной их идиллических нравов тот факт, что они не страдают из-за отлучения от материнской груди и подавленных желаний (латентный период). Связь с гностиками? Хм. «Мы все же прирожденные психопаты, — пишет доктор Эдер. — Придумали какую-то мораль и постепенно становимся глупыми и несчастными. С этим и умираем».

Нарочитая беспомощность святых и женщин вызывает симпатию и удивление.

Тоби в порыве откровенности заявил:

---

[149] Примечания: 149

Рохейм, Геза (1891–1953) — психоаналитик и этнограф, пропагандировал применение методов психоанализа в культурологии и этнографии.

«За всю свою жизнь я не произнес ни единого правдивого слова, и об одном и том же событии мог говорить прямо противоположные вещи — настолько я был уверен в том, что всякое знание относительно, что наше восприятие отнюдь не всегда объективно. Я ведь, так сказать, прирожденный историк».

* * *

Оказавшись где-то посередине между конфликтующими понятиями «покой» и «движение» (точно в ловушке), человек впадает в панику и сам себя доводит до могилы; покой никогда не приносит столь необходимого успокоения и уверенности, а движение суть бесплодные перемены и беспредельная печаль. О Время — великий Плакальщик!

Mille baisers, Трэш, *gélatineuses et patibulaires. Va caresser un chameau, garce.*[150] Я старый слон, и мои задние

[150] Примечания: 150

Шлю тебе, Трэш, тысячу студенистых разбойничьих поцелуев. Иди приласкай верблюда, потаскуха *(фр.)*.

ноги обросли грязью, надо бы почистить.

Их соединяло пустое пространство, тот зазор между чувствами, в котором, собственно, и возникает электрический импульс, называемый желанием.

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ПИА

О, нежные клапаны, задайте ритм дыханью,
Плавный, как эллипс, для сна моего мужа,
Это скучное *Quandl Quand?*[151] схожее с
«Динь-дон» часов во французском городке.

На незримых башнях — как печален
Завершающий удар. Кланг! Кто там за дверью?

Сегодня он пинтами пил знаменитое вино,
Истязал себя золотистым бесценным вином.
Можно ли представить, что смерть
Стареющего писателя где-то изменит
Реальность, уменьшив пространство
На размеры его персоны?

Человек видит себя не таким,

---

[151] Примечания: 151
Когда *(фр.)*.

Каков он есть. Вот в чем весь ужас.
До смерти тяжко смотреть
На самодовольную обезьянку.

А мы, твердящие «люблю»…
Хуже нам или тем, кто владеет нами? Загадка.
Дождинки на пальцах, дым Итаки,
Старый слепой пес ждет у садовой калитки.

Прошлой ночью ему снилась негритянка,
Другая Трэш, он привел её
В шелестящую чащу, с улыбкой, пахнущей
Разрытой землей, разверзшейся могилой.

Пиа пишет: «У старого азиатского врача плоское гладкое лицо, как у задумчивой кобры, зато ум весь в зазубринах, как плита древнего колодца, на которой веревки протерли множество желобков. Колодец знаний глубок, а человеческая жажда неутолима. Однако известно, что колодцы имеют обыкновение высыхать, и уровень воды в них понижается».

«Зеркала изобрели для того, чтобы наблюдать за полетом ласточек». (Сильвия. Наверняка где-то это вычитала).

Торо[152] сказал примерно так: «Жизнь большинства жен состоит из молчаливого неодобрения». Роскошный интеллект в убогой оболочке. (Тоби.)

Ветер свистит в вороньем гнезде моего скелета,
В боевой рубке черепа,
В снайперском убежище глазного яблока,
Что смерть? Перемена кода, зоны пребывания.
Печаль провидца, шаркая, бредет чтобы… etc., etc.

Ребенком я упал в молоко. Потом женился и был *coq en pute*.[153] Писатель, брюхатый книгой, я бросился к Орте,[154] словно боялся за приплод. Вывести общие закономерности из вороха взаимоисключающих фактов и примет под силу и науке, и поэзии.

---

[152] Примечания: 152
Торо, Генри Дейвид (1817–1862) — американский писатель и философ.

[153] Примечания: 153
Букв.: петух на шлюхе *(фр.)*. Здесь обыгрывается французская поговорка coq en pate — как сыр в масле.

[154] Примечания: 154
Орта — озеро неподалеку от итальянского города Стрезы.

Тоби пресытился кембриджскими корибантовыми[155] колбасами. Сумчатые преподаватели надуты, как паруса. Галеоны подбитых мехом мантий.

Les grands sensuels agréés comme moi, Robin
Les sensuelles us Amour comme elle
Dans des jar dins d'agrément jouant
Comme des poules dans les basses cours
Sont plutqbt agronomiquement acariatres
Selon les pédérastes, les putains et les pâtres.

Mais ce soir si ce joli temps permet
Si I'equinoxe persiste
Nous allons entendre chanter tous les deux
La petite doxologie des toiles d'arraignes.
Éplucher le gros oignon de I'univers
Nous deux cachés par l'éventasil de la nuit.
Écoute, c 'est le temps qui coule

[155] Примечания: 155
Корибанты — в греческой мифологии божества малоазийского происхождения, служители Кибелы, их культ отличался оргаистическими танцами и экстатической музыкой.

C'est la nuit qui fuit. A moi Bouboul![156]

Полжизни воевал я с этой ношей,
Но сдвинул ее лишь на волосок, полжизни
Надсаживал я легкие, рвал жилы.
Вы спросите: всего на волосок?
Хоть тяжелее разве что воздуха она,
Хоть медленнее Мамонтова зуба
Росла и мамонтовой ненависти?
Ногти продолжают расти и после смерти;
Вот и я тащил свой груз куда-то,
Когда уж не было дыханья.
Нес его вкупе с бременем моей загробной жизни

---

[156] Примечания: 156

Великие чувственники, получившие всеобщее признание, как я, Робин,
Удостоенные научных степеней в области чувственной любви, как она,
Играющие в садах развлечений
Как куры на птичьем дворе,
Они скорее несносны с агрономической точки зрения,
По мнению педерастов, шлюх и пастухов.

Но сегодня вечером, если погода позволит,
Если еще будет равноденствие, Мы вдвоем будем слушать,
Как на паутинках исполняется небольшое славословие.
Мы будем очищать шелуху с луковицы Вселенной,
Укрытые оба веером ночи.

Послушай, это течет время,
Это проносится ночь. Ко мне, Бубуль! *(фр.)*.

И с неодолимым грузом твоей кончины.

Что-то зреет вокруг этого долгого молчания, Пиа, как жемчужина безмолвия вокруг песчинки; золотой эмбрион глубинного смысла, обещанного гностикам. Говорят, кроме любви, только печаль, сладостная печаль, может развивать душу. Ах! *Ce beau temps ou j'étais malheureuse*,[157] позиция мадам де Сталь.

Чего бы мы не отдали за безжалостное очарование Байрона?

Спокойствие и бесстрашие, даруемые при рождении, должны были бы стать естественными качествами человека, но, подсоединившись к коробке скоростей процесса, он преображается: из него выжимают истинность. Лишают индивидуальных черт, некой естественной кривизны…

Деревянная нога, ямочка с гноем, бородавка с глазком.

Ах! Молочные волынки скрытого желания! Сегодня вечером Сильвия терзает рояль Шопеном, а я читаю книжку об Индии — дымящийся навоз торговой предприимчивости.

---

[157] Примечания: 157
Ах! Это прекрасное время, когда я была несчастной *(фр.)*.

Проза должна сверкать, как слюда. Вспышка нервного прозрения. Лунной ночью мертвецы висели в траншеях на колючей проволоке, как сперма на завитках девичьего межножья.

Сегодня я работал, качаясь под тяжестью ожерелья из суппозиториев. Я пришел к некоторым заключениям, например, секс это не физический акт, а мыслительный: Мысль на кончиках пальцев. (Тоби в апогее подавленной искренности.)

Брюс говорил мне, что Сильвия не видела сиделку, когда та шла справа. Черепная гемиплегия? Скорее всего, нет.

Пиа сказала: «Когда Трэш уходит, у меня поднимается температура». А я? А я?

Я постоянно мысленно сочиняю ей письмо, которое, наверняка, закончит свой путь в отделе невостребованных писем, попадет *au rebut, en souffrance,*[158] вот почему я страдаю от ужасного недостатка кальция. Учусь видеть сны как

[158] Примечания: 158
Недоставленное письмо, невостребованное письмо *(фр.).*

нечто искупительное, освобождающее меня от антиобщественных желаний, которые должны стать безвредными — и это не из-за пробудившегося гражданского чувства, а из страха перед наказанием.

Позднее начинается эмбриология скуки, и мы неизбежно впадаем в инертность. Вялый плод не желает покидать уютное чрево. Итак, развитие замедляется из-за нашей трусости, а потом и вовсе останавливается. Начинается гангрена. Люди рождаются с замороженными чувствами и бродят по земле как мертвецы. Хладнокровные. Безликие человечки, которые причиняют нам множество бед, давая волю тому, что мы героически подавляем.

Например, поэт Тобор. Его юная жена упала в жерло вулкана. Во второй раз он не женился, и чем больше проходило времени, тем дороже и дороже она ему становилась. Свою боль он изливал в стихах, тяжелых, как свинец. И уже завоевав всемирную славу, он понял однажды, что всем обязан смерти жены. Если бы она

жила, то не значила бы так много для его творчества. Именно ее смерть придала энергии его поэзии. Ему стало так стыдно, что он навсегда прекратил писать.

Тело Трэш было живым барельефом, которое могло ввести в штопор мужчину на пляже. Ее красный рот походил на рану от сабельного удара смеха, на шрам, оставшийся после дуэли. Обсуждая меня с Пиа, она сказала: «Этот парень всегда пытается из говна сделает конфетку».

Если я когда-нибудь говорил, будто секс забавная штука, то лишь затем, чтобы подчеркнуть его необыкновенную хрупкость. Классическая похоть, оставь нас хоть на день.

У меня нет права подавать голос? Почему? Ведь и женолюбивый Рафаэль очень любил этот акт, вовсе не считал его одиночным — купаясь в сладкой шелковистости женских тел. В наши дни, чтобы люди чувствовали себя нормально, нужна свинцовая сперма шизофренического вырожденца.

Обвиненный Тоби в политическом ци-

низме, я спросил: «А от Робинзона Крузо ты тоже ждал бы гражданского чувства и политической грамотности?» Он не ответил. Сидел, ковыряя пальцем в ухе и крутя ногой в ботинке, как сексуально озабоченный кот крутит хвостом. А потом рассказал мне о своем приятеле, который все бросил и уехал в Пекин, где взял в любовницы женщину по прозвищу Прочная Москитная Сетка. И бил ее, пока она не начинала петь, как жаворонок.

Последнее слово Будды — «усердие». Уфф, тошно.

Кинематографическая компания требовала от меня идей, и я придумал великолепный сюжет: фильм о том, как снимается фильм о Распятии. Сам процесс пригвождения к кресту происходит в глубине, как на картине итальянского мастера. Три знаменитых актрисы, исполняющие главные женские роли, сидят под оливой за шатающимся зеленым столом и играют в покер. Сцена, скажем так, перенесена из *maison close*[159] на Масличную гору. Из-за пыли женщины спрятали под разноцветными косынками неухоженные волосы

[159] Примечания: 159
Здесь: дом терпимости *(фр.)*.

цвета гнилой соломы. У них морщинистая, как у старых слоних, кожа — от многолетнего употребления грима и виски — вся в пятнах, и похожа на оштукатуренную стену в летнюю пору. Они ждут сигнала и играют, не прерываясь. Всеобщие подружки — ибо это суперкино. Они смеются, показывая желтые зубы, имплантированные в отторгающие их десны; чем мягче десны, тем тверже улыбки (каламбур). Напоминая неисправимых шлюх, так сказать, новозаветных шлюх, они играют, скучая, в ожидании клиента. Вот так. А в глубине разыгрывается жалкое Представление. Занудливый еврейский агитатор расплачивается за свою самонадеянность. Иуда сидит под деревом и жует яблоко. Ему приделали огромные клыки и когти, словно он Фу Манху. Продюсер — калека, поэтому разъезжает в кресле. К тому же, он эпилептик, и у него во время съемок частые приступы. Субтитры я обещал придумать позднее.

Женщины, которые, как Пиа, любят меха, склонны к воровству. Тайную влюбленность в отца выдает страсть к тигриным шкурам. О прическе. Если волосы падают на глаза, и приходится постоянно

встряхивать головой, чтобы убрать их, значит, женщина отождествляет себя с пони — и будет везти на себе своего мужчину. Пиа красила ногти лаком цвета свернувшейся крови, Трэш — белым.

Сомнительное удовольствие от любовной связи, имитация поцелуя, кто-то умирает от послеоперационного шока. Любовь, проверенное средство для оживления трупа… Мысли накрепко сцеплены, как кольца в кольчуге, и их не разорвать никакими доводами.

Когда-то его весьма занимали теории, построенные на идее существования «двойника». Однажды он даже получил им подтверждение, когда она вошла в комнату, где он отлеживался, и сказала: «Вчера, когда я заходила, температуры не было — а сегодня у тебя горячий лоб». Но вчера он был совсем в другом городе. И в это время кто-то влез в его шкуру. Кто?

Если бы у человека не было его болезней, то ему нечем было бы защититься от реальности — кто бы такое вынес?

Обед с Банко в жалком печальном шато

в горах. По-видимому, свое свободное время хозяин проводит тут в одиночестве, если не считать слуги-негра. Должна была приехать Сабина, но она глаз не кажет, обижает старика.

— Чем она становится старше и серьезней, тем с ней скучнее. И рассчитывать на нее уже нельзя.

Он с тоской вспоминает ее глупые выходки сразу после окончания университета. Явилась однажды в «Максим» с львенком на поводке. Или еще: в театральном костюме собаки уселась рядом с шофером премьер-министра. Их роман привел к международному скандалу. Наверное, то время многое определило в ее жизни. «Чуть-чуть известности, и человека нет, есть только роль».

Он сказал, что дядя Пьера унаследовал ключ от огромных богатств тамплиеров, однако Пьеру его не дает, который якобы не сумеет ими распорядиться. Потом вздохнул и заговорил о доброте и красоте Сильвии:

— У нее налицо все признаки безумия, но, если подумать, ее нельзя назвать су-

масшедшей, не перевернув вверх ногами всю онтологию.

Горел камин, и на храбром улыбающемся лице Банко, которое было как будто выковано успехом, я приметил печать разочарованности, неизбежного спутника денег и власти. Изнывая от скуки, старик изображал любезность и мужественно развлекал гостя своей дочери, довольный, что прочитал хотя бы одну из моих книг. Предложил лошадь для верховых прогулок. Передо мной был настоящий англичанин, настоящий лондонец. Я подумал о старых прокопченных отелях, где он жил, когда без пенни в кармане приехал из Манчестера — сегодня они выстроились вдоль Кромвель-роад. Всю ночь там горит свет. По пыльным коридорам ходят те же ночные портье, безразлично помахивая клизмами. Даже спустя много лет, когда он засыпает, усмешка кривит его губы.

— Приезжайте, — пригласил он меня. — Я почти все время один и всегда рад гостям.

Я обещал. И собирался выполнить

обещание, но лето миновало, светляки погасли, потом началась страда, и зарядили дожди. К этому времени у меня остались два желания:

вновь раствориться в безликой глине,
прошу не скорбеть о внезапной кончине…
или смотреть, как румяные трупы
на экранах кривляются пошло и тупо.

Глава пятая
Обед в ресторане «Квартала»

Писатель Блэнфорд, вздыхая, отделил первый машинописный экземпляр от второго и третьего и, взяв чистый лист бумаги, торопливо написал на нем варианты заголовков для своего нового и довольно неожиданного сочинения, но все не годились и, решив, так сказать, отдать дьяволу дьволово, остановился на *«Monsieur»*. Незаметно зашло солнце, и ночь заявила о себе великолепным звездным сиянием над изгибами Большого Канала. Смутная досада не покидала Блэнфорда с того самого мгновения, как он надумал, наконец, проститься со своими персонажами; за эти два года он к ним привык, разумеется, их полюбил и теперь не желал с ними расставаться. Да и разве он все рассказал о них? Многие закоулки остались непроиденными и многие запасные ходы неразвитыми только оттого, что он твердо постановил не писать «обыкновенный роман».

Проклятый Сатклифф — в конце концов, он привязался к нему, и ему даже нравилось, когда тот выставлял его на посмешище под отврати-

тельной фамилией «Блошфорд». Неужели он дал ему повод для такого прозвища?

Сегодня вечером он получит первый отзыв — от старой герцогини, которой он послал черновой экземпляр рукописи и множество набросков из записных книжек, не нашедших себе места в окончательной редакции. Никогда еще он не чувствовал такую неуверенность в своем сочинении и никогда не ждал советов и поправок с таким нетерпением. И все же, он молил ее ничего пока не говорить, — он пошлет ей телеграмму с приглашением пообедать в обитом шелком подвальчике «Кварталы», вот там он почтительнейше ее выслушает и постарается разобраться, что же у него все-таки получилось. А пока он сидел на своем высоком балконе над каналом, листал записные книжки, и неиспользованные варианты начал и концовок, как москиты, жужжали у него над ухом. Самоубийство — нужно ли оно? А в финале стоило бы дать дневниковую запись Брюса: «Год близится к концу, уже наступил ноябрь. Несколько недель я ничего не записывал. Осталось всего несколько чистых страничек, как раз, чтобы коротко изложить историю последних дней Верфеля и его владельцев. Пора покончить с дневником, умолкнуть; слишком много

за это долгое время накопилось разных бумаг. «Желание все запротоколировать возникает от самонадеянности, — заметил где-то Сатклифф. — В любом случае, когда твое имя появляется на карте смерти, словно в титрах низкопробного фильма, что-то менять уже поздно». Это о карте Пьера; на ней смерть приняла облик повисшего в небе созвездия — великого змея Офиса, которого мы видели однажды в древнем Макабру. Каким далеким это кажется теперь, когда смотришь на дождь, льющийся на серебряные оливы».

Сидя в инвалидном кресле высоко над лагунами, Блэнфорд перечитал последние строчки и почувствовал недомогание, словно у него начиналась ангина. С грустью обвел взглядом прелестные контуры умирающей Венеции — орхестру из священных зданий, омываемую влажным опаловым сумраком. Скоро он расстанется с книгой, расстанется с масками, под которыми на редкость удачно спрятал собственные слабости, разочарования и несчастья. Кот спал, положив лапу на белый пинг-понговый шарик, изящный и хитрый, как сам дьявол. Для эпиграфа подошла известная цитата из Шэгбэга: «Князь тьмы — джентльмен». Блэнфорду нездоровилось, однако он ощущал душевный подъем в

предвкушении нежеланного расставания. Дневник Брюса следовало продолжить так:

«Последние несколько недель в шато показались нам бесконечно тягостными в преддверии неизбежного отъезда, однако мы трудились не покладая рук, и даже пели, обихаживая наши оливы, но это была просто уловка: чтобы не выдать, как тяжело у каждого из нас на сердце. Погода стояла холодная, несколько дней нас приветствовали тяжелые тучи, и колкие молодые снежинки падали с небес на землю, чтобы тут же растаять, едва соприкоснувшись с травой. Кусты кое-где покрылись инеем. Скоро декабрь, снежные завалы погонят голодных кабанов с высокогорных *garrigues*[160] в низины, и там их настигнут охотники. Первые же заморозки принесут великую жажду, и пернатую дичь будет легко приманивать в поле на блестящий, как лужица, осколок зеркала. Близорукий вальдшнеп прилетит, чтобы посмотреть, что это такое, и тотчас попадет под прицел охотничьего ружья. Зайцы покинут уютные «норы» в замерзшей траве. Ах, Верфель! Трудно было представить жизнь в ином месте, до того насыщенно мы тут жили,

---

[160] Примечания: 160
Пустоши *(фр.)*.

среди зеленых холмов и долин с речушками, пробившими себе путь в мягком известняке. Нам неизвестно, кто унаследует Верфель, однако мы знаем, что давно ожидаемые финансовые беды обрушились на него сразу после смерти Пьера, и в какой-то мере сама эта смерть все усугубила. Поместье могли бы спасти только бешеные деньги. Закладные сделали свое черное дело, и теперь настало время платить по счетам. Наверняка к Рождеству здесь все будет заколочено и отдано в распоряжение полевых мышей. Жизнь замрет. Разъедутся кто куда даже те из нас, кто остался здесь. Тоби, например, решил везти свой завершенный и снабженный указателем шедевр в Оксфорд, чтобы ознакомить с ним представителей прессы и организовать публикацию. Ему удалось отыскать в Верфеле уникальные документы, их он положил в основу книги, в которой разделался с общепринятой трактовкой греховности тамплиеров. Оказывается, первый де Ногаре все-таки стал тамплиером, чтобы проникнуть в орден и разрушить его изнутри. Ему как нельзя лучше подошла роль Иуды, мало того: подобно Иуде, он сошел с ума и в конце концов повесился. Все эти новые данные об ордене уже вызвали шум в кругу ученых, ибо Тоби, чтобы по-

мучить Бэбкока, предоставил некоторые из своих находок научным журналам. Пора было добивать замшелых доктринеров. И он решил уехать.

В последний день его пребывания в Верфеле мы отправились к Пон-дю-Гар. Под ледяным ветром сидели какое-то время на камне цвета меда, уверенные, что никогда больше его не увидим, настолько очевидным нам казался близкий конец Верфеля. А потом едва ли не с облегчением прекратили довольно неуклюжие пылкие сетования и отправились на продуваемую ветром платформу Авиньонского вокзала — дожидаться поезда. Естественно, мы выпили на прощание — в кафе возле страшноватого и забавного. Памятника Погибшим, к дешевым оловянным львам которого успели всем сердцем привязаться. Зима подпорола все швы на одежке платанов, и с них дождем хлынула на землю листва, с шумом разбиваясь о наши лодыжки и обвиваясь вокруг них. Однако погода стояла не по сезону теплая — осень не желала сдаваться. Чтобы скрыть свои чувства, Тоби стал громко сморкаться, но нас как будто прорвало, и с жаром, вполне искренним, мы твердили, что непременно скоро увидимся — однако как тяжко было у нас на душе! Потом, извиваясь, медленно растянулся во тьме длинный поезд, и с

неожиданным уколом зависти я вспомнил о Париже, о роскошной обезличенной суете большого города. А маленький Авиньон покидает пределы реальности; его жители с наступлением холодов живут летними воспоминаниями, прислушиваясь к железному мистралю, который карабкается вверх по зубчатым стенам, походя расшатывая ставни.

Что касается вашего покорного слуги, Брюса, то он знал, что пока не готов покинуть Авиньон — если вообще готов. Снял две комнаты в «Принц-отеле» как раз над теми, в которых Пьер… Они дешевые. Пожалуй, эту зиму я еще тут «побарахтаюсь» — так выражался Роб Сатклифф, когда был недоволен.

Поезд увез Тоби, и мной завладела непонятная растерянность. В отель я, сам не понимаю зачем, отправился пешком и всю дорогу с большим вниманием прислушивался к собственным шагам. Потом в типичной меблирашке с отвратительными бумажными обоями я внимал тишине, потягивая виски из кружки, предназначенной для зубной щетки. Все вокруг замерло, словно разбитое параличом, и я ощутил себя мухой в куске янтаря. Чтобы стряхнуть с себя это дурацкое оцепенение, я стал раскладывать вещи и бумаги,

потом принялся описывать последние события.

На них особо много времени не потребуется. До того как шато заперли и забили досками, я забрал все документы из архива, сложил, сделал опись и отдал в местный музей — включая тяжелые папки и пухлые записные книжки Сатклиффа. Среди них есть несколько неопубликованных романов, и еще рассказы, эссе и письма Пиа. Когда-нибудь, наверно, их вытащат на свет и будут изучать. А пока издатели Сатклиффа заказали его биографию Обри Блэнфорду, которого он явно недолюбливал, но тем не менее этот удачливый писака после Нового года прикатит в Авиньон изучать «архивные материалы». Конечно, Роб Сатклифф был бы в ужасе — но не представляю, как я мог бы этому помешать. Я же толком ничего не знаю. Издателям, им виднее. А мне не стоит в это вмешиваться. Роб и сам понимал, что когда-нибудь за него возьмутся дельцы от литературы. Как бы то ни было, абсолютной истины вообще не существует, и любой беллетрист дополнит его портрет собственными выдумками. Так что лучше нас его все равно никто не узнает. Никто.

Предполагалось, что покойники останутся под сводами усыпальницы Ногаре, однако вокруг нее непременно воздвигнут кирпичную стену,

прежде чем в шато обоснуются новые владельцы — неважно какие.

А теперь о Сильвии. Она одна связывает меня теперь с этим древним городом, да и с самой жизнью, точнее, с той малостью, которую я еще могу с ней разделить. Много лет мне посчастливилось заботиться о ее красоте, так о чем жалеть? Не представляю, как можно было бы жить иначе или разумнее. Мы прошли полный круг — она и я».

Стоит мне закрыть глаза, и я вижу темноволосую Сильвию, которую Брюс будет навещать каждый день, пока смерть не разделается с нами, пока… ну и так далее. Сильвия сидит за зеленым карточным столиком в темных очках — чтобы скрыть черные круги под глазами. Женщина, даже если ей суждено стать безумной, все равно будет заботиться о своей внешности, хоть как-то. Она раскладывает карту за картой в пасьянсе, лоб у нее гладкий, без единой морщинки. Почти все время Сильвия что-то шепчет и улыбается. Ей известно, что он рядом, но довольно часто она не узнает его — и называет Пьером.

«Однако мое молчаливое присутствие действует на нее вроде бы успокаивающе, и, бывает, она отодвигает колоду и, взяв меня за руку, сидит так час, а то и больше, безмятежно-счастливая, как

цветок. После визита к ней я по пути в гостиницу захожу на вокзал и жду, когда придет последний поезд из Парижа. Из него не выходит ни единого знакомого мне человека, да и откуда он там возьмется? Часто поезд прибывает совсем пустым. И уже ночью в каком-то напряженном оцепенении я шагаю по городским улочкам, то и дело озираясь по сторонам, словно боюсь не заметить друга».

Повинуясь неожиданному порыву, Блэнфорд отправился в ванную и, сняв очки, принялся изучать в зеркале свое лицо. С некоторой иронией — впрочем, это впечатление возникало, возможно, из-за легкого косоглазия, почти незаметного, тем не менее, оно вынуждает становиться вечно подтрунивающим над собой шутником. Он долго себя рассматривал, после чего печально подмигнул своему отражению.

— Напряженное оцепенение, — вслух произнес Блэнфорд, находя это сочетание немного манерным.

Он возвратился на балкон, шагая с трудом и чуть заваливаясь назад из-за ощущения одеревенелости, неизбежного после целого дня писания на коленях — на подложенной легкой доске. Скоро придет Кейд, разотрет ему поясницу, а потом он с двумя носильщиками отправится в погре-

бок, где его ждет или будет ждать герцогиня. Она прислала телеграмму с подписью Сатклиффа; стало быть, дочитала рукопись до конца, иначе не написала бы вот это: «Отказываюсь покидать эту планету таким неудобным и постыдным способом. Будьте добры организовать мою смерть без театральных эффектов. Роб». Неужели герцогиня не уследила за всеми поворотами в *saut mystique!*[161] Скоро он это выяснит.

Никем не доказано, что Сократ существовал на самом деле, а не только как персонаж Платона. «А я?» — подумал он. Почему бы и мне не быть сотворенным кем-нибудь, например, стариком Д. — всевластным дьяволом? Блэнфорд принялся напевать песенку, которую сочинил для всадников, выезжающих из городских ворот в Александрии. В окончательном беловом варианте для нее не нашлось места. Немудреная доморощенная песенка, какие часто поют там у них, в пустыне.

Все вместе: Давным-давным-давно
В далеком далеке,
Где всяк был крепок и богат

---

[161] Примечания: 161
«Мистический прыжок», откровение *(фр.)*.

И красотке каждой рад,
Вот такие вот *données,*[162]
Пьер: Жил да был де Ногаре -
Тоби: Слишком отмытый,
Слишком сытый…
Пьер: Ну в общем, зря небо коптил.

Забавно было бы опубликовать слова и ноты. Надо подумать как. Рассеянно играя с котом по кличке Сатана, Блэнфорд ждал слугу и размышлял о себе: он всего лишь один из тщеславных писак, которым не хватает храбрости говорить о жизни правду. Такие не могут не золотить струны и не подслащивать пилюли. Но, если всерьез, то какая может быть правда, когда речь идет о его настырных ворчливых персонажах, которые так трудно рождались, чтобы наконец обрести зыбкий статус столь редкостного истинного произведения искусства? Ему припомнилась его черноволосая жена, и мысли о ней надолго опечалили его. У Ливии он позаимствовал кое-что и для Сабины (внешность и резкие манеры), и для Пиа, а стоило ему написать имя Сильвии, он тотчас, словно воочию, видел, как она морщила лоб (когда лгала).

---

[162] Примечания: 162
Данные, данная величина *(фр.)*.

— Реальна ли реальность? — спросил Блэнфорд у кота, который, не мигая, смотрел на него невидящим взглядом — совсем как Ливия, когда она говорила: «Глупенький, конечно же, я тебя люблю».

Удивительный парадокс (верно, свойственный любому литературному произведению?) состоит в том, что те куски, которые он считает слишком театральными или надуманными («в жизни никто так себя не ведет»), будут признаны достоверными, а те, в которых есть хоть какая-нибудь правда — чистейшим блефом. Неужели в следующей книге об этих людях ему опять не удастся расчистить все эти пласты наслоений? Обнажить невидимые зародыши, корневые сплетения, которые подсказали все остальное? Ведь он — археолог, который проходит один культурный слой за другим, пока не добирается до эпохи неолита, до эмбриональной фазы развития своих персонажей. Блэнфорд уже почти решил, что позволит Сатклиффу закончить и опубликовать «Tu Quoque», если отыщется рукопись.

— Бедняга Брюс, — громко произнес он, как бедный парень, который бродит под дождем по извилистым улочкам Авиньона в ожидании, когда ночной поезд привезет гостя, то есть его.

В одной из выдержек из неопубликованных записных книжек Сатклиффа он написал: «Почему Брюс, как-никак врач, не понимает, что это они с Пьером довели Сильвию до срыва, до безумия? Разделение объектов страсти для женщины невозможно, ибо угрожает ее хрупкому ощущению собственной индивидуальности, ее представлению о гармоническом единстве в ее мире, на который она смотрит через особую, уникальную призму — через призму любви. Но как только исключительность чувства поставлена под сомнение или отрицается, эго женщины не выдерживает (ведь эго само по себе — самая хрупкая из иллюзий), тогда все второстепенные и зародышевые эго — и демоны, и ангелы — выходят на поверхность, расщепляя и запутывая главное эго».

Стоило, наверное, это включить? Он ощущал себя таким близким этим людям, что никак не мог выкинуть их из головы; вот и вчера днем сидел в «Сарду» прямо за спиной Сатклиффа — по крайней мере, затылок был его. А когда он почти доел свой ланч, с ним вдруг заговорила горбунья, поразительно похожая на Сабину — если отвлечься от горба. *Этот* Сатклифф был в зеленом суконном фартуке с металлическими

пуговицами и ковырял в зубах роскошной серебряной зубочисткой — привратник из отеля «Мажестик»? А со спины вылитый *savant*.[163]

Где же Кейд? Уже вечерело, и по реке туда-сюда сновали унылые суденышки, рассекаемые всё новыми и новыми тенями. Настоящий Сатклифф, если уж на то пошло, тот, у которого позаимствована телесная оболочка, сдобренный несколькими легкими мазками для Сатклиффа книжного, в самом деле совершил самоубийство, но это было результатом непомерного нервного перенапряжения. Блэнфорду почему-то не хотелось лишать Роба разума — до того, как он отправил его в небытие, при жизни.

— Интересно, почему? — спросил он кота. — Наверно, чтобы не отбирать лавры у Сильвии?

Порывшись в своих блокнотах, он нашел описание сцены на Мосту Вздохов и нервного срыва, предшествовавшего финальной развязке — театрально-байронической: и все же именно так Сэм (прототип Сатклиффа) поступил в реальности — опять это слово… реальность.

«Его подхватило крылатое чувство свободы, и он ощутил восхитительное головокружение,

---

[163] Примечания: 163
Ученый *(фр.)*.

обычно предвещающее полный паралич — вот оно, освобождение, не обремененное сомнениями и виной. Поцелуй эйфории. Даже сама смерть больше не пугала. Он приблизился к ней, мог протянуть к ней руку и коснуться ее, такой она стала реальной. Ура. Услышал, как его мозг плавно повернулся, словно он включил зажигание. И мотор отлично завелся. Пожалуй, надо поехать на год в Индию. Выучить санскрит, выписать чек на миллион и попросить прощения у Бога. А здорово было, когда он вдруг громко и без всякой причины расхохотался в переполненном ресторане, а потом стал хулиганить — то ли со злостью глотать спички, то ли рвать бумажные салфетки; но вскоре его уговорили вести себя прилично. Если его ругали, он поднимался и чопорно протягивал руку. И, бывало, улыбался исподтишка. Зрачки у него как будто разных размеров. В кафе, потребовав газету, он вызвался почитать вслух, в ответ раздался лишь глухой ропот. Ропот так себе — принужденный говорок и смех. А по вечерам, когда он возвращался в свой убогий *пансион,* где всегда тихо и уныло, неизбежно наступало оцепенение. Кататония».

Бедняга Сэм, бедняга Сатклифф, какую же версию?… Все эти состояния взаимозаменяемы,

особенно если принимаешь наркотики. Порою из-за них ему казалось, что у минеральной воды странный вкус, словно он пьет теплую фланель. На другое утро, разумеется, горело во рту… Он был морфинист благородный, как Брут — благородный воин; в его спине полно шрапнели — из-за обыкновенного взрыва. Всю не смогли удалить, побоялись. Вот и получается, что у него железный позвоночник и вечная угроза рассеянного склероза, который сдерживают короткие пальцы Кейда.)

Дьявольщина. Куда подевался Кейд?

Блэнфорд выкатил кресло на балкон и, перегнувшись через перила, завопил что было мочи:

— Роб! Эй, Роб Сатклифф!

Несколько прохожих подняли смутно белевшие в сумерках удивленные лица, но их любопытство тут же улетучилось.

— Понятно? — спросил Блэнфорд кота. — Никакого Роба не существует.

Напасть на золотую жилу не так-то просто.

За стеной послышался скрежет лифта, ползущего на его этаж. Наверное, это Кейд, идет исполнить свой долг — чем не байроновский Флетчер? Дверь номера открыта, ее надо толкнуть. Во время войны Кейд был его денщиком,

да так при нем и остался — из-за полного отсутствия воображения. И тащит тяжелый крест, если принять во внимание его патологическую ненависть к иностранцам и их обычаям. Бледное умильное лицо, почти голый череп, но надо лбом — несколько прилизанных завитков. Ханжа, сноб, порицатель. Никаких любовниц, никаких баров и борделей, не пьет, не курит. И говорит он с такой натугой на своем завывающем кокни, словно от любого мыслительного усилия в голове его может что-то повредиться. Едва он оказывался за границей, среди «всяких чужаков», на физиономии его появлялось особое выражение — хитрого высокомерия; он даже дышал с опаской, чтобы не нанюхаться смрада падали. Блэнфорд и сам не понимал, зачем держит при себе неотесанного Кейда.

Слуга вошел в комнату и, не говоря ни слова, принялся методично наводить порядок. Застелил постель, убрал в ванной комнате, собрал записные книжки и аккуратно спрятал в шкафчик. Если бы Блэнфорд что-нибудь спросил, черта с два этот тип ответил бы, продолжал бы делать свое дело с таким видом, будто в этом и состоит его земное предназначение. Высоконравственное ничтожество. Последний трус на войне, в мирной

жизни он проявил себя не лучше. Однако из него получился хороший массажист, и все, что требовалось в повседневном быту, он тоже худо-бедно, но делал. Тем не менее…

— Кейд, сегодня я обедаю с герцогиней Ту, — сказал Блэнфорд, роняя на пол вёрткий пинг-понговый шарик.

Не говоря ни слова, Кейд достал отутюженный смокинг и продолжил свои таинственные манипуляции в квартире. Цветы засохли, их пришлось заменить. В опустевший графин снова налить виски. Завершив свои труды, Кейд бочком вышел на балкон — на хитрой физиономии заискивающая ухмылка. Ногти его были обкусаны до мяса. Положив ладонь Блэнфорду на лоб, он принял серьезный вид. Молча.

Оба дышали ровно и спокойно — Кейд подсапывал, словно огромный мастиф.

— Температуры нет, — проговорил он наконец.

Блэнфорд добавил:

— Слава Богу, судорог ночью не было.

Они еще долго не шевелились — хозяин и раб — и не разговаривали. Молчание прервал Кейд, почти приказав:

— Поковыляли.

Блэнфорд почти нарочно плюхнулся на пол.

Кейд подхватил его под мышки и, двигаясь на удивление проворно, как ящерица, отнес в спальню. Пора было делать массаж, принимать ванну и одеваться — Блэнфорд частенько думал: «Кукла. Большая красивая кукла с орденом «За безупречную службу», нашпигованным шрапнелью позвоночником и мужиком-нянькой вместо мамочки».

Пока Кейд старательно одевал его, вертел то так, то эдак, будто какой-то обрубок, Блэнфорд, не открывавший глаз, остро чувствовал запах табака и крема для ботинок, которые денщик снимал во время работы, гнусные ароматы… Он жевал табак, этот несносный тип, и слюна у него была черной и вязкой.

— Костыли вернули, — сказал Кейд, — с новыми резинками.

И Блэнфорд ответил:

— Сегодня они мне не нужны. Доберусь в портшезе.

— Очень хорошо, сэр, — откликнулся Кейд.

Через час Блэнфорд был вымыт и одет для предстоящего свидания. Кейд помог ему сесть в легкое кресло и проводил до лифта, в котором надо было спуститься на два этажа, чтобы попасть прямо в руки Гвидо и Франзо. Путешествие на плечах

двух юношей в старинном портшезе с медными сверкающими лампами доставляло Блэнфорду неизъяснимое наслаждение. Расстояния тут были небольшие, что позволяло сберечь силы для других, более интересных занятий. Встав с кресла, Блэнфорд, хромая, прошел несколько ярдов до портшеза, приветствуя своих молодых помощников. Подвал с рестораном «Квартала» располагался неподалеку, однако сегодня Блэнфорд направил носильщиков немного в обход, захотелось насладиться суматошной ночной жизнью каналов.

Старая герцогиня Ту сидела в когда-то модной зале, где стены были обиты опаловым атласом, а овальные зеркала приглушали свет ламп, милостивый к морщинам на ее лице и к великолепным седым волосам. В свое время герцогиня слыла изумительной красавицей, и ей все еще удавалось сохранять молодыми свои руки, прославленную лебединую шею и сапфировые глаза, которые трезво, насмешливо, без всякого тщеславия взирали на утомленный стареющий мир. Когда-то они были знамениты, ее великолепно изогнутые брови и глаза, благочестивые и озорные, преданные и дерзкие. Она ждала Блэнфорда и курила тонкие сигареты с золотым ободком,

которые доставала из жадеитового портсигара, то и дело поглядывая на лежавшие перед ней машинописные страницы. Ловя себя на этом, она улыбалась — немного печально. Их с Блэнфордом связывала давняя дружба, читая его рукописи, герцогиня искренне радовалась его успехам и огорчалась из-за неудач.

— Я дочитала утром, Обри, — сказала она, едва он, прихрамывая, вошел в залу и направился к ней. Когда он, поцеловав ей руку, уселся в кресло, она продолжила: — И уже заказала шампанское. Вы его заслужили.

Поблагодарив, Блэнфорд замолчал, продолжая держать ее руку в своей. Ему не хотелось первым начинать разговор о рукописи. Не для того же он явился на обед со старой приятельницей, чтобы учинять ей допрос. Но она сама спросила:

— Вы получили мою телеграмму насчет Роба? Он до того похож на Сэма, что я все время смеялась. Так приблизиться к правде…

Писатель с облегчением сказал:

— Что касается Роба, то вы правы лишь отчасти. Не могли же мы оба совершить самоубийство. Он неоднозначен, это так, но в нем больше от меня, чем от Сэма.

Герцогиня прищурилась и надолго задумалась,

вспомнив своего мужа. Потом процитировала:

Грудой в грязи машина-мыслитель лежит,
И вместо отцовских глаз пара росинок блестит.

Не давая ему времени перебить ее, она продолжала:

— Хохот, верно, долетел до небес, когда Сатклифф отправился к алтарю. Я до сих пор его слышу.

— И он слышал, и я слышу. В «Tu Quoque» он примеряет на себя все великие роли в истории человечества, начиная с Иисуса — тогда нашумел его сценарий, после которого началась волна самоубийств, и фильм пришлось прикрыть. Помните? Ах да… Об этом я еще не писал. Когда дверь гробницы открыли, оказалось, что трупа нет, а на каменном полу валяются окровавленные волосы и обглоданные кости, как будто ночью там трапезничали ученики. Или собаки?

Люди или псы,
Боги или люди,
Делайте выбор.

Девушка идет по лесу и поет:

— Какое дерево ему на крест пошло?
Ответь мне, девица, велико или мало?
— Иду корову я доить, мой господин,
Хоть он живой, хоть мертвый, этот божий сын,
Его смелю я косточки, пышнее будет блин.

Отпивая понемногу шампанское, они смотрели на входящих и выходящих посетителей. В зале было тихо, пристойно; с невидимых каналов доносился легкий плеск воды, с городского рынка — гул голосов.

— Странно, — произнес он, думая о ее муже и своем друге Сэме, — мы ведь мало говорили о нем до того, как я сказал вам, что собираюсь писать книгу.

Как всегда при упоминании Сэма на лице герцогини промелькнуло страдальческое выражение.

— Вы хотели попытаться вернуть его из небытия — в этом все дело. — С заметным усилием она вернула себе безмятежный вид. — Так сказать, поцелуй жизни.

Блэнфорд мгновенно догадался, что разочаровал ее. Его Роб Сатклифф, в сущности, не был Сэмом.

— Мой писатель живет в другом, робком мире.

Ему и в голову не пришло бы выкинуть хотя бы одну из тех штучек, которыми прославился Сэм. Помните, как он напялил на себя галстук и котелок начальника стражи, чтобы часовые возле Букингемского дворца взяли на караул? Роб до такого сроду бы не додумался.

— Не додумался бы. И об Иисусе Сэм сроду не думал.

— Роб писатель, и ему важно определить свою значимость, или отсутствие таковой в сравнении с великими.

— Но Иисус, — протянула она, улыбаясь.

— Первый вариант Гамлета, — не без резкости отозвался Блэнфорд. — Пригвожденный к материнскому кресту, он был хорошим символом извращения, погубившего и его, и Пиа, так же, как Ливию и меня самого. О, не расстраивайтесь.

— Ливия — моя сестра, — негромко произнесла герцогиня. — Я все-таки любила ее, что бы она вам ни сделала, хотя признаю, она поступила нечестно, нехорошо.

— Прошу прощения, — смягчился Блэнфорд, подумав о своей жене (Ливии), которую, шутя, можно было бы назвать «некозырной фигурой». Он закурил трубку. — От страха я перепутал все свои символы, все, что имеет отношение к на-

шему *consummation est*,[164] как вы бы сказали. Прелестный *non lieu*.[165]

— Вы были с ней слишком суровы, — проговорила она, и в ее голосе ему послышался еле заметный намек на слезы.

— Ну что вы, — пробормотал Блэнфорд, думая о страданиях Сатклиффа. («Холостой выстрел поцелуя монахини»).

— Поговорим лучше о Гамлете. Правда, Обри. Понятия не имею, зачем Ливии понадобились все эти грязные игры — с вами.

— Для Гамлета, — с полной серьезностью заявил он, — важен не только Эдипов комплекс, там было кое-что посложнее; он узнал о связи Офелии и Лаэрта. Быть или не быть, на самом деле, означает: «Тянуть и дальше эту любовную лямку или не стоит?» Офелия уже сказала Гамлету, что Лаэрт должен стать их общим любовником, и на него давит груз преступного знания («я не помешаю»), а через него начинает давить на нее, и они оба понимают, что другого выхода, кроме безумия, нет. А это не выход.

— Нет, не выход.

---

[164] Примечания: 164
Свершилось *(лат.)*.

[165] Примечания: 165
Не повод *(фр.)*.

— Ни при каком раскладе.

Официант принес меню, и они начали скрупулезно, с шутками и спорами, как положено старым друзьям, его изучать. Потом подошел другой официант с картой вин, но они не стали ничего прибавлять к отличному французскому шампанскому; Блэнфорда трогательно похвалили за это единодушие. И он понял ее. Несмотря ни на что, герцогиня считала, что книга удалась. И он напыжился от удовольствия.

— Дело не только в Ливии, — сказал он. — Бедняжка Ливия. Тогда же умерла, умирала моя мама.

— Но во всех бедах тогда обвинили Ливию.

— Да, это правда. — Ему ничего не оставалось, как согласиться. — Она поняла тогда, что ничего не стоит заставить мужчину обожать себя, очень просто, надо лишь сделать вид, будто искренне разделяешь его искреннее обожание самого себя. Тик, Ток, и тори у моих ног. Как же она смеялась втихомолку. И часто говорила, глядя на себя в зеркало: «Коль кишка тонка, сиди у камелька».

Герцогиня печально улыбнулась и покачала головой, а он продолжал, цитируя собственный текст:

— Сердце, как резиновая губка, бетонная без-

различная душа, стеклянные чувства… Дорогая, с книгами теперь покончено.

И очень удивился, когда она резко покачала головой, не соглашаясь с ним:

— Нет. Книга никогда не потеряет ни своей значимости, ни своей ценности, потому что в ней особая связь двух сердец и она животворна для души и ума любого человека. Контакт одиноких, отчаявшихся людей, как объятие. Никакой суетной толпы! Мне только обидно за Ливию. Думаю, в ней можно было бы разобраться и получше.

Блэнфорд процитировал Штекеля, передразнив его манеру говорить:

— «Гомосексуальный невроз является бегством к собственному полу, спровоцированным садистской склонностью к противоположному полу».

«После Вены я во многом разобрался, но мои новые познания не помогли,» — подумал он, а вслух сказал:

— Я изучал Ливию со всем пылом влюбленного мужчины, и в конце концов мне удалось ее понять, все встало на свои места. Эта мраморная красота, эта молчаливость, эта сдержанность. Меня изумило, какую роковую роль сыграло обручальное кольцо, а ведь Ливия была честной порядочной девушкой, насколько это вообще им

доступно. Но старый дядюшка Фред открыл мне глаза на активных лесбиянок, этих двойников мужчин, которые нередко мечтают об обручальном кольце, только чтобы закамуфлировать свои склонности и получить доступ к ничего не подозревающим женщинам и девушкам. Вот и Ливия. Естественно, все мужчины у её ног. Она стала пожирательницей мужских сердец ради маскировки. Но даже в постели ей непременно надо было победить ненавистного мужчину. — Блэнфорд с горечью рассмеялся. — Во всем мире активные лесбиянки, встречаясь в туалетных комнатах больших отелей, показывают друг дружке обручальные кольца и весело хохочут.

— О нет, дорогой! — воскликнула герцогиня и положила ладонь ему на руку, чтобы его успокоить. — Бедняжка Ливия. Хорошо, что вы убрали из книги скабрезные страницы, на которых описываете ласки богомола. В конце концов, ее уже нет.

Он взял эти страницы из ее рук и медленно перечитал: «Не готовое к соитию влагалище, похожее на сухой карман какого-нибудь сумчатого, навело его на мысль об огромном прекрасном клиторе. Когда входишь, ей больно, ничего, есть иные способы, но уж слишком часто она имити-

рует оргазм, наверняка, думает о ком-то другом, кто еще не потерял над ней власть. Интересно. (Сатклифф.) Ну а кольцо-то зачем? Деньги, статус жены или что-то еще?… В Вене ему говорили, будто активным лесбиянкам нравится завоевывать замужних женщин, кольца возбуждают их, двойное удовольствие: обманывают мужчин и одновременно подражают им, занимают их место».

Блэнфорд сгреб бумаги в кучу и допил шампанское. «Ливия была для меня *une belle descente de lit*».[166] Но однажды он прозрел, поняв, что она обслуживает целое графство неудовлетворенных жен. Нет, он не был суров с нею, хотя она поступила нечестно, втянув его в аферу, которая могла привести их только к обоюдному отчаянию. Ведь в конце концов пришла любовь, но, как всегда, слишком поздно, чтобы что-нибудь изменить. «Зеленые чернила, упоительные чары…»

Герцогиня чуть устало кивнула.

— Вы правы, — проговорил он, помедлив, — поэтому я и решил обойтись без этих страниц. Мои претензии к Ливии берут начало в подсознании, в источниках моих собственных извращений

---

[166] Примечания: 166
Красивый коврик у кровати *(фр.)*.

— в тяготении к матери, в комплексе женщина-что-мне-с-тобой-делать. Во всех своих горьких попреках я возносился на утес смерти моей матери, на постамент памятника из слов, который я воздвиг ей. Когда Ливия умерла, мне стало понятно — благодаря дядюшке Фредди (Фрейд), который все растолковал мне насчет грандиозного обвала в мужских делах. Словно у меня вытащили из сердца большую занозу, словно скала ушла в море после землетрясения. Конечно же обо всем этом мне было известно раньше, хотя я ничего не желал знать. Но меня вернули в прошлое. Мне опять (навсегда) было дано увидеть себя стоящим на холодном сером асфальте крематория. На близком оттуда летном поле кувыркались кубарем порывы западного ветра, приносящего с собой мелкий дождь. Я стоял, весь вытянувшись, склонив набок голову и прислушивался к шуму в сердце. Легкий митральный стеноз — я сам в нем виноват, очень уж хотел наказать себя болезнью. Пульс, который заработал еще в брюхе китихи, продолжал стучать, смерть лишь отделила его от пульса матери, учительницы, наставницы. Был слышен только плеск вечных вод, сомкнувшихся над моей замолчавшей матерью. Настоящий автоматический стартер в стареньком привычном

автобусе моего тела — разделенный оргазм; из-за этого мне так важен артефакт любви. Мне виделось, будто я ухожу, уменьшаясь, вдаль, словно священный боров с крошечной возлюбленной, похожей на щепотку табака. Удивительней всего то (как Пиа говорила в письмах), что пришла любовь, настоящая любовь, которая выше любого понимания. Она знала взаимную страсть до Роба — это было очень полезно для хорошего цвета лица. Кожа ее блестела, словно свежая краска. Но ее кожа списана с мраморной белизны Ливии, которая всегда казалась робкой и тихой, как заброшенный ребенок, которому никогда не справляют день рождения, трепещущий от страха перед родителями. Да-да, вы правы, когда она умерла, пришлось придумывать ее заново, словно ее не было. Это случилось, когда накатила жуткая *ennui*.[167]

— *Ennui?* — чуть дыша, переспросила герцогиня.

— Когда говоришь себе: «Еще десять минут, и я не выдержу». И набрасываешься на политические карикатуры.

Сигаретный дым, лениво кружась, поднимался

---

[167] Примечания: 167
Тоска *(фр.)*.

вверх, а они, поглощенные своими воспоминаниями, видели только друг друга.

— Однажды мы с Ливией шепотом, чтобы не разбудить кого-то, кто спал на завешенной кровати, говорили о самоубийцах, — медленно, словно пытаясь привести в порядок мысли, произнесла герцогиня, — и о таинственной завесе амнезии (нам было около семи?), которая стирает воспоминания и не дает восстановить их с первоначальной четкостью. Знаете, мне кажется, она похожа на завесу, которая появляется перед смертью, может быть, чтобы защитить человека от предчувствия ухода. Люди умирают тихо, спокойно, смиренно, на что-то надеясь. Под конец сладкая амнезия приглушает боль и ослабляет воздействие лекарств. Исподволь начинается угасание, безразличие к жизни. Подобное состояние человек порою испытывает даже в расцвете жизненных сил. Словно он призывает смерть или несчастный случай, весь отдаваясь этой роскошной прихоти, становясь беззаботным, специально подставляя себя. Осознанно пренебрегает изначальным инстинктом самосохранения. И совсем не нужна особая причина, чтобы выйти из игры, хотя, конечно же, люди винят любовь или деньги, как дуэлянты — оружие. Подхватите грипп и не

боритесь с ним. Идите ко дну с тихой улыбкой. *Serenité… Perennité… Moralité…*[168]

— Аккад поджидал момент, когда наступит такое состояние, — сказал он.

При этих словах она открыла сумочку и показала ему конверт с египетской маркой, на котором он сразу узнал красивый четкий почерк Аккада. На письме был адрес загородного поместья герцогини; конверт вскрыли ножом для бумаг. Блэнфорд знал, *что* написано на вырванном из блокнота листке. Когда-нибудь он сам получит такой же, и его принесет обыкновенный — из плоти и крови — почтальон. Неожиданно ему припомнилось суждение Аккада, процитированное Сатклиффом — осталось оно в книге или нет? Он забыл.

Аккад сказал:

— Нельзя объяснять символы дальше определенной глубины, иначе, чтобы их понять, начинаешь жить по их законам, и они входят в кровь. Но только в этом случае можно сказать «я знаю», не заботясь о бремени доказательств и здравом смысле.

А в номере Кейд тем временем зажег свечу,

---

[168] Примечания: 168
Спокойствие… Вечность… Мораль… *(фр.)*.

надел на нос очки, открыл Библию, которую читал каждый вечер, и медленно зашевелил губами, складывая из букв слова. За этим занятием ему ничего не стоило прождать хозяина хоть до утра. Когда послышатся шаги носильщиков, он спустится на лифте и откроет входную дверь. Кроме Библии на столе лежали наполовину заштопанный носок Блэдфорда и несколько густо правленых страниц машинописи, которые он извлек из корзинки для мусора и собирался завтра продать коллекционеру за кругленькую сумму. Они не вошли в новую книгу. «Что до Тоби, думавшего, будто алхимия и астрология — останки старинной исчезнувшей неврологии, то ему проблема тамплиеров вовсе не казалась проблемой, — сообщала одна из страниц. — Тамплиеры зашли слишком далеко, дальше орфиков, дальше бисексуальности, гностической двойственности, Тиресия и прочего сумасшествия. Они потеряли равновесие и погрузились в доселе неведомую, ужасающую тьму, где плоть стала всего лишь экскрементами, гниение — единственной истиной, смерть — великим Мотивом узурпатора — верховного божества. Каннибализм и оргии в честь кабиров окончательно отшибли у них разум, и они пришли к чудовищному обряду

из гностических культов: поеданию нерожденных младенцев — уподобившись кошмарным свиньям, пожирающим собственное потомство. Причастие вином стало казаться жалким суррогатом. Насыщаясь и одновременно испражняясь, они оставались слепыми язычниками, и их несло в хтоническую тьму безумия».

Кейд сложил листки, спрятал их в карман и в тишине венецианской ночи возвратился к истории библейского Иова.

Было уже совсем поздно, когда Блэнфорд заплатил по счету и попрощался с герцогиней. Неподалеку кружили усталые официанты, но они привыкли с почтением относиться к утонченному старику-англичанину, который частенько проводил у них целые вечера, шепотом беседуя с пустой нишей, ведь прошло уже много времени с тех пор, как имя герцогини появилось на звездной карте смерти. Зевающие носильщики сидели в темноте на улице, ожидая, когда им прикажут подать инвалидное кресло и везти господина к портшезу. Возможно, в нем его ждет письмо с египетской маркой. Или оно вместе с другими письмами лежит на столе, за которым читает Кейд, одолевая эту совершенно особую ночь.

ENVOI[169]

Итак, Д.
породил Блэнфорда

(который породил Ту и Сэма, и Ливию)
который породил Сатклиффа
который породил Блошфорда

Пьера и Сильвию и Брюса

который породил
Аккада
и
Сабину
и
Банко
который породил Пиа
который породил Трэш
который породил…

LAWRENCE DURRELL
THE AVIGNON QUINTET
MONSIEUR OR THE PRINCE OF DARKNESS

---

[169] Примечания: 169
Здесь: посвящение *(фр.)*.

1974